

Золотые
родники

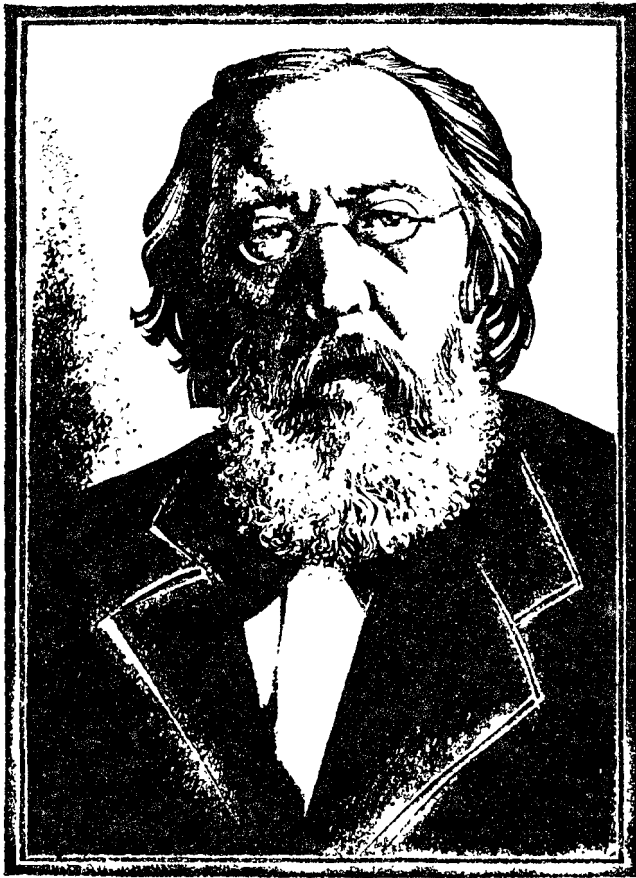
И.С.АКСАКОВ

И слово правды...



Scan Kreyder - 13.12.2019 - STERLITAMAK

БАШКИРСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО





И.С.АКСАКОВ

И слово правды...

СТИХИ, ПЬЕСА, СТАТЬИ, ОЧЕРКИ

УФА
БАШКИРСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
1986

Редакционная коллегия:
Бикчентаев А. Г., Гилязов М. Т., Рахимкулов М. Г.,
Сафуанов С. Г., Филиппов А. П., Чванов М. А.

Предисловие, составление и комментарии М. А. Чванова

А $\frac{\text{М 121 (03)—86}}{4702010100 — 346}$ 88—86

84 P1

© Башкирское книжное издательство, 1986,
предисловие, составление, оформление

«НИКАКИМ НАГРАЖДЕНИЯМ ЗНАКАМИ ОТЛИЧИЯ НЕ ПОДВЕРГАЛСЯ».

100 лет назад 27 января (8 февраля) 1886 года перестало биться сердце замечательного сына России Ивана Сергеевича Аксакова, горячо и горько любившего ее и пытавшегося повернуть ее, по его мнению, на истинные пути — пути особенной нравственной силы. 100 лет назад перестало биться его сердце, но до сих пор аура его высоких и искренних мыслей продолжает волновать людей, будить их сердца, они пытаются разобраться в его пророчествах и заблуждениях — и теперь, через 100 лет, когда поутихли страсти и многое стало ясно видно, можно сказать, что не так уж во многом он и ошибался, что не так уж напрасны были многие его тревоги и опасения, как и тревоги и опасения гениального русского писателя и мыслителя Ф. М. Достоевского, с которым они — в самом главном — были духовно близки.

Редакционные статьи и отклики, напечатанные в разных периодических изданиях по случаю кончины И. С. Аксакова составили целую книгу. «Потеря невосполнимая, — писали «Современные известия». — И. С. Аксаков был не только литератор, публицист, общественный деятель, он был — знамя, общественная сила. В этом было его главное значение, и потому-то особенно тяжела его потеря, и именно теперь, когда положен на весы вопрос: достойно ли Россия встретит надвигающиеся события, а они касаются тех глубоких ее задач, того коренного призвания, которым и посвящена была вся жизнь покойного».

«Нечего говорить о значении этой потери для русской журналистики, для русского и славянского мира, — отозвалось «Новое время». — Закатилась одна из самых ярких звезд, какие когда-либо блестели на небе русского общественного слова. Разорвалось сердце, которое билось как горячий ключ из-под земли, билось искренним, высоким, благородным чувством, и это чувство облекалось в красноречивые, полные огня и выразительности речи. Не русский талантливый писатель только скончался — скончался общественный трибун, обладающий даром зажигать сердца, скончался искренний человек, человек высокой честности и правды, никогда ни единым словом не изменяющий своему при-

званию. Он нес свое знамя в течение многих лет твердою и непоколебимою рукою, ни разу не опуская его, нес как мужественный воин, с верою в то дело, которому служил и которое не оставил и тогда, когда смерть явно подкрадывалась к нему и когда все близкие настаивали на том, что ему необходимо успокоение. Но, как неустанный боец, он успокоился только в неизбежном, конечном жилище человека...»

«Немногие из общественных утрат производили такое сильное впечатление, как произвела смерть Аксакова, — с горечью отмечалось в «Неделе», — потому что имя его пользовалось большой популярностью и в России, и во всем славянском мире; да и в Западной Европе на Аксакова смотрели как на одного из самых выдающихся представителей русского литературного мира и всего русского общества...»

Как бы подтверждая вышесказанное, на смерть И. С. Аксакова отозвались многие зарубежные издания. Вот только некоторые из них. Чешская газета «Народни листу»: «Да, конечно, в Аксакове народ русский потерял одного из величайших деятелей, а все остальное славянство оплакивает потерю защитника и преданнейшего друга. Но потеряли мы его целиком и совершенно? Никким образом! Люди такого духа и значения оставляют по себе для счастья народов светлый путь, ничем не затмиваемый; это — лучи светлых идей, лучи, которые освещают потомству путь и тогда, когда самая звезда уже потухла...» Сербская «Застава»: «Тот, кто из-за славян потрясал свет, умер... и нам тяжело стало, точно мы потеряли свет. Иван Аксаков был великан. Когда он говорил, голос его раздавался по всей Европе, и к его голосу прислушивались на всем том широком пространстве, куда простирается великая Россия. До сих пор не было публициста с большим значением, чем Аксаков. Любовь Аксакова обнимала все славянство одинаково. Если бы мы жили при более счастливых обстоятельствах, Аксаков без сомнения простер бы свою любовь на все человечество, но он видел, что славяне всех более угнетены, что они не имеют ни защитника, ни друга в широком мире, и он встал перед Россией и сказал: «теперь ты должна вступить за них!» (На панихиде в Белграде архимандрит Никифор Дудич сказал: «Сербский благодарный народ не легко забудет имя великого Аксакова и его братскую любовь и помощь в самые тяжелые дни своей новой истории»). Мюнхенская «Альгеймайне цайтунг»: «К выдающимся людям России, которые были похищены смертью в последнее время, принадлежит, бесспорно, Иван Сергеевич Аксаков, скончавшийся 8 февраля сего года в Москве, на 63-ем году жизни от разрыва сердца и похороненный в знаменитой Троице-Сергиевой Лавре в 66-ти верстах от Москвы... Со своими противниками он всегда боролся средствами благородными и чистыми, почему даже его непримиримейшие враги не смели коснуться чистоты и честности его характера...»

«Со своими противниками он всегда боролся средствами благородными и чистыми, почему даже его непримиримейшие враги не смели касаться чистоты и честности его характера» — повторим эти слова,

потому что они выражают его суть. Как и другие, как бы подтверждающие их: «Честен, как Аксаков, — это почти была пословица».

Иван Сергеевич Аксаков был третьим сыном (после Константина Сергеевича, видного литературно-общественного деятеля России, и Григория Сергеевича, правительственного чиновника, в одно время уфимского губернатора) в семье нашего замечательного земляка выдающегося русского писателя Сергея Тимофеевича Аксакова и Ольги Семеновны Заплатиной, дочери генерал-майора С. Г. Заплатина, участника многих походов А. В. Суворова, а в Отечественную войну 1812 года командовавшего ополчением.

В предисловии к «Семейной хронике» (серия «Золотые родники», Уфа, 1983) я уже пытался сделать наметки с проекцией в наши дни нравственно-философской концепции семьи, с ненавязчивой убедительностью выраженной С. Т. Аксаковым в его замечательной диалогии: в «Семейной хронике» и в «Детских годах Багрова-внука». Часто наши слова расходятся с делом, всегда легче учить других, чем следовать этим принципам самому. И, раз предоставился случай, хочется еще раз подчеркнуть, что жил Сергей Тимофеевич в редкостной гармонии со своим творчеством и со своими идеалами: удивительно добрая и теплая была атмосфера этой семьи, крепкой родовыми и национальными традициями. К детям в ней относились с таким же уважением и серьезностью, как и к взрослым. «У нас, — писал позднее И. С. Аксаков, — дети не были отделены от родителей: гости принимались всей семьей». И еще показательный факт, почерпнутый мною в одном из писем Ивана Сергеевича: «...в письмах к своим еще далеко несовершеннолетним сыновьям Сергей Тимофеевич всегда называет каждого из них: «мой сын и друг», — и сам подписывается: «твой друг и отец», — и под его пером это слово «друг» не есть только ласковое название, оно определяет на самом деле отношение отца к сыновьям: он был для них искренним и истинным другом, он действовал на них не только присадами внешнего, формального авторитета, но гораздо более влиянием нежного, разумного, мудрого сочувствия».

Это была настоящая русская семья, большая (по данным А. С. Курилова, автора вступительной статьи и составителя сборника К. С. и И. С. Аксаковых «Литературная критика», вышедшего в 1981 году в издательстве «Современник», в ней было шесть сыновей и восемь дочерей, а по утверждению А. А. Сиверса («Генеалогические разведки», Вып. 1, СПб, 1913) в ней было четыре сына и шесть дочерей, уфимский краевед Г. Ф. Гудков поправляет А. А. Сиверса, что у Аксаковых было еще две дочери, которые умерли на первом году жизни), нравственно крепкая, дружная, где, как прекрасно и точно сказал А. С. Курилов, «царствовало согласие и безусловное, непререкаемое доверие всех к каждому и каждого ко всем, где все было чисто, честно, искренне, прямо, откровенно... Чувство причастности каждого к делам и заботам других, душевная чуткость и отзывчивость становятся как бы нравственным императивом, основой личного и общественного пове-

дения всех без исключения детей Сергея Тимофеевича и Ольги Семеновны. Может быть, отсюда и возникла страстная и непреложная убежденность Константина и Ивана Аксаковых в том, что будущее России, нашего народа, всех славянских народов самым тесным и непосредственным образом связано с расцветом этого прекрасного и всепобеждающего чувства семьи единой. С этим чувством связана была для них и идея возрождения крестьянской общины».

Прекрасная семья дала России прекрасных сыновей, другое дело — что прекрасным людям горько и мучительно жилось в России.

Иван Сергеевич Аксаков родился 26 сентября (8 октября) 1823 года в селе Надежино Белебеевского уезда (ныне село Надеждино Белебеевского района Башкирии), куда молодые Аксаковы (Сергей Тимофеевич и Ольга Семеновна) переехали в 1821 году после того, как отец, наконец выделил их, назначив в вотчину село Надежино, известное нам по произведениям С. Т. Аксакова как Парашино.

Надеждино запечатлелось в детской памяти, скорее, Константина, которого привезли из Ново-Аксакова уже в возрасте четырех лет, а Ивану было всего неполных три года, когда Аксаковы навсегда уехали из Надеждина — в Москву. (Нет официальных свидетельств бывал ли И. С. Аксаков позже в Надеждине, но есть свидетельство, что в июне 1848 года он приезжал в соседнее Ново-Аксаково вместе с известным композитором и пианистом А. Г. Рубинштейном, возможно, он побывал и на родине. Не было свидетельств, что И. С. Аксаков бывал в Уфе, но Г. Ф. Гудковым в ЦГА БАССР найдена метрическая запись по Ильинской церкви о рождении в Уфе 14(26) января 1864 г. у Григория Сергеевича Аксакова сына Константина. Восприемниками были Аксаковы Иван Сергеевич, Вера Сергеевна и их мать — Ольга Семеновна).

В радушном московском аксаковском доме, а позднее в загородном имении Абрамцево часто бывали М. П. Погодин, М. Н. Загоскин, С. П. Шевырев, П. С. Щепкин, Н. В. Станкевич, И. В. и П. В. Киреевские, В. Г. Белинский, А. С. Хомяков, Ю. Ф. Самарин, И. С. Тургенев, Н. В. Гоголь, А. И. Герцен, М. А. Бакунин. Семья Аксаковых была, по выражению современников, «ярким, греющим средоточием, куда стекались все даровитые деятели». Это не могло не сказаться на становлении личности И. С. Аксакова. Внешне его дальнейшая биография выглядит так. В 1842 году он, как и брат Григорий, закончив в Петербурге императорское училище правоведения, где готовили к службе на высших постах царского административного аппарата, возвращается в Москву и поступает на службу в Уголовный департамент Сената. Его усердие замечено, и уже в следующем году его включают в состав специальной комиссии, отправляющейся для ревизии Астраханской губернии. По возвращении он получает назначение на должность товарища председателя Калужской Уголовной палаты, осенью 1848 года переходит на службу в министерство внутренних дел и вскоре выезжает в Бессарабию для изучения раскольниковых сект.

Но на этом его внешне благополучная и даже блестящая биография кончается. Впрочем, иначе не могло быть. Можно даже сказать, что дальнейшая его судьба была предreshена всем укладом, атмосферой семьи «тихого» русского «писателя-пейзажиста» (каким зачастую пытаются его представить) С. Т. Аксакова. Вот еще в чем значение и последствия его «тихих» принципов, его «тихой» литературы, о чем мы порой не задумываемся.

4 марта 1849 года был арестован и заключен в Петропавловскую крепость известный общественный деятель-славянофил Ю. Ф. Самарин — за «Письма из Риги», в которых он критиковал официальную политику правительства в Прибалтике, поощряющую господство немецкого юнкерства. 17 марта был арестован и И. С. Аксаков, который в письмах к московским друзьям возмущался арестом Ю. Ф. Самарина, клеймил «подлое петербургское общество», советовал своим друзьям быть осторожнее. Сразу скажу, что И. С. Аксаков, как и Ю. Ф. Самарин, видели в немецком юнкерстве проводника иностранного влияния, которое ведет Россию к политической, экономической и духовной зависимости от Запада.

III отделение давно подозревало кружок московских славянофилов в противоправительственных намерениях. Революционные события в Европе в 1848 году усилили эти подозрения. Аресты Самарина и Аксакова ставили своей главной целью раскрыть тайные замыслы славянофилов. В секретном полицейском донесении московскому генерал-губернатору Закревскому письма Аксакова с предупреждениями об осторожности получили такую оценку: «Предостережение брата Аксакова доказывает, что у них (славянофилов — М. Ч.) кроме известной правительству цели должна скрываться какая-нибудь другая. Если бы сего не было, то тогда зачем бы им было бояться и остерегаться».

Ответы на вопросы, которые в жандармском управлении были предложены Аксакову И. С. прочел сам Николай I, он собственноручно убедился, что никакой «подпольной организации» не существует, и 22 марта И. С. Аксаков был освобожден под негласный надзор полиции, а вскоре переведен на службу в Ярославль.

Кто же такие были славянофилы, если их так боялось правительство?

Славянофильство, как литературно-общественное и политическое движение русской интеллигенции возникло в конце 30-х годов прошлого века в условиях нарастающего кризиса самодержавно-крепостнической системы, когда вновь остро встал вопрос — после поражения декабристов — о невозможности дальнейшего развития общества страны без отмены крепостного права. Оно было реакцией на слепое и опасное подражание Западу высшего русского общества в ущерб национальным и государственным интересам, на пренебрежительное отношение его ко всему русскому, народному.

Надо сказать, что часть русской интеллигенции не видела выхода из создавшегося положения, не всрила в возможность каких-либо пре-

образований. Концентрированным выражением этих настроений явилось увидевшее свет в 1836 году первое «Философическое письмо» П. Я. Чаадаева, о котором А. И. Герцен впоследствии писал: «Опубликование этого письма было одним из значительнейших событий. То был вызов, признак пробуждения; письмо разбило лед после 14 декабря. Наконец пришел человек с душой, переполненной скорбью; он нашел страшные слова, чтобы с похоронным красноречием, с гнущим спокойствием сказать все, что за десять лет накопилось горького в сердце образованного русского... Он сказал России, что прошлое ее бесполезно, настоящее тщетно, а будущего никакого у нее нет».

Причина крайнего пессимизма П. Я. Чаадаева коренилась в том, что он считал основной причиной создавшегося положения отставание России от западной цивилизации, которая, обогнав Россию (во время татаро-монгольского ига, которое Россия поглотила в себе, не пустив в Европу), тем самым лишила ее будущего. По его мнению, Россия «составляет пробел в нравственном миропорядке».

Но в этой атмосфере общественно-политического пессимизма и растерянности были и другие люди, которые говорили: да, страна тяжело больна, но не безнадежно, и в наших силах, если мы любящие сыновья, ее излечение, в наших силах вернуть ее на путь нравственного возрождения. Это была группа честных и искренних образованных русских интеллигентов, которые вошли в историю отечественной общественно-политической мысли под названием славянофилов. «Наша история, — считали они, — едва начинается. К несчастью, мы сбились с дороги; нужно возвратиться назад и выйти из тупика, куда втолкнула нас своей надменной и грубой рукой цивилизующая империя». А. И. Герцен писал: «Письмо» Чаадаева прогремело подобно выстрелу из пистолета глубокой ночью... На этот крик отчаяния славянофилы ответили криком надежды».

Славянофилы, — а принадлежали к этой группе прежде всего А. С. Хомяков, И. В. и П. В. Киреевские, А. И. Кошелев, Ю. Ф. Самарин, братья К. С. и И. С. Аксаковы, — страстно ждали освобождения своего народа от крепостного права, вместе с тем они были убежденными противниками буржуазного строя западно-европейских стран и отстаивали идею особого пути социального и политического развития России. Россия непременно придет к тупику, если пойдет путем слепого заимствования западных образцов, этот путь ведет к бездуховности и нравственному обнищанию. Пока не поздно, Россия должна отказаться от уродливого копирования Запада, пренебрежительного отношения к собственному народу, она должна искать свои самобытные пути в будущее, на которых ее ждут великие свершения. Мало того, она должна спасти и все остальное человечество от нравственного вырождения и бездуховности.

При оценке славянофильства в разное время были попытки извращения, даже прямой подмены его общественно-политической сути, пытались даже представить его как движение чуть ли не националисти-

ческое, а в сам термин «славянофилы» (кстати не совсем точный и удачный) был принесен элемент отрицательности. Но вспомним, за что были арестованы Ю. Ф. Самарин и И. С. Аксаков. Защищая право прибалтийских народов на национальную самобытность, И. С. Аксаков последовательно отстаивал один из главных славянофильских принципов: каждый народ имеет нравственное право на самостоятельное развитие. Сразу скажу, что еще последовательнее и непримиримее он будет отстаивать эти принципы позднее, в 1867—1868 годах, когда станет редактором газеты «Москва». Он всегда будет поддерживать народы Прибалтики в их стремлении к национальной самобытности, в борьбе против немецкого засилья и попыток германизации. В газете И. С. Аксаков помещал материалы, в которых рисовал картину тяжелого положения эстонских и латышских крестьян. За статьи и корреспонденции мартовских номеров «Москвы» И. С. Аксаков получил предостережение цензуры, приведшее к закрытию газеты на три месяца. Цензура мотивировала свое предостережение тем, что в публикациях газеты «пособником дворянства и духовенства (немецкого — М. Ч.) в угнетении туземцев (латышей и эстонцев — М. Ч.) выставляется самое русское правительство, действия которого представлены прямо противными интересам России». И. С. Аксаков выступал за ликвидацию эксплуататорской системы, которая сложилась после «освобождения» прибалтийских крестьян в 1817 году — без земельного надела. Резко выступая против онемечивания народов Прибалтики, И. С. Аксаков был против и их русификации. Он считал, что латыши и эстонцы должны сохранить свою национальную самобытность, он приветствовал создание школ и газет на латышском и эстонском языках.

Право каждого народа на свою национальную самобытность — вот один из краеугольных камней фундамента славянофильства. «Народность есть личность народа, — писал, например, К. С. Аксаков, — точно так же, как человек не может быть без личности, так и народ без народности. Да, нужно признать всякую народность, из совокупности их слагается общечеловеческий хор. Народ, теряющий свою народность, умолкает и исчезает из этого хора. Поэтому нет ничего грустнее видеть, когда падает и никнет народность под гнетом тяжелых обстоятельств, под давлением другого народа. Но в то же время какое жалкое и странное зрелище, если люди сами не знают и не хотят знать своей народности, заменяя ее подражанием народностям чужим, в которых мечтается им только общечеловеческое значение!.. Нет, пусть свободно и ярко цветут все народности в человеческом мире; только они дают действительность и энергию общему труду народов. Да здравствует каждая народность!»

«Их называли славянофилами и соединили их с понятием о школе и учении особого рода и с политической бранью, которая донныне продолжается, истощая силы борцов в пререканиях казуистики, свойственной всякому учению школы, — объяснял сущность славянофильства журнал «Гражданин», откликнувшись на смерть И. С. Аксакова. — Но

кто хочет понять, чего стоили и что значили эти люди, тому надобно отрешиться от узкого понятия о школе, стать повыше на широту и взглянуть поглубже. Это были честные и чистые русские люди, родные сыны земли своей, богатые русским умом, чуткие чутьем русского сердца, любящего народ свой и землю и алчущего и жаждущего правды и прямого дела для земли своей. Они были высокообразованны, но близкое знакомство с наукой и культурой Запада не отрешило их от родимой почвы, из которой почерпает духовную силу земли всякий истинный подвижник земли Русской. Перегорев в горниле западной культуры, своего отечества... Они начали с того же, с чего начинает всякий искренний искатель истины, — с протеста против ложного отношения к русской жизни и ее потребностей, господствовавшего в сознании так называемого образованного общества, против презрительного предрассудка, самодовольного невежества и равнодушия ко всему, что касалось до самых живых интересов России».

«Явление славянофильства — есть факт, замечательный до известной степени, — писал В. Г. Белинский, — как протест против безусловной подражательности и как свидетельство потребности русского общества в самостоятельном развитии». А А. И. Герцен даже считал: «С них начинается перелом русской мысли. И когда мы это говорим, кажется, нас нельзя заподозрить в пристрастии».

И самым первым и неотложным вопросом они считали отмену крепостного права, которое они называли не иначе как «наглое нарушение всех прав». Говоря о славянофильстве, о сильных и слабых сторонах этого движения, не надо забывать, что в период николаевской реакции, особенно в период «мрачного семилетия» они оказались в России чуть ли не единственными, кто открыто и смело выражал протест существующей действительности. Уже не было В. Г. Белинского, находился в эмиграции А. И. Герцен, томился на каторге петрашевцы. Еще молчали Н. Г. Чернышевский и Н. А. Добролюбов. И всю тяжесть борьбы с крепостничеством практически взяли на себя славянофилы. И делали они это открыто, смело и мужественно. Осенью 1855 года Александру II была передана «Записка», отрывок из которой я цитирую:

«Не подлежит спору, что правительство существует для народа, а не народ для правительства. Поняв это добросовестно, правительство никогда не посягнет на самостоятельность народной жизни и народного духа... Современное состояние России представляет внутренний разлад, прикрываемый бессовестною ложью. Правительство, а с ним и верхние классы, отделилось от народа и стало ему чужим. И народ и правительство стоят теперь на разных путях, на разных началах... Народ не имеет доверенности к правительству; правительство не имеет доверенности к народу... При потере взаимной искренности и доверенности все обняла ложь, везде обман... Все лгут друг другу, видят это, продолжают лгать, и неизвестно, до чего дойдут... Взятничество и чиновный организованный грабеж — страшны. Это до того вошло, так

сказать, в воздух, что у нас не только те воры, кто бесчестные люди, нет, очень часто прекрасные, добрые, даже в своем роде честные люди — тоже воры: исключений немного... Все зло происходит главным образом от угнетательной системы нашего правительства... Такая система, пагубно действуя на ум, на дарования, на все нравственные силы, на нравственное достоинство человека, порождает внутреннее неудовольствие и уныние. Та же угнетательная правительственная система из государя делает идола, которому приносятся в жертву все нравственные убеждения и силы... Лишенный нравственных сил человек становится бездушен и с инстинктивной хитростью, где может, грабит, ворует, плурует... Нужно, чтобы правительство поняло вновь свои коренные отношения к народу, древние отношения государства и земли, и восстановило их... Стоит только уничтожить гнет, наложенный государством на землю, и тогда можно стать в истинно русские отношения к народу...»

Такое написать царю мог человек только очень смелый. Автором «Записки» был старший из братьев — К. С. Аксаков. Таким же безоглядно непримиримым в отношении крепостного права был и Иван Сергеевич, на которого старший брат имел большое влияние. В начале 1849 года Иван Сергеевич пишет в одном из своих писем: «Дал слово никогда не иметь у себя крепостных и вообще крестьян...» Положение его со времени ареста двусмысленно: он — правительственный чиновник и в то же время находится под тайным надзором полиции. Растет его протест против сложившейся действительности. Неудовлетворенность, неумность души находит выход в стихах. В это время получают распространение в списках отрывки из его поэмы «Бродяга». Во время ареста И. С. Аксакова в 1849 году в ряду других вопросов ему был задан и такой: «Объясните, какую главную мысль предполагаете Вы выразить в поэме вашей «Бродяга» и почему избрали беглого человека предметом сочинения?» И. С. Аксаков уклончиво ответил: «Оттого, что образ его показался мне весьма поэтичным, оттого, что это одно из явлений нашей народной жизни...» Но этот уклончивый ответ не мог скрыть истины. Вспомним, к тому же, что само слово «бродяга» в те годы имело совсем иной, чем сегодня, конкретный стилистический контекст. Посмотрим у В. И. Даля: «беглый шатун, скиталец, кто произвольно, без права и письменного вида, покинул место оседлости, жительства, службы, скитаясь на чужбине». Что же за социальный тип кроется за этим определением? Как правило, беглый крепостной крестьянин. Сам факт — сделать беглого крепостного заглавным героем поэмы — не мог не вызвать подозрения. Кстати, позднее министр просвещения Ширинский-Шихматов в докладной записке писал царю, что опубликованные главы поэмы «могут неблагоприятно действовать на читателей низшего класса». Донос сочинил и ярославский военный губернатор Бутурлин. К слову сказать, при чтении поэмы вас не покидает чувство, что вам уже знакомы ее герои, интонация, боль по русскому крестьянину — да-да, «Кому на Руси жить хорошо!» Возможно

не без влияния «Бродяги» зародился замысел великой поэмы Н. А. Некрасова. И «Бродяга» является как бы предтечей ее.

Начальник И. С. Аксакова по службе министр внутренних дел Л. А. Перовский, извещенный о «предосудительном содержании» поэмы, потребовал от И. С. Аксакова, «оставаясь на службе, прекратить авторские труды», с чем И. С. Аксаков не мог согласиться — и, «в ответ написав министру резкое письмо», навсегда покинул службу.

Надо сказать, что взгляды И. С. Аксакова во многом расходились с положениями «старших» славянофилов: К. С. Аксакова, А. С. Хомякова, И. В. Киреевского. Он был далек от кружковой ограниченности большинства славянофилов и критиковал их за бездеятельность. Он помышлял о развитии славянофильского экономического учения, об этом говорит факт его сближения с группой прогрессивных русских промышленников, в которую входили И. Ф. и Н. Ф. Мамонтовы, А. В. Третьяков, В. А. Конорев, К. Т. Солдатенков, И. В. Щукин. И. С. Аксаков исследует источники по русской истории, пытается найти в летописях и актах подтверждение правильности славянофильских теорий. Это помогло ему избежать многих антиисторических суждений, свойственных «старшим» славянофилам. В письме к славянофилу А. И. Кошелеву он писал: «Я занимался целый год чтением грамот и актов, и это чтение заставило меня разочароваться в древней Руси, разлюбить и убедиться, что не выработала она и не хранит в себе начал, способных возродить Россию к новой жизни...»

И. С. Аксакову претит бездействие, и он с готовностью принимает предложение возглавить славянофильский «Московский сборник». Первый выпуск 1852 года сразу же обратил на себя внимание не только читателей, но и цензуры, прежде всего двумя статьями самого редактора — «Несколько слов о Гоголе» и «Об общественной жизни в губернских городах». В первой статье, которая к тому же открывала сборник, вопреки запретам цензуры, Гоголь был назван величайшим русским писателем, «вся жизнь, весь художественный подвиг, все искренние страдания» которого «представляют такую великую, грозную поэму, смысл которой долго останется неразгаданным». А во второй была дана уничтожающая характеристика «общественной» жизни высших сословий пореформенной России. В результате второй выпуск был вообще запрещен, а авторам было предписано все свои сочинения «представлять отныне для цензуры не в Московский цензурный комитет, а в Главное управление цензуры, в Петербург», что означало на самом деле запрет печататься. Кроме того, И. С. Аксаков лишился «на будущее время права быть редактором какого бы то ни было издания», потому что он «даже после сделанных внушений дерзко представляет к напечатанию статьи, которые обнаруживают открытое противодействие правительству». Этот запрет сохранял силу до кончины Николая I. Но и она не освободила И. С. Аксакова от «симпатий» цензуры, не случайно М. Лемке в книге «Эпоха цензурных реформ 1859—1865 годов», вышедшей в 1903 году, назвал И. С. Аксакова «страстотерпцем

цензуры всех эпох и направлений». Почти все статьи И. С. Аксакова, оригиналы которых, к сожалению, не сохранились, были подвергнуты цензурным искажениям, и мы никогда уже не прочтем их в истинном виде.

Осенью 1854 года началась героическая оборона Севастополя, и в феврале 1855 года И. С. Аксаков записывается в Серпуховскую дружину Московского ополчения. Неудачи России в войне он прямо связывал с крепостнической системой, существующей в стране. Он не верил в возможность отстоять Севастополь, но тем не менее сделал этот шаг, потому что, как он писал своим родным: «Мне было бы совестно не вступить. Все идет глупо, но тем не менее люди дерутся и жертвуют». Вместе с дружиной он совершает поход до Одессы, а потом в Бессарабию — он прослужил в ополчении до весны 1856 года, до заключения мира. С июня по декабрь И. С. Аксаков работал в комиссии князя В. И. Васильчикова, которая занималась расследованием интендантских злоупотреблений во время войны. Нахождение в провинции, среди народа еще больше освобождает его от многих иллюзий славянофилов, его мировоззрение становится еще более зрелым и самостоятельным, он еще больше убеждается в немедленной необходимости отмены крепостного права, в чем он видел «единственное средство спасения для России». И освобождение крестьян он не мыслил без надела их землей. Когда был опубликован рескрипт Александра II виленскому генерал-губернатору В. И. Назимову, И. С. Аксаков с горечью писал Е. И. Елагиной: «Сохрани бог, если оно (освобождение крестьян — М. Ч.) совершится так, как в Литве, т. е. без земли, с выкупом одной усадьбы... Так вот мы и вступаем в кризис: это важнейшая минута для России. От правильного решения задачи зависит будущность России».

Все больше освобождаясь от славянофильской ограниченности, он тесно сходитя с М. Е. Салтыковым-Щедриным. Более того, в августе 1857 года И. С. Аксаков по приглашению А. И. Герцена едет в Лондон, и с этого, по сути дела, начинается новая знаменательная страница его общественно-политической деятельности. В 1856 году, когда цензурный гнет несколько ослаб, чему свидетельством было появление в печати «Губернских очерков» М. Е. Салтыкова-Щедрина, у И. С. Аксакова появилась надежда на публикацию в России его произведения «Судебные сцены или Присутственный день Уголовной палаты», но в России к печати оно разрешено не было, и письменно (для конспирации) отказав А. И. Герцену в публикации его в Лондоне в Вольной русской типографии, при встрече он даст устное согласие напечатать его в «Полярной звезде». Это резко обличающее царское судопроизводство произведение А. И. Герцен назвал «превосходным произведением» и «гениальной вещью». В предисловии «От издателей» им было написано, чтобы отвести прямой удар от И. С. Аксакова, что автор ему неизвестен. (Позднее, во избежание политического преследования, И. С. Аксаков напишет и в своей «Автобиографии», что «судебные сцены» были опубликованы в «Полярной звезде» без его ведома). Так

И. С. Аксаков становится одним из тайных герценовских корреспондентов.

В 1966 году в Москве вышла книга Н. Я. Эйдельмана «Тайные корреспонденты «Полярной звезды». В ней автор высказывает предположение, что А. И. Герцен и И. С. Аксаков во время своей встречи в Лондоне договорились о тайных конспиративных путях и связях для передачи корреспонденций и материалов в Лондон. Соблюдая большую осторожность, И. С. Аксаков посылал письма А. И. Герцену не по почте, а с оказией (они были опубликованы в 1883 году в Женеве М. П. Драгомановым). Н. Я. Эйдельман писал: «Историческая необходимость требовала найти имена тайных корреспондентов Герцена и Огарева. «Корреспонденты не искали славы. Каждая статья и заметка могла быть оплачена ссылкой в Сибирь. О тесном сотрудничестве И. С. Аксакова в «Колоколе» стало известно лишь в пятидесятые годы нашего столетия». И. С. Аксаков публиковался в «Колоколе» под псевдонимом Касьянов. Его перу принадлежат более 30 статей и заметок резко обличительного характера.

И в связи с этим любопытный факт, непосредственно связанный с нашим краем. Известно, что в 1859—1860 годах в «Колоколе» были опубликованы обличительные материалы по делам о бесчеловечной эксплуатации мастеровых на уральских заводах М. В. Пашкова и А. А. Сухозанета, а также о грабительской системе, созданной в своем имении Анастасьино Бирского уезда (ныне Дюртюлинского района) тайным советником А. Е. Жадовским, бывшим петербургским вице-губернатором.

Как следственные материалы по этим заводам, которые готовились при непосредственном участии оренбургского гражданского губернатора Е. И. Барановского¹ и не подлежали огласке, попали к Герцену? Уфимский краевед Г. Ф. Гудков на основе анализа переписки Е. И. Барановского с С. Т. Аксаковым и А. Н. Плещеевым пришел к такому выводу: Е. И. Барановский отправил из Уфы в Москву С. Т. Аксакову следственные материалы по делам Пашкова, Сухозанета и Жадовского (сохранилось благодарственное письмо С. Т. Аксакова Е. И. Барановскому: «Благодарю Вас, любезнейший и почтеннейший Егор Иванович, от всей души благодарю и за сведения о сельце Алкино и за две записки о современном нам Куролесове... Записки о современном Куролесове в высшей степени любопытны и назидательны, особенно вторая, о хозяйственном устройстве имения. Я считаю этого господина выше моего Куролесова. Тот был буйный гуляка, кровопийца по инстинкту... (Этот — М. Ч.) не невежда, а более или менее человек образованный, я его лично знаю, это такой изверг, которому и имени нет. Скажите..., неужели он не сослан на каторгу?»), а «И С. Аксаков мог сам лично отвезти эти материалы Герцену во время поездки за границу в 1859 году, когда был закрыт цензурой его журнал «Русская беседа».

Н. А. Огарева, встречавшаяся с И. С. Аксаковым в Лондоне, в своих воспоминаниях свидетельствовала о близости Герцена и Аксако-

ва, называя их «бойцами одного дела, но с разных отдаленных точек». Вспомним также, что писал о славянофилах Герцен, имея в виду, что из всех славянофилов И. С. Аксаков был ближе к нему: «Да, мы были противниками их, но очень странными. У нас была одна любовь, но не одинакая. У них и у нас запало с ранних лет одно сильное, безотчетное, физиологическое, страстное чувство... чувство безграничной, обхватывающей все существование любви к русскому народу, к русскому быту, к русскому складу ума. И мы, как Янус и двуглавый орел, смотрели в разные стороны, в то время как сердце билось одно».

И. С. Аксаков вернулся в Россию в начале 1861 года. Разочарованный в основах крестьянской реформы, он назвал «Положение...» 19 февраля 1861 года «дурацким». В 60-е годы И. С. Аксаков редактирует газеты «День» (1861—1865) и «Москва» (1867—1868). Разрешая издание газеты «День», московский цензурный комитет оговаривался: «Главное управление цензуры разрешило дозволить г. Аксакову издавать означенную газету без политического отдела, чтобы московскому цензурному комитету иметь особенное, в цензурном отношении, наблюдение за этим изданием». В результате этого «особенного» отношения издание этих газет то и дело приостанавливалось, в конце концов газета «День» была вынуждена прекратить свое существование, а «Москва» была закрыта цензурой.

Особое место в биографии И. С. Аксакова занимает его деятельность как основателя, идейного вождя и руководителя Московского славянского комитета, во главе которого он стоял более 20 лет. Под руководством И. С. Аксакова Московский комитет играл ведущую роль в организации и координации действий других славянских комитетов страны. И. С. Аксаков принимает активное участие в оказании помощи Сербии и Черногории в их освободительной войне против Турции. Он помогает переправить через границу генерала М. Г. Черняева, который должен был возглавить сербскую армию, и отряды русских добровольцев, организует заем сербскому правительству и сбор средств на нужды борющегося сербского народа. За четыре месяца Московскому комитету удалось собрать около 600 тысяч рублей. И. С. Аксаков писал: «Две трети пожертвований внес наш бедный, обремененный нуждою, простой народ... Пожертвования по общественной лестнице шли в обратной прогрессии, чем выше, чем богаче, тем относительно слабее и скуднее. Наши денежные знаменитости не участвовали вовсе, а если и участвовали, то в самом ничтожном размере во всероссийской народной складчине».

Главные силы И. С. Аксакова были сосредоточены на вербовке и отправке добровольцев. При Московском комитете было открыто особое отделение для приема и рассмотрения заявлений добровольцев. Добровольческое движение начинало носить всепародный характер, но, как это ни странно может показаться на первый взгляд, для И. С. Аксакова, его организатора и руководителя, было характерно ограничение движения посылкой преимущественно военных специалистов, офицеров.

Он понимал, что участие в боях добровольцев, тем более не обученных, не приведет к перелому в ходе войны, добровольческое движение он рассматривал скорее как средство давления на собственное правительство. С. А. Никитин в книге «Славянские комитеты в России в 1858—1876 годах» был вероятно прав, когда писал: «Аксаков и славянские комитеты, посылая добровольцев в Сербию, боролись не столько с турками, сколько с русским правительством... Они хотели этим самым вынудить правительство к объявлению войны».

Во время русско-турецкой войны 1877—1878 годов И. С. Аксаков проводит огромную работу по помощи болгарским дружинам. Он приложил огромные усилия для сбора средств среди московского купечества. Через него осуществлялась покупка и доставка оружия. Оружие, покупаемое в Германии, перевозилось в Одессу по железной дороге, где грузилось на пароходы. Связи И. С. Аксакова давали возможность бесплатного провоза грузов по железной дороге.

Зимой 1878 года русская армия, сломив сопротивление турецких войск, стала продвигаться к Константинополю, и турецкое правительство поспешило заключить перемирие, а 19 января 1878 года в Сан-Стефано был подписан предварительный мирный договор. Согласно ему Болгария превращалась в самостоятельное княжество, Турция признавала независимость Сербии и Черногории. Но под давлением Англии и Австро-Венгрии, угрожавшей России войной, русское правительство на Берлинском конгрессе согласилось на расчленение Болгарии на две части и передачу южной Болгарии под власть Турции. И. С. Аксаков рассматривал это решение как предательство интересов всех славян. 22 июня 1878 года он выступил с необычайно резкой по форме речью на собрании Московского славянского комитета (деятельность которого к этому времени уже была правительством ограничена и подчинена контролю министерства внутренних дел), в расчете, что речь будет опубликована за границей, а в России будет известна «высшим мира сего, а мне только этого и нужно». За эту речь И. С. Аксаков был выслан из Москвы, а славянские комитеты были распущены. Речь И. С. Аксакова произвела большое впечатление не только в России, но и за границей. Особый резонанс она получила в славянских странах, особенно в Болгарии, и способствовала укреплению дружбы между русским и болгарским народами. Была даже выдвинута идея о предложении И. С. Аксакову болгарского престола. Позднее его именем была названа одна из центральных улиц Софии.

Только в наши дни, наверное, в полную меру можно оценить сделанное Аксаковым в деле упрочения дружбы между нашими странами, как, впрочем, и многое другое. Большой след оставил он вместе со своим старшим братом Константином Сергеевичем в истории общественной русской мысли и становлении отечественной литературы, и многие их, а точнее сказать, основные мысли о народности литературы, не потеряли значения и по сей день. Мне кажется, очень точно выразил эту мысль А. С. Курилов: «Деятельность славянофилов способствовала

становлению в литературе нового героя, представителя трудового, подневольного, но великого народа..., углубляя тем самым процесс дальнейшей демократизации русской литературы, начатый «натуральной школой»... Борьба за народность литературы, национальную самобытность ее содержания и художественных форм, за главенствующее место в ее произведениях русской жизни и русского народа, простого человека, крестьянина — кормильца земли — составила заметный вклад славянофильской критики в развитие отечественной литературы, в ее утверждение на пути самобытности и оригинальности. В первых рядах за такое «крестьянское направление» нашей литературы шли братья — Константин и Иван Аксаковы».

Как это ни парадоксально, иногда ничто так не разъединяет людей, как то, что как раз и должно их соединять. Я говорю сейчас о разногласиях славянофилов (и в меньшей степени И. С. Аксакова) с революционными демократами и представителями «натуральной школы». А соединяло их главное... Прошло время непримиримых споров, и оказалось, что как раз предмет непримиримости их и соединяет, пришла пора взглянуть на их разногласия с высоты отсеивающего шелуху беспощадного времени — и уже сегодня становится очевидно, что их общим несчастьем была разъединенность перед общей бедой, которую они в полную меру еще или не осознавали или о которой еще не догадывались.

Трудными были последние годы И. С. Аксакова, он видел невозможность, трагическую невозможность воплощения своих идеалов. В декабре 1885 года нависла угроза закрытия последней его газеты «Русь». 26 января 1886 года он писал одному из своих корреспондентов: «Как трудно живется на Руси!.. Есть какой-то нравственный гнет, какое-то чувство нравственного измора, которое мешает жить, которое не дает установиться гармонии духа и тела, внутреннего и внешнего существования. Фальшь и пошлость нашей общественной атмосферы и чувство безнадежности, беспроглядности дают нас...»

На следующий день его не стало. Не стало человека, суть которого можно выразить двумя короткими цитатами — из сербской газеты «Застава»: «Если бы мы жили при более счастливых обстоятельствах, Аксаков, без сомнения, перенес бы свою любовь на все человечество»; и из «Автобиографии» самого И. С. Аксакова: «Никаким награждениям знаками отличия не подвергался». Этим он подчеркивал чистоту своей гражданской совести.

«Определяя характер Аксакова, нельзя руководствоваться какими-нибудь обыденными классификациями, — писала в некрологе «Неделя». — Его нельзя причислять ни к консерваторам, ни к либералам, ни к радикалам, ни к каким-либо другим подобным группам. Он считался славянофилом, но и это определение, строго говоря, не вполне ему соответствовало, так как между некоторыми его мнениями и мнениями прежде его отошедших в могилу вождей славянофильства нередко за-

мечалась рознь. Это была слишком исключительная натура, совсем особенное явление в нашем общественном мире».

Прошло сто лет, как умолк этот честный и мужественный голос. И, как дань уважения ему, выходит на его родине этот сборник, в который мы постарались включить все самое лучшее — в самых разных жанрах, — написанное им. Объем сборника не позволил включить все его стихи и поэмы, но этот пробел можно восполнить, взяв в библиотеке книгу И. С. Аксакова «Стихотворения и поэмы», вышедшую в 1960 году в «Библиотеке поэта» (большая серия) в издательстве «Советский писатель». За бортом книги остались его страстная публицистика, его письма.

И в заключение остается только с сожалением и горечью сказать, что на родине И. С. Аксакова — в селе Надеждине — до сих пор не сделано ничего для увековечения памяти Сергея Тимофеевича, Ивана Сергеевича и Константина Сергеевича Аксаковых. Наверно, непросто восстановить дом, полуразрушенную церковь, но на первых порах можно было бы разбить на пустыре вокруг нее парк или сквер, вычистить и привести в порядок пруд и облесить головы знаменитых надеждинских родников, которые мы знаем по произведениям С. Т. Аксакова как «парашинские». Облесенные, они бы вновь стали многоводными и заиграли бы с прежней силой на нашу общую радость.

М и х а и л Ч в а н о в



Стихотворения

К. С. АКСАКОВУ²

Не расточай святых даров природы
Пред суетной, бессмысленной толпой;
Сил молодых исполненные годы
Не трать в борьбе бесплодной и смешной.
К чсму тебе минутное вниманье,
Участия лишенные слова,
Пустых людей пустое лепетанье:
Мелка их мысль и их душа мертва!

Нельзя дать сил уже гнилому телу,
Жизнь новую безжизненным сердцам:
Не в их среде расти благому делу,
Не им внимать пророческим словам!
Их легкого обычного круженья
Стремленье, повсерь, не заменит.
В ком веры нет и в ком нет убежденья,
Событие того лишь вразумит!

Удел толпы означила природа,
И жизнь ее пуста и холодна.
Судеб мирских таинственного хода
Не хочет знать с презрением она!
Скажи ж, зачем высокие надежды
Иль воплощенья ждущие мечты

Ты предаешь на дерзкий суд невежды
Или хвале бессмысленной толпы?

Зачем же ты, не дорожа святыней,
Влачишь везде заветных мыслей клад,
Глубокий смысл их открываешь ныне
И мнимому толпы участью рад?
О верь, она в своем прикосновеньи
Их важности достоинства лишит,
И не поймет сокрытого значенья
И мыслей тех опошлит внешний вид!

Нет, кто перстом божественным отмечен,
Тот святостью призванья полон будь,
Чтоб подвиг был его велик и вечен,
Чтоб был свершен обетованный путь!
Нет, строг и чист от личных побуждений,
Пусть в тишине взлелеет труд он свой,
Пусть он бежит тщеславных оболщений,
Пусть цель одну он видит пред собой!

Когда же час пророческих открытий
Пробьет толпе, как будто божий гром,
И близостью громадных тех событий
Повеет вдруг нежданною кругом, —
Она падет от тяжкого удара,
Как червь гнилой под мощную стопу...

Теперь же ты не трать напрасно дара,
Чтоб убедить заранее толпу!

1844

РОМАНС

Я помню: светлая луна
Мой путь опасный озаряла...
Она сидела у окна,
Тревоги радостной полна,
Она кого-то поджидала.

Я сбросил плащ с своих плечей,
К окну бежал я торопливо;
Услышать звук ее речей,
Увидеть блеск ее очей
Желалось мне истерически.

И с распущенною косою
Она внезапно мне предстала.
И, озаренные луной,
Блистали плечи белизной!
О, что тогда со мною стало!

Я молод был и полон сил,
И жарко кровь во мне кипела,
Я деву страстно полюбил
И сердце девы победил:
Она понять меня умела!

И дева в сладком забытьи
Склонилась с трепетной любовью
И прикоснулась ко мне...
Но я горел, я был в огне,
Не совладал с своею кровью!

Ворота были на замок,
Она впустить меня робела.
Я был решителен и скор,
Не слушал я ее укор
И к ней в окно вошел я смело.

О юга пламенного дочь,
Кто этот миг теперь оценит!
Откинь свои сомненья прочь,
И эта ночь, и эта ночь
Нам целый рай с тобой заменит!

1844

* * *

Зачем опять теснятся в звуки
Вопросы, спавшие в тиши,
Все те же образы и муки
Сосредоточенной души?
Зачем стиха волшебной чарой
Я не могу облечь сполна
Всю скорбь души, еще не старой,
Всю глубину ее до дна?

Когда кругом себя, тоскуя,
Гляжу на юность наших дней,

Былое время памятуя,
Теперь иное вижу в ней:
Ей веселится неохотно,
Ей слышен гром издалика,
И не живетя беззаботно,
И ноша жизни нелегка!

Но не обманы, не мечтанья,
Не жажда счастья и надежд —
Самолюбивые страданья
Разочарованных невежд
Волнуют нас. Иное время.
Теперь иным полны умы, —
Зачем неправедное бремя
Условий ложных терпим мы?

И быстро ходит молодая
Великодушная молва,
Что человечество, страдая,
Кладет на все свои права.
И что напрасно в жизни нашей
Мы скорби тяжкие несем
И пьем отраву полной чашей,
И чаши той не разобьем!

Что грех искать там наслаждений,
Когда теперь сознали мы
Многозначительность стремлений
На божий свет — из мрака тьмы,
На животворную свободу...
Когда сказались слова,
Провозгласившие народу
Принадлежащие права!

Но где звезда? Кто путь укажет?
Кто прорицать событий ход
Дерзнет — и жертвой смело ляжет,
Готовя нам богатый плод?
За опрометчиво прекрасной
Порыв — ужель господь судил
Пасть не одной молодой и страстной,
Высокой жертве в цвете сил?

К чему? Быть может, мы избрали
Не путь назначенный судьбой:
Еще таясь в туманной дали,

Он проложился б сам собой?
И то, чего мы так хотели,
Придется поздно позабыть:
Всю жизнь стремим к единой цели,
И к цели ложной, может быть?

Не легче ль ждать, влача оковы —
Их бремя вздорная мечта, —
Пока громадные засовы
Падут — и двинутся врата?
О нет! смотрю, в часы раздумья,
Я с негодующей тоской
На эгоизм благородумья,
На возмутительный покой!

О нет! страданье благодатно
Пусть наш воспитывает век;
Пусть непрерывно, безвозвратно
Стремится к цели человек!
Пусть сторожит тревожным слухом
Движенье всякое добра!
Блаженны алчущие духом:
Наступит жданная пора!

23 февраля 1845

* * *

Не в блеске пышного мечтанья,
Не в ложном сладком полусне,
Не с красотой очарованья,
Бывало, жизнь являлась мне.
Но предан юному усердию
К трудам суровым бытия,
Казалось мне, с землей и твердью
Не прочь бы был сразиться я!
И для потехи оборонной
Готовил я, на всякий час,
Так много воли непреклонной,
Да сколько мужества в запас!..
Сначала бодро и упруго
Кипела деятельность сил,
Я душу — вредного досуга,
А сердце голоса лишил.
И рад я был в своей гордыне
Жить без отрады и в тиши,

Да все идти!.. Слабеет ныне
Высокий строй моей души!
Когда напев забытых песен
Вдруг пронесется надо мной,
То мнится мне, что мир мой тесен,
Но что прекрасен мир иной!
Что много в жизни упоенья
Дарует образ красоты,
Что есть возможность увлечения,
Что власти много у мечты!
Что тяжело иго сил железных
И что бездействие иных
Полезней всех трудов полезных,
Отрадней всех даров земных!..

Февраль 1845

26-е СЕНТЯБРЯ

Всяк человек ложь
Псалом 14

Я не всегда обычной жизни
Бываю вихрем увлечен;
Смущают сердце укоризны;
Нередко ими пробужден
От чаду жизненной тревоги,
От мелких, суетных забот —
Как бедный спутник, средь дороги
Свой останавливая ход,
На землю с плеч слагает бремя
И, погружен в свою печаль,
Глядит назад, считает время,
Усталым оком мерит даль...

Так вызываю беспристрастно
На суд из мрака и тиши,
Что там звучит, живет неясно —
Движенья тайные души;
Так мысли я, труда и дела
Причины скрытые слежу,
И, в глубь души взглянувши смело,
Я много плевел нахожу!

Не то чтоб дар моей свободы
Я жизни робко уступил
И семя доброе природы
Страстями рано заглушил:
Сознание бодрое не дремлет,
Неумолкаемо зовет...
Но сердце слышит и не внемлет
И жизнью прежнею живет!

И истребить не знаю власти —
И силы нет, и недосуг —
Мной презираемые страсти,
Мной признаваемый недуг!
Вступаю ль в спор, бросаюсь в битву —
Тревожусь тщетною борьбой,
Творю несвязную молитву —
Но веры нет в молитве той!

В чаду тщеславных искушений,
Как душу ты ни сторожи,
В ней мало чистых побуждений,
В ней мало правды, много лжи!
Так мало в нас любви и веры,
Так в сердце мало теплоты,
Так мы умны, умны без меры,
Так мы боимся простоты!

Так часто громкими речами
Клянем мы иго светских уз;
Но между словом и делами
Так наш неискренен союз!
Как быть! — Покойно и лениво,
Удобно, вяло и легко,
Полустрога, полушутлива,
Не заносясь далеко,

Жизнь наша тянется... «Ужели
Тревожить мирный наш очаг?
Зачем искать суровой цели
При дешевизне наших благ?
Добры, но слабы мы, и, право,
Излишен строгий нам упрек!..»
Так извиняем мы лукаво
Меж нас гнездящийся порок!

Мне ясны лживые порывы
И тайна помыслов в тиши,

Хитросплетенные извивы
Моей испорченной души.
Привычкам вредного влечения
Хотел бы я противустать;
Но, устрасая исцеленья,
Спешу вослед другим опять!

И бесполезно мне сознание
Душевных немощей моих;
Мгновенный жар негодованья
Не властен свергнуть бремя их.
В борьбах тяжелых и бесплодных
Я много жизни пережил:
Движений нет во мне свободных,
Нет первобытных, свежих сил!..

Сентябрь или октябрь 1845

СОН

Я видел странный, дивный сон,
Какой не видывал от века.
Поведай мне, Мартын Задека,
Уж не пророческий ли он?..

Мне снилась грозная царица
С державным скипетром в руках;
Ей лик скрывала багряница,
Ее возила колесница
На исполинских колесах;

И в дышле разные народы
Идут под крепкою уздой,
Гордяся призраком свободы!
Но где Судьба стезей крутой
Проходит время и пространство,

Там все дрожат ее оков,
Высокой мудрости тиранства,
Ее тяжелого убранства,
Ее увесистых даров!

Где ни пройдет — глубоко вдавит
Неизгладимый, яркий след,
И часто путь ее кровавит
Трофей безжалостных побед!..

Но вокруг тяжелой колесницы
Там суетятся и кричат...
И хохот слышится царицы,
Как грома дальнего раскат:
«Что это там? какая туча?
Откуда страшная взялась?
Как суестлива и гремуча!
Вот я тебе, земная куча,
Не в добрый миг ты поднялась!
Они шумят, они бормочут,
Они кишат, как муравьи,
Меня с привычной колени
Долой свести они хлопчут!
Хотят маршрут мне обновить!
Хотят тщедушные пигмеи,
В пылу мечтательной затеи,
Мой твердый ход остановить!
Прочь, прочь, что лезете вы смело,
Куда нелегкая несет?
Не за свое взялись вы дело,
Мое желанье не пришло,
Моя рука вас поведет!
Прочь, прочь!..» И, вняв такому слову,
Благоразумные спешат,
Чтоб подобию да поздорову
Скорей убраться им назад.
Толпа редсет. Но иные,
Хоть и смутясь от слов таких,
Еще стоят: все молодые
Да старцы доблии, прямые...
Но вот один, ловчей других,
Не слыша слов, вперед несется,
Глядит, не видя ничего,
Но так и метит, так и рвется,
Чтоб угодить под колесо!..

Проснулся я; мной овладела
Тоска, и долго думал я...
Пора пришла ль иль не созрела,
Не знаем мы... но вы, друзья,
Во мне не встретите сноверца:
Ужели внутренний призыв,
И скорбь души, и голос сердца —
Одна мечта, простой порыв?
О, прочь тяжелые сомненья,
В груди возникшие моей!

Пора иль нет, без убежденья,
Без благородного стремленья
Что ж будет жизнь? Что пользы в ней!
Нет! делу доброму ужели
Не лучше в дар принести ее,
Чем так, без толку и без цели,
Влачить пустое бытие?..

Октябрь 1845

НОЧЬ

В заботах жизни многосложной,
В ее шумливой пустоте,
Далеко мысль о непреложной
Природы дивной красоте!
Так, охлажденных и привычных,
Нас не смущает вид небес,
Ни повторение обычных,
Всегда торжественных чудес!
Но в час внезапный пробужденья
Душе послышится опять
Восторга тихого смятенье,
Мгновений чистых благодать!..

Полны чудес неистощимых
Природы вечные дела!
Полны пространств неизмеримых
Все неба звездные тела!
Идут чредой бессчетной годы,
Один другим теснится век;
Сменились царства и народы,
Преобразился человек!..
А ты стоишь неизменимо,
Не увядаешь ты одна;
Твое убранство нерушимо, —
Все те же солнце и луна!
Твое безмолвие ночное
Все то же таинство хранит;
Все так же небо голубое
Нас неизвестностью манит!..
А ты, которая воспета
Стихами столькими была,
Луна, царица полусвета,

Как много грез ты родила,
Как много снов и вздоров милых!
Повсюду, блеск твой возлюбя,
Толпы мечтательниц унылых
Подъемлют взоры на тебя!..

О, помню я твое сиянье
И целый ряд таких ночей,
И тихий говор, и молчанье
Невольню прерванных речей!
Река, блестя, струилась мимо,
Шумели листья в вышине...
Проснулось все, что недвижимо
В душевной спало глубине!

И многих тех, кто в эти ночи
Пытали думой мир иной,
Давным-давно закрылись очи,
Давным-давно их нет со мной!
Так мне теперь предстали ясно
Когда-то милые черты...
И ныне также ты прекрасно,
И так же тихо светишь ты!

2 ноября 1845

* * *

С преступной гордостью обидных,
Тупых желаний и надежд,
Речей без смысла, дум постыдных
И остроумия невежд,
В весельях паглых и безбожных,
Средь возмутительных забав
Гниете вы, условий ложных
Надменно вытвердя устав!
Блестящей светской мишурою
Свою прикрывши нищету,
Ужель не видите порою
Вы ваших помыслов тщету?
Того, что вам судьба готовит,
Еще ли страх вас не проник?
Все так же лжет, и срамословит,
И раболепствует язык!
Не стыдно вам пустых занятий,
Богатств и прихотей своих,

Вам нипочем страданья братьий
И стоны праведные их!..
Господь! Господь, вонми моленью,
Да прогремит бедами гром
Земли гнилому поколенью
И в прах рассыплется Содом!
А ты, страдающий под игом
Сих просвещенных обезьян, —
Пора упасть твоим веригам!
Пусть, духом мести обуян,
Восстанешь ты и, свергнув бремя,
Вещав державные слова,
Предашь мечу гнилое племя,
По ветру их рассеешь сѣмя
И воцаришь свои права!..

1845

* * *

Вопросом дерзким не пытай
Судьбы таинственных велений,
Поднять завесы не мечтай,
Не разрешай своих сомнений
И не тревожь в тиши ночной
Видений злых готовый рой!..
Оставь, забудь, не трогай их,
Там нет отрады и спасенья...
В борьбах измученных пустых,
Ты пожелаешь разрушенья...
Так пусть в сердечной глубине
Всегда безмолствуют оне!..
Что, если б — страшные мечты! —
Всё беспредельное созданье
О мир бы целый понял ты
И перенс в свое сознанье?..
Но мнится дух напором сил
Земные узы б сокрушил!
Моли, чтоб вечно не могла
Раскрыться истины пучина,
Заговорить с тобою мгла,
На зов откликнуться темнина
И дать властительный ответ,
Где дышит смерть и жизни нет!

1845

ЯЗЫКОВУ³

Мне неожидан был и нов
Твой отзыв дружески пристрастный,
Ты мира звуков и стихов
Распорядитель полновластный!
Благодарю тебя, поэт!
Ты руку подал мне, как другу,
Твой одобрительный привет
Рассеял вмиг тяжелый бред,
Моей души печаль и тугу!..
И рад бы был поверить я
Призывам опыта и дружбы!..
Но знаешь сам: в заботах службы
Тянулась долго жизнь моя!
Потратив годы золотые
В делах усердных и пустых
Ужель для подвигов иных
Назначен я?.. Когда впервые,
Средь утомительных трудов,
Мое раздалось песнопенье,
Мне странен был моих стихов
Язык и ново — вдохновенье!..

Так указать свою судьбу
Дерзнет ли воля молодая,
Вопросов внутренних борьбу
Самонадеянно решая?..
Но если смутно и темно
В груди таится дарованье,
Да воспитается оно,
Да оправдается призванье!
Да будет мир души моей
Высокой думою настроен,
Да не угаснет пламя сей,
Да будет век его достоин!

Да тяжесть нашего греха
И поклонение обману
Могучей силою стиха
Изобличать не перестану!..
Пускай же юности моей
Не возмущают девы-розы,
Веселье бурное страстей,
Любви свежительные грозы!
Но всюду нам среди пиров

И всяких суетных занятий
Да будут слышны вопли братьев,
И стон молитв, и гром проклятий.
И звуки страшные оков!..

1845

ОТРЫВОК ИЗ НЕНАПИСАННОЙ ПОЭМЫ

Душевных смут рассказ печальный
Кого из вас теперь займет?
И стан борьбы многострадальный
Кто не осудит, кто поймет?
Кто всей душой теперь со мною
Послышит мир чужой души,
С ее бездонной глубиной,
С работой вечною в тиши?
Ее стремления и муки,
Ее особый, тайный строй,
Ее молитвенные звуки,
Ее задумчивый покой;
И все, что так волнует глухо
Поток привычный жития,
Все тайны внутренние духа,
Весь хор чужого бытия?..

1845

ANDANTE

Когда с боязнию и тревогой,
С сознанием робким тайных сил,
Впервые жизненной дорогой
Я самобытно поспешил,
Когда надежд и веры сладкой,
И многих юности прикрас
Чуждался я, — хотя украдкой
И мне мечталось не раз!
И мысль таилась одиноко
И ободрительно в груди,
Что молод я, что так далеко,
Так много, много впереди!

За днями дни промчались мимо,
И годы — быстрой чередой;
Давно отверг я, что любимо
Так прежде пылко было мной.
Хвалой не раз сменился ропот,
Тоской — веселья шумный час...
Чем дальше в жизнь, тем строже опыт,
Тем он суровой учит нас;
Так много мне в борьбе и деле,
Не в очарованном кругу,
Поведал он... Но я доселе
Привыкнуть к жизни не могу.

Когда, смилив огонь кичливый
И гордость пылкую в крови,
Направишь взор неторопливый,
Вниманье, полное любви,
На все, что так творцом обильно
Тебя кругом расточено,
Что дышит пламенно и сильно,
Что жизни медленной полно,
Что тихим здесь согрето жаром,
Чем жизнь богата и бедна...
Тогда в душе твоей не даром
Напечатлется она!

Тогда душа послышит звуки,
Досель неслыханные ей;
Подаст ответ на скорбь и муки
И радость всякую людей,
На зов и клич во имя братства;
Провидит мыслей глубину,
Свои безвестные богатства,
Чужого сердца тишину...

Так пусть душа не унывает
И лени вкрадчивой бежит,
Повсюду взором вопрошает,
Пытливым слухом сторожит
Те вековечные явленья,
Те жизни тайные черты
Недостижимой высоты,
Неистошимого значенья,
Непреходящей красоты!

РУССКОМУ ПОЭТУ

Поэт, взгляни вокруг! Напрасно голос твой
Выводит звуки стройных песен:
Немое множество стоит перед тобой,
А круг внимающих — так тесен!
Для них ли носишь ты в душе своей родник
Прекрасных, чистых вдохновений?
Для них! Народу чужд искусственный язык
Твоих бесцветных песнопений,
На иноземный лад настроенные сны
С тоскою лживой и бесплодной...
Не знаешь ты тебя взлелеявшей страны,
Ты не певец ее народный!
Не вдохновлялся ты в источнике живом
С народом общей тайной духа,
Не изучимого ни взором, ни умом,
Неуловимого для слуха!
Ты чужд его богатств! Как жалкий ученик,
Без самородного закала,
Растратишь скоро все, чем полон твой
родник,
Чем жизнь заемная питала!
Пусть хор ценителей за робкий песен склад
Тебя и хвалит и ласкает!..
Немое множество не даст тебе наград:
Народ поэта не признает!

1846

ДОЖДЬ

Тепло и тихо; ливень крупный
Гудит, стуча по мостовой.
Скорей, скорей! Приют доступный
Еще далек передо мной!
По желобам вода струится,
Шумящим падает ручьем;
По скатам бешено катится
Потоком грязи в водоем,
На крыльца, под навес, тревожно
Досужий прячется народ;
Кой-где по камням, осторожно,
Ступает мокрый пешеход;

Да шляпу завернув в бумажный
Широкий клетчатый платок,
Закинув голову, отважный,
Спешит купеческий сынок.
Порой чрез улицу мелькает
Огромный зонтик иногда,
Тяжелый, синий; и вода
По прутьям звонко ниспадает.
Да в луже целою ступней,
Походкой пьяной и кривой,
Мужик шагает, распевая...
Порой мещанка молодая,
Подол забравши без затей,
Красуясь белыми чулками,
Проходит ловкими ногами
По ребрам вымытых камней!
Но вот блестящая карета
Несется шумно. В ней сидит,
С лорнетом, сморщен и сердит,
Какой-то франт большого света
Небрежно смотрит, развалясь,
На дождик; зол и полон гнева...
Кругом направо и налево
Колеса вскидывают грязь!..

Но дальше, дальше. Мчатся кони
То мимо лавок и рядов,
То мимо разных благовоний
И ветхих низменных домов.
Пестреет все в движеньи скором...
Вот дом огромный за забором.
Я мимо дома проскакал,
И мне сквозь ряд окошек длинный,
Мелькнули быстро: желтый зал,
Две печи в голубой гостиной.
Да у последнего окна
Сидит красавица, одна...

И вот уносится и скачет
Моя досужая мечта:
О чем грустит и будто плачет,
О чем тоскует красота?
Пред нею даль; окно открыто;
Тепло и тихо; дождик льет...
Все настоящее забыто,
Одно минувшее живет!

Иль смущена теперь иным?
Заботой мелкой, женским взором,
Тщеславьем жалким и смешным?..

А между тем приют доступный
Уж мелькнул издалика...
Не продолжится ливень крупный,
И разойдутся облака!
И воздух чистый и прекрасный
Благоуханием пахнет,
И в вечер теплый, тихий, ясный
Душою каждый отдохнет!

1846

А. О. СМИРНОВОЙ ⁴

1.

Вы примиряетесь легко,
Вы снисходительны не в меру,
И вашу мудрость, вашу веру,
Теперь я понял глубоко!
Вчера восторженной и шумной,
Тревожной речью порицал
Я ваш ответ благоразумный
И примиренье отвергал!
Я был смешон! Признайтесь, вами
Мой странный гнев осмеян был;
Вы гордо думали: «С годами
Остынет юношеский пыл!
И выгод власти и разврата,
Как все мы, будет он искать,
И равнодушно созерцать
Паденье нравственное брата!
Поймет и жизнь, и род людской,
Бесплодность с ним борьбы и стычек,
Блаженство тихое привычек
И успокоится душой».

Но я, к горячему молению
Прибегнув, бога смел просить:
Не дай мне опытом и ленью
Тревоги сердца заглушить!

Пошли мне сил и помощь божью,
Мой дух усталый воскреси,
С житейской мудростью и ложью
От примирения спаси!
Пошли мне бури и ненастья,
Даруй мучительные дни, —
Но от преступного бесстрастья,
Но от покоя сохрани!
Пускай, не старея с годами,
Мой дух тяжелыми трудами
Мужает, крепнет и растет
И, закалясь в борьбе суровой
И окрылившись силой новой,
Направит выше свой полет!

А вы? вам в душу недостойно
Начало порчи залегло,
И чувство женское покойно
Развратом тедиться могло!
Пускай досада и волненье
Не возмущают вашу кровь;
Но, право, ваше примиренье —
Не христианская любовь!
И вы к покою и прощенью
Пришли в развитии своем
Не сокрушения путем,
Но... равнодушием и ленью!
А много-много дивных сил
Господь вам в душу положил!
И тяжело и грустно видеть,
Что вами все соглашено,
Что неспособны вы давно
Негодовать и ненавидеть!..

Отныне всякий свой порыв
Глубоко в душу затаив,
Я неуместными речами
Покоя вам не возмущу.
Сочувствий ваших не ищущу!
Живите счастливо, бог с вами.

А. О. СМИРНОВОЙ

II

Когда-то я порыв негодованья
Сдержатъ не мог и в пламенных стихах
Вам высказал души моей роптанья,
Мою тоску, смятение и страх!
Я был водим надеждой беспокойно,
Ваш путь к добру я строго порицал
Затем, что я так искренно желал
Увидеть Вас на высоте достойной,
В сиянии чистой красоты...
Безумный бред, безумные мечты!

И этот бред горячсго стремления,
Что Вам одним я в тайне назначал,
С холодностью рассчитанной движенья
И с дерзостью обидною похвал,
Вы предали толпе на суд бесплодный:
Ей странен был отважный и свободный
Мой искренний, восторженный язык,
И понял я, хоть поздно, в этот миг,
Что ждать нельзя иного мне ответа,
Что дама Вы, блистательная, света!

1846

СОВЕТ

(К. С. Аксакову)

Храни устав приличий строгих света,
Волненья дум глубоко затаив.
Их назовут горячностью поэта,
Почтут хвалой твой искренний порыв.

Но похвала горячему движенью,
Как яд крови, опасна и вредна:
Она ведет к вопросу и сомненью,
Свободу чувств в тебе смутит она.

И чистота внезапного порыва
Затмится вдруг тщеславною мечтой.
О, бойся их хвалебного отзыва,
Не щеголяй душевной красотой,

Чтоб гордый свет улыбкой снисхожденья
Не оскорбил восторженную речь:
Бессильных душ порывом не увлечь!
Своей души растратишь ты движенья,
Остынет жар и притупится меч!

1846

К ПОРТРЕТУ

Смотри! толпа людей, нахмурившись стоит.
Какой печальный взор! какой здоровый вид!
Каким страданием томяся неизвестным,
Они речь умную, но праздную ведут;
О жизни мудрствуют, но жизнью не живут
И тратят свой досуг лениво и бесплодно,
Всему сочувствовать умея благородно!
Ужели племя их добра не принесет?
Досада тайная подчас меня берет,
И хочется мне им, взамен досужей скуки,
Дать заступ и соху, топор железный в руки
И, толки прекратя об участи людской,
Работников из них составить полк лихой.

1846

САННЫЙ БЕГ, ВЕЧЕРОМ, В ГОРОДЕ

Бежит стрелой неудержимо
Озябший конь;
Дома, столбы несутся мимо,
Блеснет огонь.
Теней бродящих вереница
Во тьме ночной
Скользит поспешно; в окнах лица
Мелькнут порой;
И брань и шум внезапной встречи
На краткий миг,
И недослышанные речи,
И смех, и крик!..
Отраднo мне! Люблю хрустальный
Морозный снег, —
По нем тревожно-торопливый
Лихой набег!
Когда зима здоровьем пышет
В лицо и в грудь

Смелей, вольней, бодрее дышит, —
Мне вссел путь!
Мне благодатен зимний холод,
И полюбил
Я снова жизнь, и добр, и молод,
И полон сил!
И вновь стремлюсь, и не послушен
Своей судьбе,
Отважен, горд, великодушен,
Готов к борьбе!
И вновь я слышу вдохновенья
Святой призыв:
Теснятся в душу песнопенья
Наперерыв!
Так много, много сил свободных
В груди моей
Для всяких чистых, благородных,
Живых страстей!..
Отраднo мне! Порыв мятежен,
Подумал я,
Но краток он и скоробежен,
Как бег коня!
Исчезнет мир мечты свободной,
И с нею вновь
В труде пустом, в тоске холодной
Смирится кровь.
Пусть так! я рад, когда усталый,
В заботах дня,
На сладкий миг, хотя и малый,
Забудусь я!

1846

* * *

Блаженны те, кто с юношеских лет
Заботой дум себя не отравили,
Но радостей сорвали полный цвет,
Но на земле для жизни только жили!

И наконец под старость, в добрый час,
Когда грешить им стало не под силу,
Покаялись на случай, про запас,
И отошли в холодную могилу!..

1846

Мы все страдаем и тоскуем,
С утра до вечера толкуем
И ждем счастливейшей поры.
Мы негодуем, мы пророчим,
Мы суетимся, мы хлопочем...
Куда не взглянешь — все добры!

Обман и ложь! Работы черной
Нам ненавистен труд упорный;
Не жжет нас пламя наших дум,
Не разрушительны страданья!..
Умом ослаблены мечтанья,
Мечтаньем обессилен ум!

В наш век — век умственных занятий —
Мы утончились до понятий
Движений внутренних души, —
И сбились с толку и блуждаем,
Порывов искренних не знаем,
Не слышим голоса в тиши!

В замену собственных движений,
Спешим, набравшись убеждений,
Души наполнить пустоту:
Твердим, кричим и лжем отважно,
И горячимся очень важно
Мы за заемную мечту!

И, предовольные собою,
Гремучей тешимся борьбою,
Себя уверив без труда,
Что прямодушно, не бесплодно
Приносим «мысли» благородно
Мы в жертву лучшие года!

Но, свыкшись с скорбью ожидания,
Давно мы сделали «страданья»
Житейской роскошью для нас:
Без них тоска! а с ними можно
Рассеять скуку — так тревожно,
Так усладительно подчас!

Тоска!.. Исполненный томленья,
Мир жаждет, жаждет обновленья,

Его не тешит жизни пир!
Дряхлея, мучится и стынет...
Когда ж спасение нахлынет,
И ветхий освежится мир?

1847

* * *

При кликах дерзостно-победных,
Торжеств блестящих суеты,
О, сколько раз красавиц бедных
Встречал я грустные черты!
И в них, приличию послушных,
Сквозь блеск и шум читалось мне
Так много жертв великодушных,
Так много горя в тишине!

Легла на вас — условий разных,
Неумолима и тяжка,
Приличий света безобразных,
Житейской мудрости рука!
Должны вы стон многострадальный
От всех далеко затаить...
Хотел бы я душой печальной
Все ваши скорби разделить!
Хотел бы я лампадой ночи
Светить пред ней в заветный час,
Когда подъемлет к небу очи
Одна страданица из вас,
Чтоб видеть пыл душевной битвы,
Перед творцом, наедине,
Чтоб слышать мне полет молитвы
В благоуханной тишине!..

Я святость тайны не нарушу:
О, дай понять мечты твои
И врачевать больную душу
Словами мира и любви!
Пускай теперь мой стих летучий
Как дань участия моего,
Волшебной властью созвучий
Дойдет до сердца твоего!..

1847

* * *

Что мне сказать ей в утешенье,
Чем облегчить ярмо судьбы?
Она отвергнет примиренье,
Она не вынесет борьбы!
Ее ли чувство не глубоко!
А сколько зла судили ей
Так простодушно, так жестоко
Законы мудрые людей?..
Пускай же, миром позабыта,
Она страдает до конца,
Живой упрек земного быта
И обличение творца!..

1847

* * *

Зачем душа твоя смирна?
Чем в этом мире ты утешен?
Твой праздный день пред богом грешен,
Душа призванью не верна!
Вокруг тебя встают задачи,
Вокруг тебя мольбы и плачи,
И торжествующее зло,
А ты... Ужель, хотя однажды,
Тебя огнем палящей жажды
Добра и подвигов не жгло?

Ты возлюбил свое бзделье
И сна душевного несдуг.
В пустых речах, в тупом веселье
Чредою гибнет твой досуг.
На царство лжи глядя незлобно,
Ты примиряешься удобно
С неправдой быта своего,
С уродством всех его увечий,
Не разъяснив противоречий,
Не разрешая ничего!

Пред богом ленью не грехи!
Стряхни ярмо благоразумья!
Люби ревниво, до безумья,
Все пылом дерзостным души!

Освободись в стремленье новом,
От плена ложного стыда,
Позорь, греми укорным словом,
Подъемля вас всевластным зовом
На дело общего труда!
Безумцем слыть тебе у всех!
Но пред святыней убежденья
Ничтожны мира оскорбленья
И прелесть жизненных утех.

Кто может здесь, презрев преграды,
Без ободренья, без награды
Безумно правду полюбить,
Тот век стремись за правды светом...
Одним безумцам в мире этом
Дано лишь истину добыть!..

* * *

1847

Свой строгий суд остановив,
Сдержав готовые укоры,
Гордыню духа усмирив,
Вперявь внимательные взоры
В чужую душу полюби...
Верь: в каждой презренной и пошлой,
В се неведомой глубли,
И в каждой молодости прошлой
Отыщешь много струн живых,
Мгновений чистых и прекрасных,
Порывов доблестных и страстных
И тайну помыслов святых!

Благие в жизни времена
На долю каждого даются,
Когда душа его сильна
Добра взлелеять семена,
Когда мечты роями вьются;
И чутко сердце к красоте,
И сердце он другое любит, —
Пока в житейской суете
Себя напрасно не погубит;
И постепенно, днем за день,
Окаменеет он лениво...

Бери ж надежное огниво,
Ударь в заржавленный кремень!..

Да не смутит же сор и хлам,
На сердце жизнью наносимый,
Твоих очей! Пусть смело там
Они провидят мир незримый.
Любовью кроткою дыша,
Вглядись в него: и пред очами
Предстанет каждая душа
С своими вечными правами.
Поверь: нетленной красоты
Душа не губит без возврата;
И в каждом ты услышишь брата,
И бога в нем почувешь ты!

* * *

1847

Станным чувством объята душа,
Будто хочет проститься с землею,
Будто все, чем земля хороша,
С бесконечной и пестрой семьею,
Все покинуть ей должно спеша!..
И с порывом тоскливо-больным
Просит воли, — на миг позабыться,
Все вместить, полюбить, всем земным,
Всем дыханием жизни упиться,
Всем блаженством ее молодым!..

1847

ОТДЫХ

В жизни путь предназначив себе,
На него я без страха гляжу.
И, скупой покорившись судьбе,
Твердо цель я простую слежу.

Много было вопросов в груди,
Всяких смелых порывов и грез,
И надежд предо мной впереди,
И нснужных страданий и слез.

Все мечты обличить я умел,
Не пришлось им меня обмануть,
И, поняв ежедневный удел,
Я побрел в незаманчивый путь...

Нынче целый трудился я день,
Утомленный, сижусь без огня, —
И покой, и законная лень
Сладкой негой объемлют меня.

Тихо. Ночь. На простор голубой
Из-за туч выплывает луна,
Белый свет пробежит полосой,
В тучи снова уходит она.

И сменило заботливый шум
Беспокойной дневной суеты
Время стройных и медленных дум,
Время легких видений мечты...

Все, что в сердце давно улеглось,
Что таила души тишина,
Все нежданно с глубины поднялось,
Всколебалось до самого дна!

Все вопросы моей старины,
Неоконченных песен слова,
Все мои позабытые сны,
Все забытые жизни права!

Стаю дум поднимая собой,
Шепчет голос лукавый в тиши,
И слабеют — трудом и борьбой
Напряженные силы души!..

О, вернись, утомительный день!
Пристыди малодушную ночь,
Ярким светом природу одень,
Отгони все неверное прочь!

Снова жизнь, без прикрас и затей,
В ежедневных размерах яви
И насмешкою бодрой рассей
Полуночные грезы мои!

* * *

Не дай душе твоей забыть,
Чем силы в юности кипели,
И вместо блага, вместо цели
Одно стремленье полюбить.
Привычка — зло. Одним усталым
Отраден дух ее пустой...
Стремясь, не будь доволен малым
И не мирись своей душой!..

Хоть грезим мы, что цели ясны,
Что крепок дух и прочен пыл,
Но для души ленивых сил
Пути нескорые опасны!
Но стынет жар с теченьем лет,
Но каждый подвиг наш душевный,
Прожитый жизнью ежедневной,
Готов утратить прежний цвет!

1848

* * *

Пусть гибнет все, к чему сурово
Так долго дух готовлен был:
Трудилась мысль, дерзало слово,
В запасе много было сил...
Слабейте, силы! Вы не нужны!
Засни ты, дух! давно пора!
Рассейтесь все, кто были дружны
Во имя правды и добра!

Бесплодны все труды и бденья,
Бесплоден слова дар живой,
Бессилен подвиг обличенья,
Безумен всякий честный бой!
Безумна честная отвага
Правдивой юности — и с ней
Безумны все желанья блага,
Святые бредни юных дней!

Так сокрушись, души гордыня,
В борьбе неравной ты падешь:
Сплошного зла стоит твердыня,

Царит бессмысленная Ложь!
Она страшней врагов опасных,
Сильна не внешнею бедой,
Но тратой дней и сил прекрасных
В борьбе пустой, тупой, немой!..

Ликуй же, Ложь, и нас, безумцев,
Уроком горьким испытай,
Гони со света вольнодумцев,
Казни, цари и торжествуй!..
Слабейте ж, силы!.. Вы не нужны!
Засни ты, дух! давно пора!
Рассейтесь все, кто были дружны
Во имя правды и добра!⁵

1849

N.N.N., ОТВЕТ НА ПИСЬМО

Противен смех и говор шумный
Обычных, суетных речей —
Живой, законной и разумной,
Внезапной скорби наших дней.
Ужели свет, ярму послушный,
Не может ныне, малодушный,
Почтить страдание сполна,
Уважить памятью особой,
Когда Бессмыслицей и Злобой
Святая правда попрана?..

Нет! словом злым и делом черным
До дна души потрясены,
Мы все врагов клеймом позорным
Клеймить без усталости должны!
Но если в ком души не станет,
Кто совесть выгодой обманет
И ниц пред Силою падет, —
Тот жди грозы! Тот год от году
Грешнее богу и народу
И месть обоих призовет!..

Март 1849

* * *

Клеймо домашнего позора
Мы носим, славные извне:
В могучем крае нет отпора,
В просторном царстве нет простора,
В родимой душно стороне!

Ее в своем безумье яром
Гнетут усердные рабы...
И мы молчим, слабесм жаром
И с каждым днем сдаемся даром,
В бесплодность веруя борьбы!

И слово правды оробело,
И реже шепот смелых дум,
И сердце в нас одобелело —
Порывов нет, в забвенье дело,
Спугнули мысль.. стал празден ум...

1849

* * *

Усталых сил я долго не жалел.
Не упрекнул бездействием позорным
Мою тоску; как труженник умел
Работать я с усердием упорным.

Мой душе те годы нележки;
Скупым трудом не брезгал я лукаво,
И мнится мне — досуга и тоски
Купил себе я дорогое право!..

В былые дни поэтов чаровал
Блаженства сон, эдем в неясной дали...
Почуяв ложь, безумец тосковал,
И были нам смешны его печали!

И, осмеяв его бессильный плач,
Я в жизнь вступил путем иных мечтаний:
К трудам благим, к решению задач,
На жаркий бой, на подвиг испытаний.
Все помыслы, все силы, всю любовь
Направил я, и гром далекий слышал!..

Лгала и ты, о молодая кровь,
Исчез обман, едва я в поле вышел!

И понял я, что спит желанный гром,
Что вместо битв, нередко с бранным духом
За комаром бежим мы с топором,
За мухою гоняемся с обухом!

И понял я, что подвигов живых,
Блестящих жертв, борьбы великодушной
Пора прошла, — и нам, в замену их,
Борьбы глухой достался подвиг скучный!

Отважных сил не нужно в наши дни!
И юности лукавые порывы
Опасны нам — затем, что все они
Так хороши, так ярки, так красивы.

Есть путь иной, где вера нелегка:
Сгорает в нем порыва скорый пламень;
Есть долгий труд, есть подвиг червяка:
Он точит дуб... Долбит и капля камень.

Невзрачный путь! тебе я верен был!
Лишен ты всей отрады упоенья,
И дерзко я на сердце наложил
Тяжелый гнет упорного терпенья!..

Но слышно мне порой, в тиши работ,
Что бурных сил не укротило время...
Когда же власть, скажи, твоя пройдет,
О молодость, о тягостное бремя?..

1850

МОИМ ДРУЗЬЯМ

**НЕМНОГИМ ЧЕСТНЫМ ЛЮДЯМ,
СОСТОЯЩИМ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ**

В среде бездушной, где закон
Орудье лжи, где воздух смраден
И весь неправдой напоен, —
Один лишь ты мне был отраден,

Ты, малочисленный союз
Мужей без страха и без лести,
Себя добром взаимных уз
Скрепивший для добра и чести!

Досуга праздно не губя,
Вы чужды дерзких замыслений;
Вы не взложили на себя
Задачи целых поколений.
Скупой потворствуя судьбе,
Избравши путь, неяркий с виду,
Вы обрекли себя борьбе,
И слабых внемлете мольбе,
И мстите бедного обиду.

Я .знаю — подвиг вам сужден
Докучный, тесный, ежедневный,
Но сколько раз прекрасней он
Печальной праздности душевной,
Бесплодным преданной мечтам!..
А вы, средь козней и проклятий,
Все тот же пыл несли к трудам...
Мужайтесь! сил добудут вам
Благословенья мѣньших братий!
Я знаю — мелок ваш удел,
Но пышен плод усилий дружных:
Невинный в битве одолел —
Проснулась бодрость в безоружных!
И мог обиженный не раз
Изведать здесь, в среде разврата,
Что встретит в каждом он из вас,
На всякий день, на всякий час,
В делах добра слугу и брата!

Так пусть же дремлет в тишине
Тоска несбыточных желаний;
Зато, без праздных ожиданий,
Вы люди честные вполне.
Так жизнь скупа! предел так краток!
Надеждам смелым не созреть!
И благо всем, кому без взяток
Придется здесь разок десяток
Слезу вдовицы утереть,

Вновь возвратить стесненным грѹдям
Простор и воздух в душной мгле...
Так благо вам, хорошим людям,
За ваше дело на земле!

1851

* * *

Могучим юности призывам
Правдивый выслушай ответ:
Не уступай ее порывам,
Не верь кипенью бурных лет!
Ее любви восторг поспешный
Бежит труда. Дороже сї
Ненужный шум борьбы потешной,
Красивый жар се страстей;
Ей недоступен подвиг темный,
И много грешной сусты
Таит нередко пыл нескромный
Ее возвышенной мечты!
И речи, шумные для слуха,
В разладе с правдой и добром!..
Не в блеске дел, не в буйстве духа
Мы силы духа познаем!

Пусть твердость мужа, с беспощадной,
Докучной зоркостью суда,
Блюдет от той заразы смрадной
Заслугу честного труда.
И, всех тщеславных обольщений
Мятеж корыстный усмирив —
Да будет свят тебе призыв
Одних лишь строгих побуждений!
Чтоб, трезвым мужеством дыша,
Ты не робел судьбы бесславной,
Чтоб шёл ты честно в бой неравный,
Чтоб ненавидела душа —
Где б ни был ты, в глуши ль невидной,
Иль на опасной высоте —
При бодрых силах сон обидный,
С неправдой мира мир постыдный,
Потворство лжи и суете!..

1852

Добро б мечты, добро бы страсти,
 С мятежной прелестью своей,
 Держали нас в могучей власти,
 Сбивали нас с прямых путей!
 Нет! счастьем мелкого объема
 Довольны мы, без бурь и грома
 И мирно путь проходим свой,
 И, тратя жизнь разумной мерой,
 С туманным днем, с погодой серой
 В согласный лад живем душой.

Но эта жизнь — ни сон, ни бденье,
 Бог знает что! Подчас, друзья,
 Какое горькое презренье
 К себе и к вам питаю я!
 Нам все дано! Мы грубой ложью
 Затмить не в силах правду божью,—
 Так ярк свет ее вдали!
 Ее мы чтим, о ней мы тужим...
 Но где же храм, в котором служим?
 Какие жертвы принесли?

А впрочем, мы, дворянской ленью
 Врачуя совести недуг,
 Святому истины служенью
 Свой барский жертвуем досуг!
 Мы любим к пышному обеду
 Прибавить мудрую беседу
 Иль в поздней ужина поре,
 В роскошно убранной палате,
 Потолковать о бедном брате,
 Погорячиться о добре!

Что ж толку в нем! Проходят лёта,—
 Любовь по-прежнему мертва!
 О, слово старое поэта:
 «Слова, слова, одни слова»!
 Не то что б лгали мы бесстыдно,
 Но спим, но дремлем мы обидно;
 Но постепенно силы в нас,
 Пугаясь подвигов суровых,
 Средь мелких благ, средь благ дешевых,
 Счастливо гаснут каждый час!

Не все же сон! Худых желаний
Соблазн послушав иногда,
Обману ловких оправданий
Мы поддаемся без труда.
Мудрец умом, хитрец душою,
Как примирился ты с собою?
Как столько выгод согласил
Ты с духом мудрости змеиной,
Какой «златою серединой»
Ты путь опасный проходил?..

Нет! темных сделок, боже правый,
С неправдой нам не допусти,
Покрой стыдом совет лукавый,
Блаженство сонных возмути!
Да пробудись в восторге смелом
С отвагой пылкою любви,
Мы жизнью всей, мы самым делом
Почтим веления твои!

1853

* * *

Опять тоска! опять раздор!
Знакомых дум знакомый спор!
Давно ли я мечту спровадил,
На мирный строй себя наладил
И сам поверить был готов,
Что жизнь права, что я доволен...
И вот опять я болен, болен
И для тоски не знаю слов!

И скажут мне — и знаю сам, —
Что бесполезен ропот нам,
Что жизни путь призванью верен,
Что мудрый ход ее измерен...
Все это ведаю давно!
Все мной самим или друзьями
Раз двести, прозой и стихами,
На все лады повторено!

Все это сердца не мирит!
Душа в огне, душа горит, —

Она насилью ждет отпора,
Ей нужно воли и простора,
Все силы в подвиг положить
Велит ей дух неугомный...
Души мятеж и бунт законный,
Бесплодны вы!.. Но так и быть!

Бесплодна ты, тоска моя!
Твою законность слышу я!
Не грез обман в туманной дали
Виною скорби и печали,

Но гибель силы молодой,
Но гнет всего, что дух возносит,
Чего душа безумно просит —
Служенья истине живой!

Моли же, умник! твой совет
Давно знаком мне, с детских лет.
Всегда в труде, с судьбой не споря,
Я праздным днем не тешил горя;
Но сердце тщетно вдалеке
Восхода утра ожидало...
И ныне сил моих не стало —
Я волю дал моей тоске!

Но я пределы наложу
Души святому мятежу;
Примусь, смиряя пыл душевный,
За мелкий труд мой ежедневный,
И побредет со мною он
День за день, шагом, до могилы...
Есть силы, боже!.. гибнут силы!
Есть пламень честный... гаснет он!..

1853

* * *

Навстречу вещего пророка
И с ним грядущего суда —
Еще в ночи, еще востока
Дрожала яркая звезда, —
Он вышел, град покинув сонный,
Не взял ни пищи, ни одежд,

В тоске святой, неугомонной,
Свершенья чающей надежд!
Кругом лишь темь да влага ночи,
Не скоро светлый день взойдет...
Но он, во мрак вонзая очи,
Стоит и ждет; стоит и ждет.

И мыслит: «Чаемый, молимый
День наступает. Близок срок.
Узрю тебя, досель гонимый,
Но ныне судящий пророк!
Не призрак ты: с костями и кровью,
Как мы, в плоти идешь ты к нам...
С каким стенаньем и любовью
Я припаду к твоим ногам!
И все, что в эти дни и годы
Терзаний, мук изведал я,
Все в этот миг, пророк свободы,
Благословит душа моя!
Какое утро миру встанет!
Какая вера вспыхнет в нем!
С каким позором зло отпрянет,
Перед святым твоим челом!
Свершишь ты жертвы очищенья, —
И в жизнь оденутся слова:
Освобожденья, обновленья,
Любви и правды торжества!..

Оттуда путь ему, с востока...
Придет, смиренен и могуч,
Под пыльным рубищем пророка
Скрывая слова острый луч!
О, эту пыль одежды бедной
Как я слезами орошу!
Какою праздничной, победной
Я песнью воздух оглашу!
Но близко, Боже!.. Ныне, ныне!..
Вся кровь отхлынула к груди;
Ужасен ты в своей святине,
Великий бог!..
Гряди, гряди,
О, жизни новое начало,
О, царства нового рассвет!..»

Заря пылает, солнце встало,
Проснулся дол. Пророка нет.

— «Нет! но придет он в сроке скором,
Я верю, знаю — он придет!»

И смотрим, даль пытая взором...
Сменился день. Пророк нейдет.
Но, сердцем скорбь приняв покорным,
Он все зовет, он все глядит;
Все тем же гордым и упорным
В нем вера пламенем горит.
И дни бегут, — за днями годы
Неудержимой чередой;
Над ним бушуют непогоды,
Его сжигает солнца зной;
Он миг за мигом время мерит,
Мольбу призывную твердя,
И с каждым мигом ждет и верит,
Очей с востока не сводя.

И лет несчетных ряд промчался...
Он старцем стал. От мужа сил
Один лишь остов воздвигался.
Как тень, как выходец могил,
Снедаем тайною тоскою —
Видали странники — порой
Дрожащей, старческой рукою
Он тусклый взор прикроет свой.
Но веры пламенной гордыни
Душа не свергнула его:
Стоит до днесь он средь пустыни
И ждет пророка своего!

Безумец! страстными мольбами
Вотще зовешь пророка ты!
Давно он ходит между вами,
Но скрыты вам сго черты.
Как знать — с полудня ль, иль с востока,
В начале ль дня, или в конце, —
Но он не в рубище пророка,
Пришел не в царственном венце!
И речь его не идет мимо,
И правит царство он свое,
И мира нашего незримо
Преображает бытие!..
Когда ты к встрече нас готовил,
Он близ тебя, с тобою был;
Когда ты пел и славословил,

Не он ли песнь тебе внушил?
Когда ты ждал зари начала,
Чтоб новой жизни встретить день —
Уж целый век заря пылала,
Ночи веков сгоняя тень!

Взгляни назад. Смотри: в то время,
Пока ты взор стремил вперед,
Взошло посеянное семя, —
Не те уж люди, мир не тот!
Безумец! тайный ход творенья
Как подстеречь и уловить,
В пределы зыбкие мгновенья
Жизнь мира вечную втеснить?
А ты хотел чертой отметить
Начало новых, лучших дней
И песнь пропеть, и громко встретить,
Упиться радостью своей!..
Нет! верь кто божье слово сеет,
Что, как древесное зерно,
Оно не слышно, тихо зреет
И всходит медленно оно,
И туго стебель подымает,
Пока корней живой объем
Охватит мир... Но мир не знает,
Какая сила зреет в нем.

1857

ОТВЕТ

Я знаю — в час тоски тревожной
Мой жесткий стих тебя смутил,
И ты хвалой неосторожной
Мои стремленья оскорбил.
Ты мир души не видишь тайный,
Ты за вседневный принял строй
Восторга миг необычайный,
Порыв поэзии живой.
Нет! пусть дары ее высоки,
Но даже лучшие жрецы
Во храме — вещие пророки,
Вне храма — жалкие слепцы!
Пускай поэт — небес избранник,
Но, к долу снисая с высоты,

Он снова узник, раб и данник
Страстей и мелкой суеты!

Так, в громких звуках песнопенья
Сокрыты всем мои борьбы,
Мои нечистые влеченья
И сердца тайные судьбы...
Все то, что жалко ненавидел,
Всю власть общественного зла
В себе самом я с детства видел,
Во мне самом она жила! —
И вот, тоской объят душевной,
Из хора всех доступных муз,
Я с музой бодрой, строгой, гневной
Вступил в воинственный союз!

Сурово песнь ее звучала,
Ничто не грело сердца в ней,
Ревниво пламень охраняла
Она поэзии своей.
Не прелесть праздного мечтанья,
Не нега сладостных молитв,
Но злой порыв негодованья,
Жестокий суд, призывы битв,
Отвага дерзко молодая
В ней вдохновляли песен строй, —
И каждый раз, к другим взывая,
Она глумилась надо мной;
Ко мне, за каждый проблеск нежный,
Был обращен ее укор,
Меня в стихах ее мятежный
Казнил так часто приговор!..
Но никогда на гибель брата,
Неправде в честь, во славу зла
Она наперсницей разврата
В моем паденьи не была;
Порока темное жилище
Не огласил веселый стих...
Ее хвали: умней и чище
Она и дел и чувств моих!
Но муза строгая немеет,
Тоской смущенная моей.
Мой черствый стих души не греет:
Другого слова нужно ей!
В моих строфах насмешку злую
Читаю я; я слышу в них

Души разлад и боль немую
Сердечных судорог моих.
Но, как плащом, рядясь борьбою,
Пустой, не давшей плода,
Стою пред жизнью живою
Без животворного труда.
Порыв, упрек, негодованья,
Как мне наскучил ваш причет!
Увы! путь мертвый отрицанья
Плодов живых не принесет!..
Отвергну ль путь?.. Решить не смею;
В стремленье новом есть ли толк?
Но с музой гневною моею
Теперь надолго я умолк.

1857 г.

На 1858 год

День встает, багрян и пышен,
Долгой ночи скрылась тень,
Новой жизни трепет слышен,
Чем-то вещим смотрит день!
С сонных вежд стяхнув дремоту,
Бодрой свежести полна,
Вышла с богом на работу
Пробужденная страна.
Так торжественно-прекрасно
Блещет утро на земле;
На душе светло и ясно,
И не помнится о зле,
Об истекших днях страданья,
О потрате многих сил
В скорбных муках ожиданья,
В безвременности могил!

Пусть починут мирно гробы
Тщетно ждавших столько лет!
Память им! Но в сердце злобы,
Ни вражды, ни мести нет.
Все простит он без расчета,
Устоявший в дни тревог, —
Он, чей дух годину гнета
Пережил и перемог.

Слышишь: новому он лету
Песню радости поет:
Благо всем, ведущим к свету,
Братьям, с братьев снявшим гнет.
Людям мир, благословенье,
Долгих мук исчезнет след,
Дню вчерашнему забвенью,
Дню грядущему привет!

1857

ПОСЛЕДНЕЕ СТИХОТВОРЕНИЕ ИЗ ПРЕЖНИХ

К тишине, к примиренью, к покою
Мне пора бы склониться давно.
Порешить я намерен с тоскою!..
Но могу ли? удастся ль оно?

Отвращусь ли от грустной юдоли,
Убаюкаю ль скорбные сны —
Сердцу страшно не чувствовать боли,
Сам своей я боюсь тишины!

Все как будто обман и забвенью
Притаились под мудрости сень:
Мыслим — в душу сошло примиренье,
А в душе лишь усталость и лень.

Все как будто готовлю измену
Я великому множеству их —
Обреченных работе и плену
Бедных, страждущих братьев моих.

Нас роднят лишь печали да горе,
Только там я не чуждый им брат,
Только в скорбном сливаясь хоре,
Наши песни согласно звучат!..

И сдается — над всей бесконечной
Жизнью мира проносится стон,
Стон тоски мировой, вековечной,
Порождаемый в пучине времен, —

В те творения дни молодые,
Как, собравшись на жизненный пир,
Человеческим воплем впервые
Огласился ликующий мир...

С той поры и поныне ты с нами
Неразлучно проходишь века,
О, всесильная, ветхая днями,
О, владычица мира, тоска!

1860 г.

Ф. В. ЧИЖОВУ⁸

Так далека, так весела дорога!
Так молод он!.. и путник сгоряча
Кладет в суму, не разбирая строго,
Все, что взвалить он может на плеча!

И тешится он ношею тяжелой,
И путь ему окольный нипочем!
Но с каждым днем скромнее пыл веселый,
И взор его тревожней с каждым днем.

Уж он устал — а не набрел дорогу!
Их много там, заманчивых путей!..
Но ждать нельзя, пора, доверясь богу,
Избрать один, попроще, попрямей!

А путь избрав — к чему такую ношу
Ему таскать?.. И, сняв свою суму,
Решает он: «Все лишнее я брошу,
Лишь нужное я в новый путь возьму!

Чего в ней нет! Какой мечты досужной,
Каких затей и прихотей следы!..
Мне роскошь их в те дни казалась нужной!..
Обман, обман! в них больше нет нужды!..»

Не ново ты, печальное сближенье,
А все звучишь как новое порой!
Как в путнике раздумье и сомненье
Встают и в нас о жизни прожитой.

В свою суму, как он, заглянем строго!
Как много в ней напрасной тяготы!
Как налгано, надумано как много
Влечений, мук, терзаний суеты!

Но прочь с души сметая сор ненужный,
Спугнули мы мечтаний целый рой...
Заветный рой, пленительно-недужный!..
Прочь, прочь и ты! опасен шепот твой!

Не скуден был отваги и задора
Растроченный, растерянный запас!
Немало мы отмеряли простора
Про нашу мощь... Но не достало нас!..

То не был труд — но жизни пированье,
Но праздник сил, броженья гул и шум!..
Где ж дерзких рук могучее созданье?
Где бодрый плод кипучих дел и дум?

Устали мы!.. Но опытом мы зрелы;
Своих задач убавим же объем,
Стесним простор, дадим ему пределы
И цель одну — из многих изберем!

Молчите ж вы, лукавые призывы!
По сторонам не разбегайся взор!
Сберитесь все тревожные порывы
В один тугой и медленный напор!..

1860

ВАРВАРИНО ⁹

(Послание Е. Ф. Тютчевой)

Как будто вихрем бури злой
Снесло мой дом, и я — изгнанник!
Но дружба путь водила мой,
И вот я в пристани... Я твой
Отныне гость и сердцем данник.

Как тихо дни мои текут!
Как мил, укромн твой приют!
Как сердцу вид его отраден,
Как нежит душу, тешит взор,
Как в простоте своей наряден!..
Как величав и безогляден
Пред ним раскинулся простор!

Реки серебряный извив,
Блестящий в мураве зеленой;
По зыбким скатам желтых нив
Бродящей тени перелив
И рощей сумрак отдаленный...
Виднеют села... здесь и там
Сверкает крест, белеет храм.

Куда ты взор ни обратишь,
Какая ширь! какая тишь!
Но всюду в ней снует, бесшумный,
Рабочей Руси труд святой...
О чудный мир земли родной,
Как полон правды ты разумной!
Великий мир, родимый мир!
Ты бодр и мощен, как стихия...
Твоей лишь правдою Россия
Преодолеть возможет мир
И свергнуть идолы чужие!..
Но час не близок. Злая мгла
Вершины Руси облегла.

В той безнародной тишине
Родная мысль в оковах плена;
Одни лишь властвуют вполне
Там лесь и ложь, и буйство тлена!..
Но внимет бог простым сердцам:
Сквозь смрад и чад всей этой плесни
Восходит с долу фимнам,
Несется звук победной песни,
Поющей славу небесам.

Еще морозом не побиты
 Среди осенней пестроты,
 Как ясным днем росой обмыты,
 Пышней красуются цветы!
 Они все те же, но иначе,
 Но ярче блещет их наряд,
 Благоухание богаче,
 Свежей струится аромат.
 Весь до конца свой подвиг чистый
 Как бы торопятся свершить,
 И все, что силы есть душистой,
 Пока щадит мороз сребристый,
 До дна исчерпать и излить.
 Не так ли, друг, душа твоя,
 Презрев невзгоды и насилья,
 Широко расправляет крылья,
 Встречая осень бытия?
 Звучнее сердце, выше строй,
 И чувств и мыслей лад упрочен,
 И голос правды золотой
 Так безусловно полномочен!..

1878

НОЧЬ

Спустилась ночь в убранстве звездном,
 И, дольних чуждые страстей,
 Как бы зажглись по синим безднам
 Тьмы зорких, мыслящих очей.
 Мир опочил. Едва колышет
 Листвы ветвей; кругом дремá
 И сон...

Лишь ночь не спит сама,
 Живет и мощно, мерно дышит,
 И чутко землю сторожит,
 Все вещим таинством объемлет,
 И все невидимое зрит,
 Неизглаголанному внемлет!
 Беззвучный хор во мгле ведет...
 И внятна сердцу песнь ночная,
 И мнится — с горних тех высот
 Зияет правда неземная!..

1878

Среди цветов поры осенней,
Видавших вьюгу и мороз,
Вдруг распустился цвет весенний —
Одна из ранних алых роз.
Пахнуло вдруг дыханьем мая,
Блеснуло солнцем вешних дней,
И мнилось — гостя дорогая
Мне принесла, благоухая,
Привет из юности моей!..

1878

29 НОЯБРЯ ¹¹

Затворы сняты; у дверей
Свободно стелется дорога;
Но я... я медлю у порога
Тюрьмы излюбленной моей!
В моей изгнаннической доле
Как благодатно было мне,
Радушный кров, приют неволи,
В твоей привольной тишине!
Когда в пылу борьбы неравной,
Трудов подъятых и тревог,
Так рьяно с ложью полноправной
Сразился я — и изнемог,
И прямо с бранного похмелья
Меня к тебе на новоселье
Судьба нежданно привела, —
Какой отрадой и покоем,
Каким внезапным звучным строем
Душа охвачена была!
Как я постиг благую разность,
Как оценил я сердцем вдруг
Твою резвительную праздность,
Душеспасительный досуг!..

1878

БРОДЯГА

Очерк в стихах

Часть первая

ПОБЕГ

1

Сиял, безоблачен, свод неба голубой,
На полдень солнце становилось.
Ни звуков, ни речей: палит и пышет зной,
Все будто спит иль притаилось.
Жара и тишина! Манит издалика
Безмолвный лес прохладной тенью;
Катилась медленно ленивая река,
Послушна вечному стремленью!
Крутого берега белеется отвес,
Водами вешними обмытый;
На нем село, за ним, подале, виден лес;
Внизу копытами изрытый
Песок; вверх от реки ползут на косогор
Дорожек узкие извивы,
А там отлогий скат, за ним лежит простор
И все луга, луга да нивы!..

Благоприятный день! крестьяне дорожат
Такими днями сенокоса,
И ни души в селе! разбросаны лежат
Телеги, снятые колеса,
Да по плетню кой-где развешано белье,
Под ним разостланы полотна.
Но тихо все кругом, и всякое жильё
Глядит так сонно, так дремотно!
Томит безветрие. Луч солнца на песке
Так горячо, так ярко блещет...
Лишь изредка порой послышится в реке,
Как будто кто, купаясь, плещет!..

Запел петух, другой. Окрестных деревень
Поочередно, друг за другом,
Пропели певуны. На половине день,
Пора труды сменять досугом!..
Да вот они! Из-за холмов
Несутся глухо гул и ропот,

И слышен в поле дружный топот
Под лад ступающих шагов.
Домой косцы спешат собором
И, песню подхвативши хором,
Поют:

«Ивушка, ивушка, зеленая моя,
Что же ты, ивушка, не зелена стоишь,
Или те, ивушку, солнышком печет!
Солнышком печет, частым дождичком
сечет,

Под корешок ключева вода течет!..»
Тянулся долго звук последний
И стих. Слышнее голоса
И говор стали; вот коса
Сверкнула вдруг из-за соседней
Опушки леса; две... три... пять...
Все... песня грянула опять!

«Ехали бояре из Нова-города,
Срубили ивушку под самый корешок,
Стали они ивушку потесывати,
Сделали из ивушки два весла,
Два весла, третью лодочку;
Сели в лодочку, поехали домой,
Взяли, подхватили красну девицу с
собой!..»

Слетела с шумом стая птиц,
Все ожило. Косцы отрядом
Идут; с их загорелых лиц
Обильный пот катится градом;
Но вот у самого села
Вдруг песня дружно замерла.
Кричат мальчишки: «Наши, вот!»
Собачий лай, скрипят ворота,
И всяк торопится домой
К избе утопанной тропой!

2

Все по домам. Обедают село.
Но прост обед и длится понемногу,
И скоро, встав и помоляся богу,
Усталые заснули тяжело.
Не спал один. Забившись в клеть пустую,
Лежал да думал парень молодой...

Об нем-то вам я ныне повествую,
Об нем рассказ правдивый и простой.
Что ж он, каков? Лицом не очень смуглый,
Рост семь вершков и подбородок круглый,
Нос невелик; особенных примет
Не указал бы паспортный билет.
Темноволос; лет двадцать; худ немножко,
Матвеев сын и звать его Алешка!..

Но парень был он знатный, хоть куда,
И песни петь любил на хороводах,
Сказать словцо веселое на сходах
И с девками шутить... Да вот беда:
К крестьянской он не прилегал работе,
На барщине гнела его тоска:
Не так ему, на воле, по охоте
Желалось добыть себе куска!
Хоть дома жил он тихо и нессорно,
Да все не то, все как-то не просторно,
А за селом, куда ни взглянет взор,
Какая даль, какой лежит простор!..

И он любил — народною молвою —
Знакомиться с далекою Москвою...
«Ведь вот же мне, — он говорил тайком, —
Не привелось родиться ямщиком!
Чего здесь ждать? кого? какого черта?..»
И он ходил просить себе паспорта!
Нет, говорят, ты лишнее тягло,
Женись, пора! Вишь, ждет тебя Аксютка...
Бурмистр упрям. Как быть? плохая шутка!..
И темное в нем чувство залегло!..

Что ж думал он, о чем? О том, что на ночь
Ему вечер сосед — хромой Степаныч —
Рассказывал про подвиги свои:
Он «в склонности к побегам был замечен»,
Иль, попросту, он бегал раза три,
Был всякий раз за это много сечен
И наконец вернулся изувечен,
Всегда на спрос ответственю судей:
«Зачем бежал?..» — «По глупости своей!»
Но сам бежать Алешка не хотел.
«Нет, — думал он, — бежать из дому стыдно
И не с чего... Хоть иногда обидно
Бывает нам, да уж таков удел!

Оно, конечно, в пятницу намедни
Бурмистр Корнил грозил мне: «Выкинь
бредни!

Эй, не дури, ты благо не женат,
Забрею лоб, и будешь ты солдат!»
Да смирно жить, так гнать не станут больно,
А здесь отец-старик... И то сказать,
Давно господь прибрал старушку мать,
А у отца нас без того довольно..
Добро б еще с Парашкой под венец!..
Эх, хороша! да скуп ее отец!..
С Парашкою? так вот еще причина!
У молодца другая есть кручина?..
Что грех таить! Была зазноба!
Один ли он, иль, может, оба,
Но верно то, что всякий раз,
Когда они сходились вместе,
Ему все мнится о невесте,
Она с него не сводит глаз,
Бывало, в праздник под навесы
Присядут девки на скамьи —
Кругом их парни и повесы
Одной деревни и семьи;
И тут-то к слову, прибауткой,
Она его заденет шуткой,
И долго, долго ходит смех,
И он доволен, пуще всех!
И не насмотрится, бывало,
Да и сама Параша знала,
Что благость к ней господь явил,
Ее красой благословил!..

Зато Алешку и досада
Брала угрюмая не раз.
В Параше был ему отказ;
«Что ж, — думал он, — чего мне надо?
Что ж даром я крушу себя?
Зачем, куда суюсь без спросу?..
Не насмотрюсь на эту косу,
Не налюбуюсь на тебя,
На поступь ли твою павлину,
На грудь, на шею лебедину
Да, что меня с ума свели,
На очи бодрые твои!..»
Но вот уж все в глазах мешаться стало:
Парашка, клеть, Степаныч и Корнил,

Дремá сильней и крепче налегала,
И сон его тяжелый полонил.

3

Жар свалил. Повеяла прохлада.
Длинный день покончил ряд забот;
По дворам давно загнали стадо,
И косцы вернулись с работ.
Потемнеть заря уже готова;
Тихо все. Час ночи недалек.
Подымался и улегся снова
На закате легкий ветерок!..

Говор смолк; лишь изредка собачий
Слышен лай; промолвят голоса...
Пыль слеглась; остыл песок горячий
Пала сильно на землю роса.
По краям темнеющего свода
Тени все, широкие, слились:
Встретить ночь готовится природа;
Запахи отсюда понеслись.
В тишине жизнь новая творится:
Зрячею проснулася сова,
И встает, и будто шевелится,
И растет, и шепчется трава!..
Где ж крестьяне? День работав бодро,
Все теперь за ужином они:
Толк идет, чтоб устояло ведро,
Чтоб еще продлились эти дни!
Нет, уж дождь их к утру не разбудит,
Облака давно сбежали прочь!..
Что за вечер!.. И какая будет
Теплая и месячная ночь!

4

Всходила ль луна на простор голубой
Блистали ли звезды ночью порой
И свет серебристый на холмы и на дол,
На избы и клетки, на улицу падал, —
Деревня не скоро уляжется спать.
И старый, и малый выходят гулять!
На небо, на звезды, на месяц полночи
Без усталости смотрят, любят глаза,

И, став на дороге веселой толпой,
Ведет хороводы народ молодой.
При месячном блеске сменяются лица,
За девицей парень, за парнем девица,
И песни поются почти до утра,
А с утром работы настанет пора!..

Где ж парень удалый, Алешка-повеса? —
Поодаль, на лавке, под сенью навеса,
Щекой прислонившись к руке, он сидел
И долгие, долгие песни он пел...

Он пел про тоску, про злодейку-кручину,
Про молодцев добрых, лучину-лучину,
Про белые снега, про темную ночь,
Про девицу-душу, отецкую дочь,
Он пел про село, про знакомое горе,
Про дальнюю степь, незнакомое море,
Про Волгу-раздолье, бурлацкий привал...
И без вести к утру Алешка пропал!..

5

Пошел бродить Алешка по полям,
По рвам, лесам да по глуши безвестной,
Свободен он, себе не верит сам...
Везде простор под твердью небесной!
И, полон весь отваги молодой,
Без усталости, без мыслей, без оглядки
Он долго шел, куда стих душой, —
И в голову полезли чередой,
Назло ему, и мысли и догадки:
И честно ли, к добру ль или не к добру?
Что скажут там, как встанут поутру?..

Подумал он: что ж, разве я иду
На промысел лихой, как душегубец?
Не тать же я, не вор, не празднотлюб, —
Не от труда, а к новому труду!
На честный труд, на вольное терпенье!
Себя я сам работой прокормлю...
Эх, господи! храни мою семью,
Будь в помощь мне, прости мне прегрешенье!..
И от души как будто отлегло.
Оборотясь, взглянул он на село
(В ту сторону: его не видно было,

Его давно уж тьмью обложило);
Перекрестясь, тихонько он вздохнул,
Миг постоял, потом рукой махнул,
И снова в путь, куда тоска умчала,
Но тверже шаг и крепче воля стала!

6

Вперед к меже, где сходятся уезды!
Вперед, вперед, пока хватает мочь!
Верст семь прошел — и закатились звезды.
Еще верста — и побелела ночь!
Весь дол притих. И облегла, пылая,
Полнеба вдруг румяная заря,
И ожил дол, от края и до края
Весь золотом и красками горя!
И, тварью вмиг наполнившись живучей,
Уж воздух весь сверкает и жужжит,
И солнца луч, пока еще нежгучий,
В воде росы дробится и дрожит.
Проснулася, зареяла, запела
На все лады псвучая семья;
Но дремлет лес; без ветра заалела
И стала днем недолгая заря!
Но вот и он: и, закачав листьями,
Он пробежал шумящими струями,
И в чаще смолк меж листьев и ветвей,
И длинные зашевелились тени...
И по теням, ища приветной сени,
Шел, близ дерев, усталый Алексей.
Чем дальше в даль, тем солнце было ярче,
Земля пыльней и суше, воздух жарче.
Вот и межа! «Нет, надо отдохнуть!
Намаешься: ведь долог, длинен путь!»
Он влево взял: там меж горы и леса,
Под сению ветлового навеса,
Шумела речка. К ней он поспешил,
Воды испить, хотелось груди жадной

И пот и пыль обмыть в струе прохладной, —
И весело он в речку соскочил!
Оделся вновь и, помолясь на небо,
Он из мешка достал краюху хлеба.

Куда ж идти? Туда ль, где солнце всходит?
Туда ль бежать, куда оно заходит?

Перед собой, с краев и позади,
Везде простор, куда ни погляди!
Где ж лучше жить? Как тут обдумать здраво?
Губернии налево и направо!
В какой из них работы не найти?
Расскажут, чай, кто встретится в пути!
Хоть сторона и не совсем знакома —
Все Русь да Русь, везде ты будешь дома!
Позавтракав и помоляся богу,
Сквозь сучья в лес он проложил дорогу:
Ему б уснуть часочек или два!
Вот видит он: хорошая трава!
Какой травы, подумал, не жалеют!
Иль брезгают? иль, может, не умеют?
Долой зипун! Нагнулася она
Под ношею нелегкой зипуна.
Повис зипун, земли едва касаясь,
Но ближе к ней и ближе наклоняясь;
И смял траву, прилегши, Алексей;
Прижал зипун всеї тяжестью своей,
И так заснул, что гром его — уверен! —
Не пронял бы!.. И спал он до вечера.

7

Клонилось солнышко за гору,
Работа легче, жар слабей.
Кто спит теперь, об эту пору?
Вставай, ленивец Алексей!

Крестьяне все трудились ныне:
Ты в поле не был, не пахал,
Не побродил по десятине,
Косой железной не махал!
Такому парню не пристало
Лежать, коль бодрствуют отцы!
Что спишь? Иль ночи было мало?
Иль напролет душа гуляла
До бела утра с молодцы?

Проснись, вставай, примись за дело!
Оставить нежбу не пора ль?
Иль будешь ждать, чтоб солнце село,
И дня пропавшего не жаль?

Проснулся он как будто спозаранку,
Глядит вокруг; и видит Алексей
Травы испод, и влажную изнанку
Пушистых листьев, корни стеблей.
В траве сверлит, чирикает, стрекочет,
И возится, и суетно хлопочет
К нему вползти на шею муравей.

И взор его в траве невольно бродит,
Сквозь чашу в даль зеленую уходит...
Распуталась, раздвинулась трава...
И видит: гриб! приземистый и плотный,
Прирос ко мху, здоровый и добротный,
Темнеется; за ним другой... и два!
Так, белый гриб! эх, тетушке Матрене
Его б отнесть! Но к тетушке Матрене
Не близок свет!.. И быстро он вспрыгнул...
Пора идти и к цели путь направить;
Надел зипун и кудри отряхнул...
А что ж грибы? нельзя же их оставить!
И, завязав их бережно в платок,
Он зашагал и скоро был далек.

БУРМИСТР

1

Корнил, бурмистр, ругается,
Кузьма Петров ругается,
И шум и крик на улицу,
Три дня прошло, Алешки нет,
Пропал Алешка без вести.
Денечка три повыждали,
И нынче лишь, ранехонько,
Кузьма Петрович, староста,
Сказал о том Демьянычу.
Как взбесится Корнил-бурмистр,
Как замахал, задвигался!
Подай отца!.. Зовут отца.

Ох, тошно было старому,
Немало он кручинился;
Вещует сердце старое,
Что не бывать уж свиденью,
Алешке не ворочаться!
Его бранил, себя бранил,

Просил у бога милости,
Чтобы простил он блудному,
Чтоб вразумил безумного,
Не допустил бы глупого
До худа непоправного!..

Матвей Лукич! Ступай — зовут!
Их, тошно горемычному!
Идти ему не хочется,
Ответ давать приходится,
Перед людьми позориться,
А тут, гляди, на улице
Как будто сходка целая,
Плетутся друг за дружкой,
Со всех концов собираются,
Без зова созываются!..
Бабья-то сколько, господи,
Туда ж попатокалося!..

Стоит себе Степаныч тут,
На палку упирается,
Молчит и не промолвится,
Лишь борода шевелится,
Ус только смехом дергает!..
Смекнул хромой, да прежде всех,
с Алешкой что поделалось,
Догадлив был он неспроста:
Его рассказы буйные
Мутили сердце молодцу!

Вишь и ее нелегкая
Туда ж несет на сходбище:
Кузьмы Петрова, старосты,
Жена его, Пахомовна!
Какая баба тучная,
Какая баба сплетница,
Сварлива и назойлива:
Когда другой ругается,
Подругивать охотница!..

Пришел Матвей, пришел Лукич,
И слышит он укорные
Себе слова позорные:
Что сына он сберечь не мог,

Не вразумлял терпению;
Что миру провинился он
Убавил им работника!
Такой-сякой и ты, и сын!..
Бурмистр Корнил ругается,
Кузьма Петров ругается,
А тут же и Пахомовна!

Не выдержал Матвей Лукич,
Вдруг на нее накинулся:
«Молчи ты, ведьма старая,
Вишь, отошчала, постница!»
И гул пронесся хохота,
Смеются все над бабою,
Над бабою Пахомовной!

Махнул рукой бурмистр Корнил,
За земским шлет он старосту,
Велит писать скорехонько
В суд земский объявление.
Крестьяне все расходятся,
Да жаль им стало бедного
Отца Алешки старого:
«Что, старичок, кручинишься,
Грешна тоска пред господом;
Дал крест тебе он на плечи —
Неси его с терпением!»

Стоят ребята кучками,
Алешку вспоминаючи,
Плетутся толки разные,
Жалеют парни молодца,
А больше парней — девицы,
Но больше их и больше всех
Одна крушится девица...

2

Что, Парашка, молвишь?
Что? Пропал да сгинул!
Знать, любил некрепко,
Коль тебя покинул!

Что цветок весенний
Блекнет, опадает,
Плачет девка, сохнет,
Краса увядает!

День-деньской в работе;
Под вечер, убравшись,
Сядешь под навесом,
Локотком подпершись.

Локотком подпершись,
Смотришь на дорогу...
Подымает сердце
Старую тревогу!

Песню ли затянешь?
Не поется песня!
Прежнее вспомянешь?
Хорошо жилось!

Песню ли затянешь —
Он уж тут, приходит,
Парней созывает,
Хоровод заводит!

Кто статнее станом?
Ростом кто повыше?
Чей громче голос
Слышен в хороводе?

Под окошком близко,
На пути широком,
Не пройдет, как прежде,
Будто неароком!

В церковь ли бывало...
Где ж он, горемычный,
Силу молодую
По-пустому тратит?

Иль своя, знать, дома
Надоела доля,
Стоковалось сердце,
Расходилась воля!

Голод, чай, и стужу
Терпит он нередко,
Теплой нет одежды,
Денег ни полушки!

И тулуп овчинный,
Говорят, оставил!
Что ж он нас морочил,
Тешил да забавил!..

Ведают подружки
Грусть твою девичью,
Не затронут горя
Смехом по обычью.

Думают: пусть плачет,
Друга помнит;
Думают: не век же
Девка протоскует!

И гадают правду,
Правду о Параше;
Зацветешь с весною
Ты пышней и краше!

Замуж, с мясоедом,
Много вас повыйдет!
Женихов немало,
Избирай любого;

Матушкиной просьбой,
Батюшкиной волей
Ты с своею горькой
Распростишься долей!

3

Проворен земский; написав прошение,
Понес его начальству на прочтенье.
«Написано? — сказал бурмнстр,— ну, что ж?»
— «Сего числа и месяца и года,
Ананьина села, Хохлово тож,
Крестьянский сын Матвеев Алексей,
Примёт таких, не учинив законно —
Противного, до солнечного восхода,
В ночь учинил побег, притом вещей,

Кроме одежды собственной своей,
Не сделав сносу; где ж он — неизвестно.
О чем прошу сей Земский суд покорно
Сие мое прошение благосклонно
Принять, мне копию с него вручив,
Порядком надлежащим закрепив.
Ну, вот и все!»

— «И дельно, и проворно».
— «Да что ж, Корнил Демьяныч, не впервой!—
Ответил земский, — трудимся посильно!»
Доволен он Корнильевой хвалой
И пальцы трет кафтанною поллой,
Чернилами испачканные сильно.
Готова лошадь. В земский суд Корнил
Решился сам поехать с объявлением
Да на базар, к купцу и с порученьем...
В телегу сел и пылью запылит!

4

Верст тридцать пять, не больше, от Хохлова
До ближнего лежало городка;
Об нем теперь я не потрачу слова;
Он был как все: гора, овраг, река,
Заставы нет, стена не облежала,
Не видно в нем конца или начала!..
Но издали, казалось, на горе,
Так тесно в нем дома, сады и кровли
Толпились, уютно для торговли,
И в ясный день при солнечной игре
Кресты церковей горели и сверкали...
Но в городе все врозь они стояли,
Везде пустырь и вдоль его забор;
В середине — площадь, будка и собор,
И подле — дом, взамен другой огласки —
В два яруса, известной желтой краски!

Тот город был не старый и не новый;
А так себе. Вот въехал; видит он:
Был где-то в церкви праздник; идут вон,
И все народ служилый и торговый!
Вот, ускользнув от скуки деловой,
В ущерб казне и службе в проволочку,
Попа Кузьмы хорошенькую дочку
Следит в толпе приказный молодой!..

Приходит в суд. На лестнице, в передней,
Толпа крестьян, крестьянок и детей;
Кто так стоит, кто тут же, без затей,
Обедает. Вот волости соседней
Знакомые из ближнего села, —
А в комнате растворенные шкапы,
Столы, писцы, кругом бумаг оханы,
Бумаг, бумаг, бумагам нет числа!..

Его зовут. Чрез комнату проходит.
Чиновный люд глазами косо водит,
Едва взглянул письмоводитель сам,
Макар Фомич. Бурмистр в другую. Там
В усах, дородный, некогда военный —
Теперь в суде, — начальник преотменный
Подписывал бумаги за столом;
Он хорошо с бурмистром был знаком:
«А, старый плут! здорово, что такое?»
— «Да ничего-с, прошеньице пустое»..
— «Давай, давай, посмотрим!.. что, бежал?..
Эх, дурачьё! Ведь хуже будет им же!»
И, взяв перо, он твердо написал
Год, месяц, день, и сбоку: «К таковым же!»
«Ну, брат Корнил! измучен, черт возьми!
Ну, веришь ли, день целый за работой,
Все сам, везде свой глаз, своей заботой!
Беда, беда мне с этими людьми,
Как раз под суд, коль не мое уменьё!..
Макар Фомич!.. Вот на тебе прошение,
А книга, чай, где вписывать, пуста?..»
— «Пуста».

— «Ну, так! А явочных-то много?
Штук десять есть?»

— «Да будет и полста».
— «Ну вот, прошу!.. Приказываю строго,
Чтоб все сейчас внести и записать,
Чтоб был во всем, как следует, порядок!..
Ну, видишь сам: ни шагу без оглядок!..»

Макар Фомич оставил их опять.

«Что, ваша милость, скоро ль к нам в
Хохлово?»

— «Да скоро, брат, проездом из Соснова:
Дня через три туда отправлюсь сам,
А от тебя к сычевским господам;
Хоть и не рад: не больно хлебосольны!..»

— «Что так? Мы вашей милостью довольны...»
— «Ты говори!.. Да там, от них верста,
В лесу нашли израненное тело:
Убили, знать, какого-то скота.
Сын — жалобу, и завязалось дело!
Ну, здесь тебя держать я не хочу...
Что там у вас, не жнут?»
— «Покуда косим».
— «Так свидимся, прощай!..»
— «Прощенья просим!..»

Бурмистр тотчас к Макару Фомичу:
«Макар Фомич! Что, справиться нельзя ли
О купленном мной лесе воровском?..»
— «Обделано... списали и послали;
Ко мне ступай, я сам приду потом».
— «Иду, иду!..»

Доволен наш проситель;
Вновь за перо взялся письмоводитель:
Пошла писать! Так и строчит слова!..
Ну, мастер был, делец и голова!

ш о с с е

1

Прямая дорога, большая дорога!
Простору немало взяла ты у бога,
Ты вдаль протянулась, пряма как стрела,
Широкою гладью, что скатерть, легла!
Ты камнем убита, жестка для копыта,
Ты мерена мерой, трудами добыта!..
В тебе что ни шаг, то мужик работал:
Прорезывал горы, мосты настилал;
Все дружною силой и с песнями взято, —
Вколачивал молот и рыла лопата,
И дебри топор вековые просек...
Куда как упорен в труде человек!
Чего он не сможет, лишь было б терпенье,
Да разум, да воля, да божье хотенье!..

А с каменкой рядом, поодадь немножко,
Окольная вьется, живая дорожка!
Дорожка, дорожка, куда ты ведешь,
Без званья ли ты иль со званьем слывешь?

Идешь, колесишь ты, не зная разбору,
По рвам и долинам, чрез речку и гору!
Немного ты места себе отняла:
Простором тележным легла, где могла!
Тебя не ровняли топор и лопата,
Мягка ты копыту и пылью богата,
И кочки местами, и взрешет соха...
Грязна ты в ненастье, а в ведро суха!..

Но теперь как солнца жгучий
Луч палит уж много дней,
Пылен твой песок сыпучий,
Неудобен для коней.

По большой дороге знойной,
Тень далекая, в лесу
Хоть копыту непокойно,
Легче схать колесу.

Тихо; воздух без остуды
Душен, знойный. Листья спят.
По дороге камней груды,
Раскаленные, стоят:
Для того что тем камнем,
Раздробив его с уменьем,
Всю дорогу намостить
И тяжелый, твердый щебень,
Засадив в бока и в гребень,
Гладью цельюю сплотить!..

Вот куда тебя отвага
Принесла на вольный труд:
Потаскушка, побродяга,
Ты опять, Алешка, тут!
После многих дней бродячих,
Песни звонко поючі,
На камнях засев горячих,
Под палящие лучи,
Сняв зипун, его, как знамень,
Он раскинул на сучки,
Тяжким камнем бьет о камень,
Молотком дробит в куски.
Вот с огромным, через силы,
Камнем руки поднялись,
Посиневши, вздулись жилы,
Мышцы туго напряглись;

Тяжело приподнимает...
И, в ногах держа другой,
Быстро вниз к нему спускает,
Камни сшиблись, пыль взлетает!..
Откололся край большой,
Свежий, полный искр блестящих...
Так, по всей дороге там
Было много работающих,
Колотивших по камням!..

Вон столб на дороге согнивший торчит.
В нем выдолблен выем, там образ стоит,
И с кружкой, в надежде на щедрую ревность,
Сидит у подножья убогая древность —
Старик, и, завидев пылящих вдали,
Седую главу он склонил до земли,
Дрожащую руку протягивал тихо...
Посмотрит, давно уж промчались лихо!
Крестьянин проходит — копейку подаст,
Помещик проедет — ни гроша не даст!

2

Но как сюда Алешку принесло?
Каменья бить — его ли ремесло?
Прослышал он про ценную работу
(Красна цена! кого не заманит!);
Он в Дылдино, к подрядчику Федоту:
Вот так и так, желаю, говорит.
Федот Кузьмич, в одной косоворотке...
Пройдоха был! Дела большие вел,
Снимал кругом подряды в околке,
Знаком был всем, в приятельство вошел
С соседними дворянскими тузами,
Им угодит — и сам-то с барышами!
Чуть взбесится, он, боск и речист,
Докажет вмиг, что он и прав, и чист!
Зато его в том месте пресловутом
Любили все и чествовали плутом.
Хозяин к ним из немцев наезжал:
Тот всякий раз, толкуя про работу,
За бороду подрядчика трепал
И с милостью говаривал Федоту:
«Ты плут, Федотыч!..» (Был же он Кузьмин!)

Так у ворот, на лавочке один,
Скончав обед, досужною порою
Федот сидел с открытой головою,
И дочку он в руках своих держал,
И ласки пел девчонке-замарашке,
Сам в плисовых и в ситцевой рубашке...
И тут его бродяга наш застал.
«Эх, молод ты! не по тебе работа!
Силенки, чай, не хватит? иль займешь!..»
— «Да ты скажи, берешь иль не берешь,
А сил занять — уж не твоя забота,
Увидишь сам...»

— «Ну, ну, ступай, добро,
Вот прямо всё, к Холмам...»

— «Найти сумеем!»
— «Укажут там... А кликать?..»

— «Алексеем
Матвеевым». Цена ж на серебро
Была рублей... наверно положений
Не знаю я, но медными с сажени
Он за двадцать и более считал.
Пришел в Холмы, и там ему приказчик
Вручил чурбан и молот, да образчик,
И место где, с камнями, показал...
И горячо, и бойко, так что любо,
Застукала Алешкина рука.
Работа шла, спорилася сугубо,
Вольна, ценна, в новинку и легка!
Часы труда так быстро пролстели!
Алешка встал, пошел; пристал к артели
Работников ближайших в тот же день.
Их было семь — все больше деревень
Окрестных; но в числе том было трое
Нетуюшних, иного покроя;
Другая речь, и розная у всех.
«Отколева? — спросил один из тех,
Так худенький, невзрачный, востроносый,
Лет двадцати, такой беловолосый, —
Отколева?»

— «Да из-под Вязников.
Владимирский»...

— «Далече ль?»
— «Будет со сто»,
«Давно ль?»

— «Дней семь».

— «По паспорту иль просто?»

— «Так, сам собой, пошел да был таков».

— «Что ж, плохо, знать?»

— «Да так, житье постыло.

А ты отколь?»

— «Ну, я издалека,

Елабужский, починка Бугорка»...

— «По паспорту?»

— «Нет, — чтоб уж вправе было,

Так почитай, что я и сам бежал:

Наш голова за что-то осерчал

И посадить грозил на хлеб и воду

Дней на сорок. Я тягу; прямо в лес.

Вот с той поры и колдовит, бес!»

— «Так вот оно! Давно ли?»

— «Близко году».

— «И ладно все?»

— «Сходило с рук пока,

Да скучно, брат. Хожу один; тоска;

И хоть опять на родину вернуться!»

— «Что скоро так? Дай вместе оглянуться!

Вдвоем-то нам чего не перемочь?

Набьем мошну, и выждем мы погодки»...

— «С товарищем? Пожалуй, я не прочь:

Ведь мы с тобой почти что одногодки!»

— «Как звать тебя?»

— «Меня? Матвей Сухих.

А по отцу родному Алексеев».

— «Ведь будто тезка! Сам, брат, я Матвеев,

Да, Алексей! Ну, а вон тех, других?»

— «У нас у всех здесь прозвища предивны:

По городам уездным нас зовут

Рабочие. Как раз услышишь тут:

Елабуга, Дорогобуж и Ливны,

Моршанск... Вон тут из Ливен мужичок,

К нам передом, раздвоена борода,

Приземист, рыж... Ведь он и сам утек

От своего подальше околodka:

Безладицу, напасть им от опека

Послал господь. Он, бойкого десятка,

Достань билет фальшивый для порядка,

Да и уйди!.. Хороший человек!

Он в пристанях весною перегрузкой

Все промышлял... Куда в работе дуж!

К ним подошел тогда Дорогобуж,

В рубашке белой, шапке белорусской,

Худой, больной, безвременный старик,

Плешивый лоб, зуб редкий, кроткий лик.
— «Что, дедушка, ведь нашего он поля, —
Сказал Матвей, — своя пригнала воля...
Тут спросы вновь, как водится, пошли
О том о сем, да из какой земли.
— «Ты здесь зачем? — спросил его Алешка, —
Иль камни бьешь? Вот, чай, наколотил!..»
— «Не смейся, брат! Набил себе немножко,
Елабуга намедни пособил...
Ведь дома что? Кто подати заплатит?
Семью корми; дочь замуж снаряжай;
А там глядишь — везде неурожай,
Когда и так земли на квас не хватит!
Ну и пойдешь деньжонок добывать!»
— «Без спросу, что ль, иль старшим
объявился?»
— «Когда без спросу! у беды спросился!
Да долго здесь не стану работатъ,
Сажень свою покончу — и вернуся,
Что б ни было: накажут — повинюся!
Эх, горюшко, ты горюшко мое!
Куда уж нам плохое, брат, житье!..»
— «Ну, полно вам, пойдете-ка к артели, —
Сказал Матвей, — уж там обедать сели:
Вишь, кашевар на нас свои глаза
Эк выпучил, чувашская коза..»

3

Грешную землю своєю благостынью
Щедро тем летом господь посетил,
Добрым ненастьем и мягкой теплынью
Жгуче ведро надолго сменил!
Ясными днями прошла сенокоса,
Громкая дружно скончалась гульба...
В дождь и овсы, и гречиха, и просо —
Все поднялись яровые хлеба!..
Новую зелень растит луговина,
Много грибов показалось в тени...

Жаркого лета пришла половина,
Красные снова вернулись дни!
Нива безвредно дождем оросилась,
Высохла быстро, зерном налилась:
Рано ты нынче, о рожь, колосилась,
Пышно цвела ты, сам-десять далась!..

Ну-те вы, девки, покиньте прохлады:
Вновь оржанные, томящие страды! *
В поле рассыптесь, берите серпы,
Жать и вязать золотые снопы!..
Левой рукой забирая колосья,
Каждая правой их режет серпом,
Звонко друг дружке пошлют отголосья,
Выжатым вместе сойдутся путем.
Прочь сарафаны! иль жар вас ознобит?
Душно ль вам стало? купанье пособит!..
Ну же, бегите, не так вдалеке,
Шумной толпой окунуться в реке:
С белого тела рукой загорелой
Быстро скидая суровую ткань,
В волны студены бросайтесь смело...
Хохот, и плеск, и шутливая брань!..
Тише вы, тише!.. подруги, не балуй:
Парни услышат и придут, пожалуй!..

4

Так от Хохлова до Холмов
Повсюду жатва на уборе.
Пустеет дол: простор хлебов
Уж не волнуется, как море!
Повсюду острым лезвеем
Сталь полукружная сверкала,
И нива, сжатая серпом,
Соломой резаной торчала.

Тем временем бродяга наш
И в дождь, и в жар баляс не точит,
Когда укроется в шалаш,
Когда дождем его помочит.
Ночлег держал нередко он
У мужика в избе соседней,
В Холмах — от всех ему поклон,
Был в хороводах не последний.
И славно труд ему дался:
С одной покончил он саженью.

* Страда употребляется и во множественном числе. Мне не раз приходилось слышать от крестьян выражение: «Это случилось около оржанных или овсяных страд» и т. п.

Вот за другую принялся,
И деньги взял по уложению.
И стало пуще веселей,
Купил рубах, одежды новой...
С ним неразлучен был Матвей,
На все согласный и готовый.

Так время шло; короче дни,
Ночь длилась дольше до рассвета,
Но все же белым днем они
Еще богаты! Все же лето!..

День вечерел. Косая тень
Ложилась низко и широко...
Заутра праздник, вещий день
Ильи, гремящего пророка...

Приди ты, немощный,
Приди ты, радостный!
Звонят ко всенощной,
К молитве благостной.
И звон смиряющий
Всем в душу просится,
Окрест сзывающий,
В полях разносится!

В Холмах, селе большом,
Есть церковь новая;
Воздвигла божий дом
Сума торговая;
И службы божие
Богато справлены,
Икон подножия
Свечьми уставлены.
И стар и млад войдет —
Сперва помолится,
Поклон земной кладет,
Кругом поклонится;
И стройно клирное
Поется пение,
И дьякон мирное
Твердит глашение:
О благодарственном
Труде молящихся,
О граде царственном,
О всех трудящихся,

О тех, кому в удел
Страданье задано...
А в церкви дым висел,
Густой от ладана,
И заходящими
Лучами сильными
И вкось блестящими
Столбами пыльными —
От солнца — божий храм
Горит и светится;
Стоит Алешка там
И также светится
Довольством, радостью,
Здоровьем в добрый час,
Удачей, младостью
И тем, что в первый раз
На кружку вынул он
Из сумки кожаной
И слышал медный звон
Копейки вложенной,
В труде добытой им...
В окно ж открытое
Нсется синий дым
И пенье слитое...

Звонят ко всенощной,
К молитве благостной...
Приди ты, немощный,
Приди ты, радостный!..
В Хохлове также звон;
В нем также храм стоит;
Бедней убранством он,
Поменьше свеч горит;
Но дружно клиринос
Постся пенис,
И дьякон мирное
Твердит приглашение:
О благодарственном
Труде молящихся,
О граде царственном,
О всех трудящихся,
О тех, кому в удел
Страданье задано...
А в церкви дым висел,
Густой от ладана,
Волнами синих туч

Все лица скрадывал,
И солнца слабый луч
Едва проглядывал
В стемневший божий храм,
Сквозь рощи близкие...
Стоит Парашка там:
Поклоны низкие
Перед иконами
Кладет не по разу,
Вслед за поклонами
И свечку к образу
Усердно вправила:
Ему в спасение,
Ему во здравие,
На возвращение
Домой бродячего...
О ком же молишь так?
Худа ты для чего?
Что очи красны так?
Ты, верно, плакала
Иль ночь работала?..
Взгрустнув, поплакала,
Но не работала!..
А что же он? Алешке не до плача,
Не до былых потерь!
В нем вырос дух! мила ему удача,
Ей бредит он теперь!
Парашка там, во храме, бога молит,
И плачется о нем,
А он — свою, знать, прихоть только холит,
И совесть дремлет в нем!

5

А в час вечернего служенья,
О сколько там, у алтарей,
Сказалось истин откровенья,
Премудрых тайн, святых речей,

Благих, карающих, целебных!
И сколько богу своему
Спел песней клирос там хвалебных?
Природа вторила ему,

И мнилось, тем словам внимая,
Взывала к миру и любви,

Согласным хором совершая
Священнодействия свои!

Слова, глагол, который груди
Был должен ужасом обнять...
Привыкнуть к ним сумели люди
И смысл из памяти изгнать!

И много ль тех, которых души
Тот вечер в памяти хранят?
И видят очи, слышат уши,
Но вникнуть глубже не хотят!

Отходит служба. Снова то же:
Засуетился грешный век!
Какая дрянь, великий боже,
Подчас бывает человек!

Н О В Ы Й П О Б Е Г

«Алешка брат, кончаю я сажень,
Да не стоит и за тобой работа!
Эх, горе-то! Опять пришла забота,
А мне бродить, ей-богу, стало лень!»

Так, поздно, близ песчаного сугроба,
Там у шоссе, за грудой камней,
Пужинав, они лежали оба:
Беседу вел с Алешкою Матвей.
Уж ночь, и месяц, с частыми звездами,
Прозрачными прикрылся облаками...

А л е к с е й

Ну, здесь в селе, наверно, до зимы
С тобой как раз работу сыщем мы,
А там и в путь... Я, чай, пробраться можно
Без пашпорту!.. В Москву бы я хотел!..

М а т в е й

Как до зимы! Нам срок давно приспел,
Пора идти. Здесь место ненадежно;
Здесь место бой, да и беда близка.
Ты слышал ли, что давеча Лука
Хозяину сказал на угощенье

(Он служит там, при волостном правлении):
Исправнику в наградах был отказ.
Ответ таков, что не́ за что, мол, вас!
Что если б вы разбойников поймали
Иль тех, что бьют фальшивые рубли...
Да, говорит, искал, да не сыскали;
Разбойников! Давно перевели! —
А тех, что бьют фальшивую монету?
Да где ж их взять? Ну нету, просто нету! —
Что ж, говорят, несчастье, видно, вам!..
Так он теперь, озлясь, по деревням,
По селам всем везде снует и рыщет,
Беспаспортных, все нашу братью ищет!
Нет, говорит, уж быть по-моему:
Не тем, так вот бродягами возьму!
Хватает всех и будто за межою
Чужих станов!

А л е к с е й

Что ж много толковать!
Ведь нам с тобой не собираться статьи!
Да здешней я наскучил стороною!
Куда ж идти?..

— «Бог помочь, молодцы!» —

Вдруг раздалось; глядят во все концы;
Посыпались каменья, захрустели
У шалаша сухие ветви ели.
Вот что-то там, средь мрачной пустоты,
Шевелится чернее темноты...
Приблизилось... А на небо дугою
И месяц кстати выплыл из-за туч;
Глядят: старик с клюкою и сумою,
Седой как лунь, но статен и могуч,
И кушаком подтянут. Сверх сермяжный
На нем озям и шляпа без полей,
Короткая; сверкает дух отважный
И шибкий нрав из-под седых бровей.
Хорош бы всем, и бодр, и голос зычен,
Да дерзок вид и старцам неприличен!

Смутились наши. «Эй, куда, постой!
Ты что за гусь? Куда ты лезешь, старый?..»
— «Не бойтесь! Вам человек я свой:
За дружбой к вам пришел я, не за сварой!..»
— «Ну, ну, зачем?»

— «Да дайте ж отдохнуть!
Умаялся... Никак у вас уголья?..
Да есть и жар? Погреюсь ... вот приволье!..
Прилег старик и стал в уголья дуть,
И пепел сдул и углей вспых багровый
Ему лицо мгновенно озарял.
Свежес ночь; заходит месяц новый,
Вот огонек тревожно запыхал..
«Вишь, старый черт, гляди-ка! будто дома!»
— «Оно, кажись, не очень-то знакомо! —
Сказал Матвей, — отколе ты, постой!..
— «Кто, я отколь? Я беглый; ты какой?..
Небось смолчал! Что расходился больно!..
— «Ну полно вам, — вступился Алексей, —
Откуда ты?»»

— С саратовских степей».
— «С саратовских!... Слышал про них довольно;
Степаныч наш ходил туда в извоз.
С саратовских! Откуда бог принес!
Эй, расскажи!..»
— «Тебе зачем? Пустое!
Ты не туда собираешься, так что ж?
Я расскажу, а примется за ложь!..»

А л е к с е й

Ну, полно же! Что там? Житье какое?

С т а р и к

Гм!.. Да, у нас не здешние края!
Там хорошо!.. Там родина моя!..
Да мне пришлось терпеть иную долю!..
Там, брат, не то: земли, угодий вволю,
Кусочками там поля не кроишь,
Так, вспашешь раз, и землю не гноишь:
Сама родит! Засеял ты пшеницей,
У вас сам-пять, а там отдаст сторицей!
Гм!.. За травой, за севом ли пойдешь?
Ступай себе, коси, не беспокоясь!
Что море — степь! Трава растет по пояс,
Воз выкосишь, а на десять помнешь!
Чего тут нет, и вишенье и просо,
Бобы, горох... Всё мнут себе колеса!..
Ямщик ли ты? Коней себе купи,
Башкирских, брат, степной породы, кровной!
Я сам не раз дорогой гладкой, ровной
Хозяином катил себе в степи!..

За промыслом ли ты? Что думать долго?
Там есть у нас речонка подле... Волга!..

А л е к с с е й

Ой?

С т а р и к

Да, я сам спускался налегке
По матушке по Волге по реке,
Под Астрахань и даже дальше, в море...
Вот там-то, брат, там золотое дно:
Белугами полнехонько полно!
Осетр, тюлень, севрюга... словно в сборе!..
Уж прибыльно! В весенний ранний лов
Кишма кишат они у берегов,
Сплошной стеной стоят под учугами!..
Ей-богу, так! Пошли б, узнали сами!..
Да что ловцы! Весной, поверишь ты,
Руками девки ловят за хвосты, —
Так, в лодочке шая одновесельной!..

«Вот знатный край! Ты слышишь ли, Матвей?
Ай хорошо!» — промолвил Алексей.

М а т в е й

Да, верь ему! и берег там кисельный,
Медовый ток, и мало ли чего!..

С т а р и к

Эх, молодец, не слушай ты его!
Ведь сдуру, так, ворчит он, белобрысый!
Про Астрахань пословицу слышал,
Что осетра мужик в печи поймал?..

А л е к с е й

А далско ль?

М а т в е й

Да врет он много, лысый,
А ты и рад! Нельзя подняться вдруг!..

А л е к с е й

А как нельзя? Да здесь беда вокруг,
Ты знаешь сам, здесь и попасться можно,
Здесь место — бой, здесь место не надежно...

Ну он приврал!.. Да врут они не все ль?
И правда есть!

— «Кисель хоть не кисель, —
Сказал Матвей, — а точно край богатый,
Я им сосед, и рыбой тороватый,
Да шутка ли, ведь верст не пятьдесят!..»

«Эх, мать моя, куда ты плоховат! —
Старик в ответ, — вот он так смыслит дело!
Послушайся и отправляйся смело,
Хоть в Астрахань! Ступай по Волге вниз,
Да к бурлакам; там люд удалый, сбродный;
Другой такой губернии народной *
И не найдешь... Татарин и киргиз,
Калмык, бухар, трухменцы да армяне,
Все дурачье, ты знай себе заране,
Оно ловчей!..»

М а т в е й

Ты для чего не там?

С т а р и к

Эх, Астрахань уж мне не по летам!
А у себя на родине, признаться,
Мне мудрено, негоже укрываться.
Помещик мой, Максим Кузьмич, меня
Везде ловил; мои приметы знают...

М а т в е й

А видок ты, тебя как раз поймают!

С т а р и к

Вот в том и горе!.. Ну, подумал я,
Максим Кузьмич! прощай, сердешный, полно!
Уж лучше быть подальше от греха,
Друг от друга придется нам солню,
Так бог с тобой!.. Ушел из-под тиха...
А он куды! и этим недоволен,
Мои везде приметы разослал!
Да ничего! теперь мой след пропал,
С саратовских не виден колоколен!

* Я сам слышал это выражение про Астраханскую губернию от одного саратовского мужика.

А л е к с е й

Куда же ты?

С т а р и к

К дунайским берегам,
Через Москву: мне дело есть и там;
А близ границ деревня есть, Вилково,
Где много я товарищей найду!..
Да что таить, и толку я иного!..

А л е к с е й

А далеко?

С т а р и к

Бог милостив, дойду!

А л е к с е й

Ведь и меня помещик, верно, ищет,
И он Кузьмич, да звать его Семен.
Я чай, бурмистр так по следу и рыщет...

С т а р и к

А близко здесь?

А л е к с е й

Верст сто...

С т а р и к

Дурак же он!

Как не найти!..

А л е к с е й

Матюшка, друг! как хочешь!
Я в Астрахань.

М а т в е й

Нет, вместе уж пойдем!

С т а р и к

Вот так-то, так!..

М а т в е й

Да ты чего хохочешь?

Старик

Да любо мне! Один, или вдвоем,
Сбирайся ты, Алешка, в путь-дорогу!
Гуляй, душа! Валяй себе вперед!
Здесь твой Семен Кузьмич тебя найдет,
А там ищи!.. Ну, весело, ей-богу!
А, Алексей?.. Ведь Алексей зовут?..
Кузьмич Семен тебя повсюду ищет,
Глядь: он себе за Астраханью рыщет!
Мой сбился с ног, меня искавши тут,
Сюда, туда... «Знать, обменялся краем?..»
А я сму гуляю под Дунаем!
Эх, попросить, чтоб дали на харчи
И мой и твой, обои Кузьмичи!
Бог даст, приду в далекое Вилково,
Ей, закричу: Максим Кузьмич, здорово!
Голубчик мой! гляди-тко ты, Кузьмич,
Как разопью я с ними магарыч!
Эх, молодца!

Матвей

Вишь, расходился, старый!
А как идти?

Матвей

Отселе вы ступай
Окольную дорогой до Самары;
Там будет вам Павлушка Растегай...
Там сыщете, и бурлаки вам скажут.
Вам в кабаках состряпают билет;
Ну на зиму идти туда не след,
А раннею весной вам путь укажут.
Деревня есть, Червонная зовут:
Найдете вы Косого Федьку тут,
Уж выучит, и призрит, и направит,
И в Астрахань обоих вас доставит,
А там гуляй, как водяная мышь,
То в море ты, то на берег в камыш!..
Ну, половил, понажился немного...
Не по душе, не влюбишь сторону —
Валяй себе, гуляй до Таганрога!
Ступай в Ростов, в Ростов, что на Дону!
Там целые живут себе ватаги,
Лихой народ, как мы с тобой, бродяги!
Там погулял и пожил года с два

А л е к с е й

Эх, черта с два! Уж невтерпеж мне боле,
Тоска томит; смерть хочется и мне
Так побродить в далекой стороне,
Да погулять, да покружить на воле!..

М а т в е й

Не прочь и я!

А л е к с е й

Ну, по рукам, вперед!
Так завтра мы с хозяином расчет?

М а т в е й

Да, будто нам на праздник деньги нужны!..
Однако, брат, недолго до утра,
А спать-то нам давно уже пора;
Болтайте же, коль очень вы досужны!

А л е к с е й

Нет, ляжем спать. А где советчик наш?
Устал, лежит... Ну полезай в шалаш;
Кажись, тебя там некому увидеть.

С т а р и к

Спасибо, брат... Да знай же в добрый час:
Ну если б кто из нашей братьи вас
Вдруг встретил там и вздумал бы обидеть,
Скажи ему — и будешь цел и сыт:
Демьян Терентьев кланяться велит!..

Легли. Уснули. К утру посвежей
Дохнула ночь; угасли звезды вскоре...
И грезились Алешке сине море,
Простор степей, приволье камышей!..

ОТРЫВКИ ИЗ ПОСЛЕДУЮЩИХ ГЛАВ

ИЗ 1-Й ЧАСТИ

1

Ну, праздник, точно! Отошла
В Холмах с молебнами обедня,
И все гуляют; до последня,
По длинным улицам села.
Пока, без брани и без схваток,
Теснятся около палаток,
Где ставка с пивом и вином;
А там, где торг идет дешевый
Платочком, лентою шелковой,
Толпятся девицы гуртом!..

Вот и гостей почетный круг:
Ведут купцы своих супруг,
И набелены, разряжены,
Как павы, чопорны на взгляд,
Едва купеческие жены
Дородным станом шевелят!..
Но под вечер, когда темнее
И песни звонкие поет
Широким кругом хоровод,
Толпа разгульней и шумнее!
Топочет много молодцов,
Лихих, в пеньё и пляске рьяных,
И сколько пьяных, пьяных, пьяных,
Веселых баб и мужиков!..

2

На небе месяц светил молодой,
По небу тучки гуляли толпой.
Черные тучки на месяц нашли,
Черную тёмнеть на дол навели.

Тучка в середке! Скорей золотись!
Тучки, гуляючи, вновь разошлись!
Выглянул месяц, блистая окрест
По небу синему, с тысячами звезд...

В воду глядится. Спускаясь отлого,
К берегу прямо сводила дорога,

Там, где упорную встретив плотину,
Речка прудом разлилась на долину.

Мельница там меж кустами стоит,
Ходенем ходит и мерно стучит;
Там, над прудом наклонившись сонливо,
Дремлет ветла да ветвистая ива...

Берег противный, обрытый водой,
Кверху высокой взбегал крутизной;
Голыми в землю вцепившись корнями,
Вяз над рекой протянулся ветвями.

Там, на горе, где чуть виден плетень,
Длинного сада рисуется тень:
Длинный, старинный, густой и огромный,
Чудно заросший, прохладный и темный...

Кто же там берег обходит вокруг?
Двое?.. Алешка с Матвеем сам-друг..
По небу месяц гулял молодой,
По саду платье мелькало порой...

3

ПОГОНЯ

Их приняли за воров и гонят из сада.

...Едва дыша, то лугом, то дорожкой,
Бегут стрелой, бегут Матвей с Алешкой,
Но сад велик — запутались в саду!..
Через плетень! и тут же на беду
В канаву шлеп!.. Но, чуя близость лова,
Ругнулись и побежали снова!
«Вот, вот они!» — послышалось вдали...
Ну, дай бог ноги! только б унесли!
Еще, еще! уходят понемногу...
Отстал Матвей, Алешка впереди
Прокладывал опасную дорогу...
Ну, смолкло все! далеко позади
Остался сад; еще версту, и боле,
Они бегут, бегут, — и вышли в поле...

Крючники! к делу! Что возитесь долго?
Хватят морозы — так будет беда!
Время! Уж много артелей намедни
В путь разбрелись, поделивши дуван*;
Скоро и этот осенний, последний,
С хлебом в путину уйдет караван!

Без облака небо, и ветер студень,
Поблекшие листья, и озимь зеленый,
И воздух прозрачный, и ясная даль...
Ты, первых морозов осеннее ведро,
Как смотришь ты красно, как дышишь ты
бодро!..

Но люди работы покончат едва ль!..
Уж скоро дождями дороги изрост,
И землю Покров снегом мокрым
покрост,
И долго ж, о осень, протянешься ты,
Сера и туманна, с окрестностью голой,
Пока не нагрянут Егорий с Николой
И станут потоки, и лягут мосты!

Живо трудятся. Вон там, близ залива,
К старому судну па сломку идут;
Семь уже вод отслужила расшива,
Днище да ребра как раз разнесут.
Грузную кладь на мокшан многоместный
С берега шибко несут по доске;
Бодро Алешка свой куль полновесный
Тащит, согнувшись, держа на крюке;
Тащит кули и Матвей, — а хозяин,
Дюжий купец, свой торопит народ,
Сам же нередко вокруг синих окраин
Робко посмотрит, боясь непогод!
Поздно суда ты отправишь, упрямый!
Видно, надежно глядят небеса...
Дай же, господь, чтоб до пристани самой
Ветер попутный им дул в паруса!..

2

Серое небо нависло туманом;
Близится время к вечерней поре;
Мелким дождем моросит непрестанно...

* Выручка.

Холодно, жутко, темно на дворе!
В городе пусто; на улице слякоть;
Ветер подчас пробежит у окна...
Ну же, в кабак, поболтать-покалякать,
Чаркой-другою согреться вина!
Ну же, в кабак! Что по той ли дорожке
Ночью ль пойдешь, не заблудишь никак!..
Скучно Матвею, нет дела Алешке...
Люден, и шумен, и парен кабак!

3

Кварталы есть в богатых городах:
Простым людям прихлись они на долю.
Там вечно грязь на низменных местах,
Там улицы уже выходят к полю;
Там каменных не встретишь ты палат,
Но всюду там гнилых и почерневших
Ряды домов, от времени осевших,
Или лачуг погнувшихся стоят;
В них окна низки, стекла перебиты,
Бумажками залеплены, прикрыты,
А на углу, на вывеске иной
Прочтешь слова: «Здесь вечно цеховой»...
По улицам, по смрадным тем местам,
Как я не раз, бродил ли ты, читатель?
Кто тех лачуг всегдашний обитатель,
Ты знаешь ли?.. По всем жилым углам
Толпится там народ чернорабочий,
Лихой в труде, до кабака охочий;
Теснится там, весь век нуждаясь свой,
Ремесленник с огромною семьей,
И рядом с ним, с семьей его заводят
Разврат и лень бесстыдный свой приют,
Где нищие артелями живут
И женщины растрепанные бродят...
Но дальше, в путь!.. Светяся огоньком,
Там, на конце, стоял питейный дом.

4

КАБАК

И полон кабак, так и хлопают дверью,
Всё гости, гурьба за гурьбою!
Вот с шумом взошли, и втащили Лукерью,
И Груню, и Дуню с собою.
Что смеху, что крику! Веселье — и только!

А штофов-то, штофов повыпито сколько!..
Раздолье, разгул!
Далече кабачий уносится гул!

Да, шумно и пьяно, —
Кабак без изъяна!
Сиделец-то рад
Всё новые гости,
Негложены кости,
Что гость, то и клад!..

Что гость, то подарок!.. Да кто же такие
Те добрые гости, те гости лихие?
Да мало ль их, мало ль, тьма-тьмушая,
И порознь, особо, и кучками:
Все жметса, теснитса, сторонитса!
Там пьют ли, сидят подгородные
Крестьяне домой поспешаючи;
Там пьют, да невесть что и за люди,
Цыгане ль, мещане ль проезжие,
Что пьют, да мигнут, да пошепчутса..
Поют, отработав работники,
Артелью веселой гуляючи,
Штоф третий до дна осушаючи;
Поют, угощаются крючники,
Беседой особой беседея..
А шибче, а громче их, с девками,
Шумят, голоса, все ли нищие,
Те нищие, люди богатые,
Деньгой на вино тороватые!..

Кабак все полнее, полнее,
Беседа шумнее, шумнее,
Уж будет доход!
Хозяин ли явится,
Фомой не нахвалитса:
Фома-то народ
Пить допьяна выучил,
Оброки все выручил,
Последнее вымучил..
Хозяин придет?
Всё пьяные, пьяные!..
И по сердцу рьяное
Усердые ему,
И любит хозяин сидельца Фому!

Туда ж приходил посетитель обычный,
В лохмотьях, в лаптях, мещанин горемычный,
Был прежде с достатком, зажиточен был!
Кабак близ него приютился соседом,
И, чарка за чаркой, втянулся он следом,
И вольную волю навек погубил!
И дети, и мать день и ночь работали,
Одежу свою от отца запирали, —
И мать, и детей он обкрадывал сам,
И тайно с добычей в кабак укрывался,
Где пил он и пил, и вином упивался,
Безмолвно, упорно, по целым часам!

Кабак все шумнее, шумнее,
Беседа пьянее, пьянее...

Уж стало темно,
От пару не видно...
Гостям не обидно,
Не так уж и стыдно,
Смелее оно!

Вот кто-то в углу, заплясавши, топочет
И звонко хохочет!

Туда приходила порою девица,
Была черноброва, была белолица!
Красавицей Груней в деревне росла!..
Сгубил ее парень, и девку с укором
Прогнали родные — позор за позором, —
И жизнь удалая красу унесла!
Опомниться страшно; вернуться нет силы,
Забиться, забиться кой-как до могилы!..
А парень богатый слывет удалцом
И выбросил Груню из памяти слабой...
И сделалась Груня той пьяною бабой,
Что тесную дружбу свела с кабаком!..

Кабак все шумнее, шумнее,
Беседа пьянее, пьянее!

Послышался спор...

Не вышло бы хуже, недолго до ссор!

.
И песни, и пляски — всё вмиг перестало,
Всё громко о драке кругом толковало...
Но поздно; кабак становился пустей
И тише... И только лишь гул собеседный

Был слышен порой, да монетою медной
Расплата, да стук уходивших гостей...

5

Меж многими был также в кабаке
В изорванной шинелишке, небритый,
Опухший, красный, оспою изрытый
И с шишкою огромной на щеке
Из отставных чиновник канцелярской:
Он тридцать лет писал на службе...
И тридцать лет все за одним столом,
У дел одних он «проходил служеньс».
И девять раз бывал он под судом,
Все девять раз оставлен в подозренье, —
Пока сго не выгнал
Начальник, вновь назначенный туда!
.

И выгнанный чиновник Несбосклонов,
Хоть зачал пить, но, ловок и смышлен,
Извлек весь мед из знания законов,
И виден был везде на рынках он
С пером в руках, с бумагою гербовой,
Писать для всех и обо всем готовый!

Всех беглецов, беспашпортных, бывало,
Вмиг узнавал его привычный взор...
Вот, крючников подслушав разговор
О том, что время позднее настало,
Что на зиму пристроиться пора, —
Кто здесь, кто там, кто хочст до двора
Скорей добратсья, — он легко приметил
Двух крючников, двух парней молодых...
Сидят они поодаль от других...
Матвея он с Алешкою здесь встретил!
Мигнул сидельцу. Тот мигнул в ответ
И к стороне отвел Алешку, тихо
Шепнул ему: «Коль надобен билет,
Вот Карп Фомич, — он изготовит лихо,
Молчи пока!» Алешка ни гугу,
Хоть речью был такой и озадачен;
За пазуху, — кошель не весь истрачен,
Подумал он, давай поберегу,
Чай, заплатитъ ему придется!.. Скоро
Все расходиться стали, и они

С Карп-Фомичем остались одни;
Он долго ждать не стал переговоров.
«Эх, — начал он, — мужичья простота!
Бродяги вы нехитрого десятка!
Я вмиг узнал — не такова ухватка!
А отчего?.. все совесть нечиста!
Билета нет, и труситя немножко...»
— «Билета нет! — сказал ему Алешка, —
Я давеча дорогой обронил!..»
— «Вот горе-то... Куда же схоронил
Ты свой паспорт?..» — спросил он у Матвея.
— «Я?.. дома он!..» — сказал Матвей, робея.
— «Ну, полно вам! всю правду знаю я!
Без паспорта зимой вам не ужиться!
Берите здесь... Ведь даром что божиться?
А не найти таких, как у меня!..»
— «Оно бы так, и не худое дело», —
Сказал Матвей...

«А стариков совет?»

Алешка молвил: «Написать билет,
Он говорил, в Самаре можно смело!»
— «Какой старик, нашли с кем толковать!
Самара, брат, ведь не рукой подать! —
Сказал Фомич, — Самара! много звону!
Видал не раз я тамошний паспорт:
Да все не наш, куда! пониже сорт,
С ошибками, не так...
А я, спроси, как руку я набил:
Я тридцать лет в правлении служил!..»
— «Так что ж цена?»

— «Да пара — шесть целковых,
Да сверх того, сам знаешь, магарыч!..»
— «Целковых шесть! Простите, Карп Фомич!
Не сходно нам!»

— «Да ты листов гербовых
Не счел, дурак!..»

— «Найдем, — сказал Матвей,—
Дешевле мы!..»

— «Эх, глупое отродье!..
Так что же вам?»

— «Что, ваше благородье,
Целковых...»

— «Три!» — прибавил Алексей.
— «Целковых три? — что спорить с
мужиной!
Ну, так и быть, давай и три сюда...»

Эх, господи! вот подлинно нужда:
Пришлось писать и за десять с полтиной!
Чернильницу!»

Фома в то время мыл
Посудину, но вмиг услышал слово,
Стер со стола и в чарочке чернил
Ему поднес. — «Все, кажется, готово, —
Сказал Фомич. — Ну кто же вы, скорей,
Зоветесь как?»

— «Я Алексей Матвеев».

— «А ты, другой?»

— «Матвей я, Алексеев».

— «Так будешь ты Максим, а ты Андрей!..»

— «Как! зваться нам чужими именами!

Вот новость-то! Куда ж свои девать,
Крещеные?..»

— «Толкуй вот с дураками!

Мне все равно, как вас ни называть!

Вам выгодней, скоблить не надо строчек!

Никто бы ввек вас, дурней, не узнал!»

— «А что, Матвей? Ведь правду он сказал?..

Пойду-ка я в Андрюшки на годочек!

Андрюшка я!.. О двух я именах!

Как чаешь ты?.. о двух ли головах?»

— «Что ж, быть и мне Максимкой, видно,
кстати!..»

— «Ну ладно же, со мною здесь печати, —

Сказал чиновник, — и обоих вас

В помещицьи произведу сейчас.

Деревни?.. Лапки!.. а помещик?.. Савин.

Костромичи... Уезд... не очень славен,

Далек, в глуши, и Буй его зовут!..»

— «Ну, Буй так Буй! Что долго думать тут,

Садись, пиши!» И пальцами поправил

Наплывшую светильню Карп Фомич

И сел за стол, меж тем и магарыч

Сиделец им обещанный поставил.

Он стал писать...

6

Серое небо нависло туманно;

Близится время к вечерней поре;

Мелким дождем моросит непрестанно,

Холодно, жутко, темно на дворе.

Пусто в деревне, на улице слякоть;

Вот уж в избе засветилось одной...

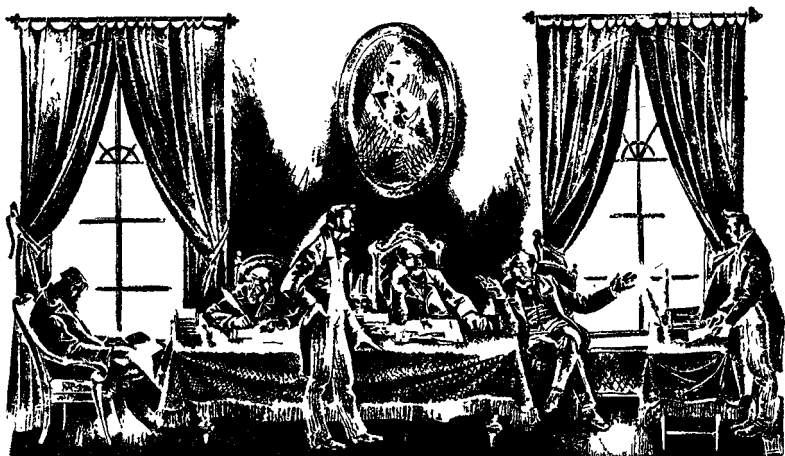
Тихо сидят в ней, лишь изредка плакать
Примется в люльке ребенок больной.
Пряжу оставив, мать люльку качает;
Тетка-старуха прядет и в светец,
Вынув лучинку, другую вставляет;
Спит на полатях усталый отец.
Что ж ты, Парашка, словцом проронися,
Прясть не прядешь, а сидишь у огня,
Будто за пряжей... Пряди, не ленися,
Красная девица, пряха моя!
Прясть ли не для кого? Снова ль кручина
Душу томит, иль изба не светла?..
Что же не ярко горишь ты, лучина,
Иль ты, лучина, в печи не была?..
Падает свет твой, дрожа и порывно,
В угол на темные лики икон, —
В сонной тиши раздается унывно
Только гуденье двоих веретен;
Только одна из тех прях неспешных,
Ветер слышав, старушка порой:
«Мать пресвятая, помилуй нас, грешных!» —
Молвит, дрожащей крестясь рукой...
Манит котенок кошурку в печурку;
Там, на дворе, также тихо кругом;
Пес присмирел и забился в конурку,
Мокрые птицы свернулись клубком...
Только лишь дождь моросит непрестанно,
Ветром без шуму деревья нагнет,
Серое небо нависло туманно...
Скучная осень, настал твой черед!..

7

з и м а

Снова путь лежит привольный,
В снег оделися поля,
Облеклась в тулуп нагольный
Православная земля!
Приосанилась с морозом,
Подтянулась кушаком,
Промышлять пошла извозом,
До весны покинув дом, —
И пройдет, пройдет обозом
Вдоль и вширь, всю Русь кругом!

1847—1850



Присутственный день Уголовной палаты

СУДЕБНЫЕ СЦЕНЫ

Изложенные отставным надворным советником, бывшим секретарем Правительствующего сената, бывшим товарищем председателя Уголовной палаты, бывшим обер-секретарем Правительствующего сената, бывшим чиновником Министерства внутренних дел.

ПРЕДУВЕДОМЛЕНИЕ

Считаю нужным объяснить читателям, с какой точки зрения смотрю я сам на свое произведение. Не изъявляя претензий на художественные достоинства, эти сцены, как верная докладная записка, имеют все грустное достоинство истины, все печальное значение действительного факта. Пусть это сознание, лишаящее меня художественной заслуги вымысла, сообщит предлагаемым сценам строгую занимательность правды и смысл обличительного современного документа.

Многие, по прочтении этого отрывка, скажут, что я взял только смешную и пошлую, еще не самую трагическую сторону судебного быта, что я вовсе не коснулся и не разоблачил тех вопиющих злоупотреблений и страшных злодейств, которыми богата память каждого «послужившего на своем веку» человека. Но предлагаемый отрывок еще

далеко не исчерпывает всей моей собственной задачи; вопиющие же злоупотребления и потрясающие душу злодеяствия носят на себе характер исключительности, особенности, который яркостью своей резко отделяется от общего быта, к тому же они не всегда избегают и наказания по закону. Гораздо опаснее для общества те грехи, которые чествуются «грешками»; те пороки, которые извиняются легко, уживаются со снисходительною совестью, живут рядом с хорошими свойствами души, принимают какую-то даже вполне искреннюю, добродушную физиономию, убаюкивают самое сознание какую-то особенную простосердечную логику. Эта сеть малых грешков и пороков опутывает в сильной степени наше общество и каждый из нас более или менее страдает тем же недугом. Но особенно опасною называется эта болезнь в быту судебном, где она в союзе с властью, где каждое ее проявление передается непосредственно тяжкими гибельными ударами действительной жизни...

С этой целью выставлены мною даже не взяточники, а люди «честные» и даже добрые. Моя служебная деятельность доставляла мне возможность узнавать таких чиновников близко, и если не всему, то весьма и весьма многому, изложенному в судебных сценах, был я сам очевидец.

Самое трагическое здесь, по моему мнению, это неправда, совершаемая добродушно и большею частью бессознательно.

Многим покажутся скучными эти сцены, но пусть они поскучают. Пусть знакомятся они с изнанкою той жизни, которой лицевою сторону представляют законы, пусть знают, каким порядком по большей части совершается современный суд в России. В верности моего изложения — я убежден — поручится всякий, кому известен судебный быт не только столичный, но и провинциальный, не по одним книгам и законам, но в самом деле и по опыту.

1853 г.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ:

Председатель, Александр Матвеевич, лет 45, мужчина довольно полный, среднего роста, волосы белокурые с рыжеватым оттенком, бакенбарды того же цвета, направленные к губам, говорит протяжно и довольно мягким басом, одет прилично.

Заседатель от дворянства, Семен Иванович Посошков, лет 57, роста высокого, худощавый, ходит несколько сгорбившись, вообще человек старого покроя.

Заседатель от дворянства, Алексей Александрович Жабин, отставной капитан, воспитывавшийся в кадетском корпусе, лет 30,

сильный брюнет, с черными большими усами и бакенбардами, роста среднего, талия военная, одет по последней моде.

Заседатель от купечества, Иван Фомич Вахрамеев, тоже среднего роста и толщины, лет 55, борода окладистая с проседью.

Секретарь, Петр Ильич Соколов, из действительных студентов Н. университета, лет 30, довольно благообразной наружности, блондин, одет прилично, но бедно.

Писец Галкин, писец Ивашкин, писец Швейкин.

Вахмистр, главный сторож Палаты, отставной унтер-офицер, неизвестно почему называемый вахмистром, лет 60; когда ходит, сильно стучит сапогами.

Канцеляристы, конвойные солдаты, три арестанта.

Помещик, Илья Андреевич Жомов, отставной полковник, лет 45, высокий, полный, здоровый мужчина, что называется *bel homme*; одетый очень хорошо, даже богато, говорит сильным басом, смеется громко, на всю комнату.

Действие происходит в присутственной комнате Палаты уголовного суда. С одной стороны стеклянные двери в канцелярию. Канцеляристы то и дело заглядывают в присутствие, слегка приподнимая небольшие занавески, прикрывающие нижние стекла. На противоположной стороне так же дверь с надписью «Архив». Она ведет в архивную комнату, где висят вице-мундиры членов, надеваемые ими для присутствия в палате. По стенам стоят шкафы, висят: зеркала, портрет государя, часы. Против дверей канцелярии, ближе к архивной комнате, стоит большой присутственный стол, покрытый красным сукном с зеркалом, на столе чернильницы, звонки, бумаги, дела, «Московские ведомости», словом, все как следует. На одном конце стола председательское кресло с золочеными ручками, по сторонам кресла красного дерева. Подле двери канцелярии небольшой столик, покрытый красным сукном; это столик секретаря.

Примечание: Разговоры не мешают занятиям членов, т. е. они, разговаривая, подписывают бумаги, или переписывают, как Семен Иванович. В некоторых случаях, когда разговор особенно оживляется, это занятие прекращается. Секретарь же во все время присутствия очень занят, часто уходит в канцелярию с бумагами и возвращается оттуда с новыми, роется в своде законов, перелистывает дела и проч. Товарищ председателя и другой купеческий заседатель в отпуску.

ЯВЛЕНИЕ I

Секретарь (один, сидит за своим столом и пишет), входит Вахмистр.

Вахмистр. Ваше благородие, арестантов привели!
Секретарь. Сколько их?

Вахмистр. Три человека да две женщины, одна с ребенком.

Секретарь. Ну пусть ждут. Делать нечего, еще никого нет. *(Вахмистр уходит)*.

ЯВЛЕНИЕ 2

Семен Иванович *(входит медленными, большими шагами, секретарь встает и кланяется)*.

Семен Иванович *(проходя в архивную комнату)*. Здравствуйте, батюшка Петр Ильич, здравствуйте, как поживаете? *(Уходит в архивную комнату, оттуда тотчас же возвращается в старом поношенном мундире и смотрит на стенные часы)*. Эге, да уже 11 часов! Да что станешь делать *(садясь на свое место и перебирая бумаги)*, нынче ведь Варвары, и у меня большая дочь, невеста-то, именинница... то да се, к обедне сходили, так время промеж пальцев-то и ушло...

Секретарь *(привстает)*. Честь имею поздравить!

Семен Иванович. Да что — честь имею. Вы бы, Петр Ильич, зашли нынче ко мне поотобедать; дело-то бы и ладно было.

Секретарь. Покорно благодарю, Семен Иванович, не могу, право, не могу-с... дела-то сколько! Еще вот не знаю, как и управлюсь, право...

Семен Иванович. Ну уж пошел! Хе, хе, хе! Полно вам, полно, Петр Ильич! Не все же делом-то заниматься, надо же человеку и порасеяться немножко, а то сидит себе сиднем!..

Секретарь. Да, право, нельзя, Семен Иванович, уже вы меня, сделайте милость, увольте... у вас, чай...

Семен Иванович. Что у меня чай? Много будет, пустяки!.. Никого не будет, своя семья, разве только Григорий Тихоныч зайдет, да и то навряд ли... Экой смиренник, право ничем из дому не вытацишь, а еще молодой человек! Ну полно же, Петр Ильич, приходи! Будешь?

Секретарь. Постараюсь...

Семен Иванович. То-то постараюсь! Приходи. Да что, Петр Ильич, все это к подписанию?

Секретарь. К подписанию... Тут, кроме приговоров и журналов, есть еще указы, их надо бы нынче же отослать на почту.

Семен Иванович. Указы? Подпишем, подпишем! За нами дело не станет! *(Подписывает один указ)*. Экое помело, господи! *(Звонит, входит Вахмистр)*. Отдай перо Ивашкину. Что он, дурак, не знает, что ли, что надо перья

присутствующим чинить? Не первый день служит. (*Вахмистр берет перо и уходит*).

Секретарь. Вот это перо хорошо, не угодно ли? (*Подает*).

Семен Иванович (*берет перо и подписывает*). Дайте-ка... хорошо!.. Хорошо... (*Считает*). Раз, два, четыре, пять... Все ли тут, Петр Ильич?

Секретарь. Все. (*Берет указы со стола, уносит к себе и садится*).

Семен Иванович. Ну, журналы-то я вам еще вчера подписал. Теперь приговоры... (*Во время следующего разговора подписывает одну бумагу за другой*). А что, Александр Матвеевич будет, что ли, нынче, или нет?

Секретарь (*так же продолжает писать*). Будет-с, я по крайней мере вчера им докладывал, что нынче и приговоры арестантам надо объявлять и другие какис-то дела есть... Чай, у него нынче именинниц по городу много...

Семен Иванович. Да, важных-то только одна, Варвара Петровна! Я думаю, что он к ней прямо из присутствия и проедет; там, чай, нынче губернатор будет и вице-губернатор, все они. Да, чай, и наш Александр Александрович туда же проедет, хе, хе, хе! А я уж так, слуга покорный, от всех этих парадов отстал.

ЯВЛЕНИЕ 3

Входит писец Ивашкин и подает перо.

Семен Иванович (*Ивашкину*). То-то, братец, должности вы своей не знаете! Вас учишь, учишь, а все проку нет! Экой народ, господи! Да, совсем забыл! Где ты это третьего дня пропадал?

Ивашкин. Виноват, Семен Иванович.

Семен Иванович. Что, голубчик, виноват теперь, а? Что, все денежки пропил? Или еще осталось, а? Вот плати вам жалованье. Вот, как я тебе жалованья поубавлю, так денежки-то и будут целы.

Ивашкин. Виноват, Семен Иванович!

Семен Иванович. То-то, виноват! Ты смотри! Ну да ради нынешнего праздника, так и быть, сердить себя не хочу... Только смотри!.. Да, Галкина ко мне!

ЯВЛЕНИЕ 4

Семен Иванович. Ну вот, кажется, и последний приговор подписал. (*Берет его в руки*). Экой толстый! Ну

уж губернатор читать его не станет, хе, хе, хе! (*Отодвигает от себя подписанные бумаги*). Приняться разве теперь за свое дело? (*Потягиваясь и зевая*). Шутка ли — докладного реестра пятидесятью тетрадь переписываю! Слышите, Петр Ильич, пятидесятью, а Вахрамеев-то никак только десятую.

Секретарь. Да уж нечего сказать, Семен Иванович, за вами дело не стоит. Ах, боже мой, виноват, ведь совсем забыл доложить. Предложение прислал прокурор. Требовал он к себе наши настольные книги, росписи и докладные регистры.

Семен Иванович (*принимаясь за переписку с докладного регистра в журнал*). Ну, так что ж?

Секретарь. Да пишет он в предложении, что докладной регистр значит регистр дел, назначаемых к докладу, и что потом уж, говорит, после каждого доклада и должна быть сделана рукою члена краткая отметка из резолюции по делу-то состоявшаяся. У вас же, говорит, наоборот, докладной регистр составляется после решения дела, пишут не отметку, а целую копию со всего журнального решения, начиная с «приказали». Позвольте, я отыщу предложение, не знаю только, куда я его засунул...

Семен Иванович (*продолжая писать*). Э, да бог с ним совсем! Слышали мы это не раз! Не он первый, не он последний. Мало ли их при мне перебивало, прокуроров-то! Вот так всякий и лезет с предложением, то не по форме, другое — не по форме!.. Да в других-то палатах про докладные регистры и помину нет, а у нас к концу года все-таки закон соблюден.

Секретарь. Соблюден-то — соблюден...

Семен Иванович. Да и что ж — не по форме-то? Только что полней. Пробовал я, батюшка, пробовал... вот еще при губернаторе... как его. Петр Петрович Жвакин... давай, думаю себе, стану и я отмечать эти, по-вашему-то, краткие резолюции... Ну и не спорилось дело! Тут еще соображай, придумывай, то гляди, что-нибудь и опустишь, да и время-то потеряешь. А как пошел писать целиком с журнала, либо с приговора, так оно и идет как по маслу: и, не думая, перепишешь. Да уж оно и все тут, уж известное дело, по канцелярской-то пословице: из большого не вывалится. (*Засыпая страницу песком, звонит, Вахмистр входит*). Твое, братец, дело за этим смотреть. Ну что за порядок, у присутствующих и песку нет. Э, эх, братец! (*Вахмистр берет песочницу и в продолжение следующего разговора приносит песок и уходит*). О чем бишь я говорил? Да, так что ж вы с предложением-то сделали?

Секретарь. Ничего, записал к сведению и руководству.

Семен Иванович. Ну да, конечно, так и следует. Ведь он прокурор-то больше так, для очистки: «я, дескать, свое дело сделал, оно и в порядке».

ЯВЛЕНИЕ 5

Те же и писец Галкин (растрепанный и не застегнутый).

Семен Иванович. А ну-ка, господин Галкин, подика сюда! Экая, братец, рожато у тебя! Вишь, какой растрепанный. ... Да хоть брюки-то зашей. Ну, что так лезешь в присутствие! Застегнись. *(Галкин застегивается)*. Приходила, брат, ко мне жена твоя, плачется и жалуется, что ты деньги мотаешь, пьешь, гуляешь. Это бы все еще ничего... да ты и драться вздумал, избил ее совсем, да еще как-то дерешься-то, зря, во что ни попало.

Галкин. Ваше высокоблагородие...

Семен Иванович. Да чего тут ваше высокоблагородие, брат, сам видел, она мне все синяки показала. *(Раздвигая руки)*. Уж я, брат, не знаю, что с тобою делать!..

Галкин. Ваше высокоблагородие! Не верьте ей, она сама-то как дерется, просто совсем из дома выжила. Ведь такая распутная, что и не приведи бог! Я точно, не хочу лгать перед вашим высокоблагородием, побил ее немножко...

Семен Иванович. Если бы немножко, так ничего, отчего не побить. А ведь ты...

Галкин. Да, ваше высокоблагородие, ведь как гуляет-то, ведь добро бы с одним... Ну, вот хоть сначала с Андроновым, изволите знать, в гражданской палате служит?... Ну уж куда ни шло! А то ведь она теперь со всей прокурорской камерой загуляла...

Семен Иванович. Хе, хе, хе! Хороши вы оба!..

ЯВЛЕНИЕ 6

Входит Алексей Александрович, раскланивается с секретарем и подходит к Семену Ивановичу.

Семен Иванович. А, Алексей Александрович, здравствуйте, куда это вы запропалились? *(Жмет ему руку)*.

Алексей Александрович. Заезжал к вам. Хотел поздравить вас и Варвару Семеновну, думал, что вы для праздника дома.

Семен Иванович. Я хотел было, да уж так, по привычке, знаете. *(Алексей Александрович проходит в архивную комнату)*.

Семен Иванович *(Галкину)*. Ты, брат, у меня знай! Я в ваши дрязги входить не буду, это дело не наше, а мы с тобой распорядимся по-своему.

Алексей Александрович *(возвращается в мундире и садится на свое место)*. Что у вас расправа, суд?

Семен Иванович. Да вот, как видите... жена на мужа, муж на жену, поди разбирай их!

Галкин. Да, ваше высокоблагородие, хоть кого изволите спросить, хоть всю канцелярию извольте спросить...

Семен Иванович. Хорошо, братец, хорошо! Только слушай: коли она еще с жалобой придет, так мы и ее и тебя при бумаге и препроводим к полицмейстеру! Пусть он мирит вас по-своему... ..хе, хе! Понимаешь? Ступай. *(Галкин уходит)*.

ЯВЛЕНИЕ 7

Те же без Галкина.

Алексей Александрович. Каков Семен Иванович! Ха, ха, ха! Как рассудил! Фемида просто, ей богу!

Семен Иванович. Хе, хе, хе! Да что прикажешь делать. Ведь нельзя не припугнуть! Ведь народец-то какой, хоть на отбор!

Алексей Александрович. Да, надо признаться, грязненько-таки у нас в канцелярии. Что за воздух!.. Фа!

Семен Иванович. Да что с ними делать! Все ведь голь, нищета! Жалованья иному и двух целковых в месяце не выйдет, взять-то неоткуда... вот в гражданской палате почище... там и писцы в шубах ходят.

Алексей Александрович. Зато у нас на честь все делается! Ха, ха, ха! «Из чести лишь одной я в доме ссm служу!»

Семен Иванович. Э, батюшка, за неволю будешь честен, как взять-то не с кого!.. Подпишите-ка, батюшка, вот вам тут журналы и приговоры.

Алексей Александрович *(принимаясь за подписание)*. Ведь будь я председатель, у меня бы дело шло иначе. Я бы их, знаете, эдак по-военному.

Семен Иванович *(махнув рукой)*. Ничего бы не сделали, Алексей Александрович. Уж вы поверьте мне, старику. Вот вы всего год в штатской-то службе, а я заседателем 17-й год служу! Мало ли здесь другие-то горячились,

да что взяли! Вот коли жалованья бы втрое, да вчетверо прибавили, ну, может быть, оно и точно...

Алексей Александрович. Нет, уж что ни говорите, а презус-то наш плох, вот в чем дело. *(Подписывает)*. Семен Иванович, а Семен Иванович! Вы никакого уважения к орфографии не имеете, позвольте заметить.

Семен Иванович. А что такое?

Алексей Александрович. Да что ж вы все пишете «заседатель» через «есть», надо «ять»!

Семен Иванович. Ну, так что ж, что «ять»? Знаю, что ять, да так, не хочу! Ловчее как-то... ведь убытка от того никакого!

Алексей Александрович. Ха, ха, ха! Философ, ей богу, философ! Что бы Греч-то сказал! *(Несколько времени все молчат, слышен только скрип перьев)*.

Семен Иванович. Да что это Александр Матвеевич не едет, право... уж будет ли?

Алексей Александрович. Александр Матвеевич, Александр Матвеевич! Он теперь такого форсу взял, Александр-то Матвеевич! Вы знаете, он теперь в ладах больших с губернатором. Тот, изволите видеть, препоручил ему устройство разных общественных увеселений, да чуть ли и не смотрение за театром.

Семен Иванович. Ой ли? Ну уж напрасно Александр Матвеевич взялся за это! Уж этот губернатор такой затейник, право, чего не выдумает!

Алексей Александрович. Нет, это бы ничего... но гордиться-то не из чего, вот что. Носа-то ему не из чего подымать... А что он смыслит в драматическом искусстве! Ничего не смыслит!.. Ну, он хорошо с губернатором? Прекрасно! Так он и членов всех постанов в хорошие отношения к губернатору... Признаться вам, Семен Иванович, если бы я знал, что у вас в губернии заседатели так мало уважаются, так я бы в службу не пошел!..

Семен Иванович. Ох, какие вы, Алексей Александрович, да чем же мало уважаются? Ведь это: батюшка, все по чину да по месту.

Алексей Александрович. Как чем? Да что мы с вами хуже, что ли, Семенова и Птицына? Ну вот их послезавтра на официальный обед к губернатору пригласили, а нас с вами нет.

Семен Иванович. Да что завтра такое?

Алексей Александрович. Как что? Царский день.

Семен Иванович. Да, да, да... я и забыл... Ну да это статья другая, они ведь, знаете, и вице-губернатору

приходятся сродни и ребята-то ловкие. И то сказать: ведь нельзя же губернатору и пригласить всех.

А л е к с е й А л е к с а н д р о в и ч. Всех не всех, а разбирать и ценить людей надо... На то он и губернатор. Да, вообще говоря, наша военная служба, ей богу, и поблагороднее и попочетней. Там по крайней мере хотя мундир есть, а здесь-то мундир никаким уважением не пользуется. Да и что за служба! Очень весело, право! Подадут к подписи бумаги, вот и начнешь смотреть. Ну просто гадко делается. Там мужик обокрал другого, там мужичка какая-то ребенка подкинула, там пьяные бабы подрались! Того плетьми, того розгами, того в Сибирь...

С е м е н И в а н о в и ч. Да вы не читайте, так подписывайте, просто делайте, как я, батюшка, Алексей Александрович, оно и для совести-то спокойнее, ей богу. Ведь по правде сказать, что толку, что вы прочтете приговор, или нет? Дела же вы все-таки читать не станете?

А л е к с е й А л е к с а н д р о в и ч. Нет, почему же иногда и не прочтешь! Конечно, я согласен, почерки скверные, зрение же у меня плохое... ну да и безграмотность, безграмотность, просто ужас!..

С е м е н И в а н о в и ч. Э, батюшка! Вот по всему видно, что вы еще новичок. А я уже давно на все рукой махнул... и ничего. Все, слава тебе господи, до сих пор сходило с рук благополучно.

А л е к с е й А л е к с а н д р о в и ч. Вы говорите — рукой махнул! Да ведь от этого может пострадать правосудие, Семен Иванович, а вы думаете, это шутка?.. Нет, я признаюсь, я о правосудии другого мнения. Я вам скажу, я даже так полагаю, что без правосудия обществу и существовать нельзя; не может, никак не может!..

С е м е н И в а н о в и ч. Да то само по себе, а Уголовная палата — сама по себе. Ведь коли бы я судил вот так, попросту, вот как я у себя в деревне сужу... Ну, это статья другая, там уж нельзя дела-то не разобрать.

А л е к с е й А л е к с а н д р о в и ч. Попросту! Это для деревни хорошо, а для государства не годится. Это уж слишком первобытно, патриархально!.. Эдак в образованном обществе не делается... Это вы хоть кого спросите, это вам любой писатель скажет. Да и позвольте вас спросить, Семен Иванович, в деревне вы судите кого? Мужиков только. Нет, как хотите, а в палате надо распоряжаться иначе... Тут уж нечего попросту.

С е м е н И в а н о в и ч. Э, батюшка, Алексей Александрович, я и сам знаю, что палата это совсем не то, что вот

в деревне рассудишь мужиков, выпорешь обоих, да и баста, да не о том речь...

А л е к с е й А л е к с а н д р о в и ч. Нет, нет, Семен Иванович, я того убеждения, что на палату нашу надо все-таки глядеть с высшей точки... Знаете, вот я недавно писал к одному своему приятелю — бывшему сослуживцу: тот подтрунивает надо мной: «Ты, говорит, теперь что? Просто штафирка!» Ну хоть мне, знаете, и жаль военного мундира, очень жаль, однако ж я ему написал: ты, говорю, брат, этого не понимаешь, ты думаешь, палата — все равно что полковая канцелярия... как бы не так! Нет, братец, я ему пишу: палата не полковая канцелярия, не просто какое-нибудь место, а целое, говорю, звено в цепи государственных и губернских учреждений... Поймите это: звено!..

С е м е н И в а н о в и ч. Так что ж, что звено, а все-таки без секретаря не обойдетесь. Да вы совсем от материи-то отбились...

А л е к с е й А л е к с а н д р о в и ч. Чем же отбились? Мы обсуждали вопрос, читать или не читать подлинные дела и бумаги... ну-с?

С е м е н И в а н о в и ч. Да вот что. Я вам всю мудрость открою. (*Кладет перо*). Первое дело, это чтоб секретарь был хороший и добрый, ну и — не очень корыстный. Коли секретарь человек знающий, дело-то и ладно, уж он присутствующих ни под выговор, ни под штраф не подведет... Я ведь вот как рассуждаю: ведь на что-нибудь секретарь да заведен, ведь коли бы мы и дела стали читать и законы приискивать и резолюции все сочинять, так тогда зачем и секретарь? Не нужно секретаря, прочь его! Ведь законы-то не дураками писаны, Алексей Александрович, так оно-то и значит, что все это дело секретарское, а не наше. Так ли?

А л е к с е й А л е к с а н д р о в и ч. Конечно, так, однако ж для чего-нибудь мы здесь да сидим.

С е м е н И в а н о в и ч. Да так, для порядку.

А л е к с е й А л е к с а н д р о в и ч. Для порядку... то есть, конечно, пожалуй, я не спорю, но... но... ну а когда секретарь плох?

С е м е н И в а н о в и ч. Плохого держать не надо. Хороший секретарь — первое дело. Ведь это я вам про Уголовную палату говорю, наше дело покойнее, чем в гражданской. Работы у нас меньше, да и дела-то у нас по большей части не корыстные, редко, редко перепадет дельцо о дворянине, или о купце богатом. Так, оно если иной раз и выдерут мужика, так, ни за что, беда-то еще и не велика... Ну-с, а где дело-то поважнее, там и секретарь смотрит в оба. Ведь коли нас станут судить, то и он не отвертится.

Так-то, батюшка, Алексей Александрович!.. Да и то вы в расчет возьмите, ведь наши решения просматривают прокурор и губернатор, за неправоое решение кто отвечает? Не мы одни, и они так же... У нас оттого и заведение такое, коли прокурору что в решении не нравится, или губернатору, так мы домашним образом и переправляем дело. Что сго в сенат-то таскать? Зато уж, если все промахнемся, или дело решим криво, то уж все молчок, друг друга не выдадим, все шито да крыто, дело-то ведь общее, батюшка Алексей Александрович.

Алексей Александрович. Да, а коли губернатор согласен, а прокурор свое поет?

Семен Иванович. Ну кто из них посильнее, с тем и надо ладить. Коли, например, у прокурора один или два протеста министром или сенатом не уважены, так с ним очень-то и церемониться не следует. Да и о том, подумайте, Алексей Александрович, ведь дела-то к нам почти все из нижних инстанций приходят, ведь там же не дураки сидят, дело-то они все-таки как-нибудь да порешили.

Алексей Александрович. Вот вы говорите, губернатор да прокурор. А намедни Александр Матвеевич сказывал, что губернатор ему говорит: я, говорит, за Уголовной палатой живу, как у Христа за пазухой, мне и дел рассматривать нечего.

Семен Иванович. Да ведь у него канцелярия есть, батюшка Алексей Александрович, не он, так она иным делом-то и поинтересуется. Ну, он за нами, а мы за ним, а все (*вздыхая*) богом держится. Я вам доложу, я вот уже 17 лет здесь сижу: не такие дела делались, рассказать вам, так и не поверите, уж про такие дела нынче и не услышите, а все, слава богу, сходит с рук — ни жалобы, ни штрафа. Надо жить ладно со всеми, по-приятельски... Ну, и захочет кто жаловаться, и немного возьмет: и губернатор — приятель, и жандармский — приятель! Нет, что ни говорите, Алексей Александрович, а служить у нас можно. Нам за нижними инстанциями да за губернатором, да прокурором, да за секретарем знающим, хорошо жить, ей богу, хорошо.

Алексей Александрович (*встает и начинает ходить по комнате в раздумье*). За секретарем... Гм! Конечно, секретарь у нас — человек знающий... Молодой, это правда, но образованный и в университете воспитывался... с ним обо всем, даже о литературе говорить можно... Это так. Но все же его надо в руках держать, все же он подчиненный.

Семен Иванович. У нас секретарь знатный. Дело свое знает, а уж смиренный какой! Уж он, поверьте, против

присутствующих не пойдет. Ведь он — сирота, одна только мать-старушка, связей никаких нет. И человек не корыстный. Оно, правда, почти и брать-то не с кого, его-то и подсудимые не очень уважают, все больше к нам относятся. Ну, да что ему прикажешь, то и сделает.

Алексей Александрович. Ну, все же я думаю — не без этого... жалованье у него небольшое.

Семен Иванович. Жалованье небольшое, это правда, да ведь ему и председатель помогает и купцы помогают. Ну, и, конечно, притеснять-то он никого не станет, а коли кто из милости и за труды даст, так что ж, в этом его и бог не осудит.

Алексей Александрович. Не осудит, конечно. Это так! Я про это и не говорю. Это и у нас в военной службе водится... это, это, я вам скажу, по моему мнению, мундир не марает...

Семен Иванович. Не марает, не марает.

Алексей Александрович. Все это так, Семен Иванович, все, что вы говорите, это все, или почти все — справедливо и основано на долговременной опытности вашей, на практике. Но по теории оно не совсем так. По теории — присутствующий, то есть член должен иметь некоторое значение поважнее, я так разумею.

Семен Иванович. Да какого вам еще значения нужно? Ведь я вам и не говорю, чтобы уж вовсе в дела не заглядывать... Известное дело: коли попросит кто о чем, или уж такой уголовный казус, что вся губерния так на нас глаза и выпучит... ну тут нельзя с делом не познакомиться, надо хоть секретаря-то порасспросить... а во всяких других случаях, поверьте, батюшка Алексей Александрович, лучше и не вмешиваться, ей богу, лучше, еще пуще дело запутаешь... Только разве и наказывать секретарю, чтоб приговоры-то, знаете, были помягче.

Алексей Александрович. Нет, зачем же помягче, коли преступник, тут нечего миловать. Ведь уж там, как ни говорите, а мы все-таки судьи! Ведь оно, конечно, фигурально, а все-таки для чего-нибудь палата храмом правосудия да называется, как хотите! Нет, по моему мнению, мы должны иметь в виду одну только строгость законов, не больше. Тут уж увлекаться сердцем неприлично, тут уж я лицепрятия не допускаю, как хотите, не допускаю. Разумеется, если кто из знакомых попросит, так отчего ж иногда и не пощадить... но вообще преступлению поблажать не следует, никак не следует.

Семен Иванович. Да оно, пожалуй, а все же лучше, знаете, эдак — по человечеству.

А л е к с е й А л е к с а н д р о в и ч. Нет, знаете, у меня другой метод, другой взгляд на вещи и на наше звание, взгляд, может, несколько военный, но тем не менее другой. Вы очень справедливо заметили, что мне, то есть нам, нечего входить в подробный разбор дел, что тогда не нужно было бы и секретаря... это очень, очень верно, и я вам скажу даже, что это, может быть, унизило бы и звание присутствующих, но тем не менее правосудие законов...

С е м е н И в а н о в и ч. Вот вы говорите: законы, законы! Да ведь законов-то — что? Просто гибель. Да каждый год все прибавления да добавления, выдумали какое-то новое уголовное уложение, чтобы из степени в степень переводить... ну я вас спрашиваю, батюшка Алексей Александрович, досуг ли нам этим заниматься! Ведь наше дворянское: у вас есть крестьяне, ну и меня бог ими не обидел. Стало, уже забота есть... Вот на этот-то предмет и заведены подьячие¹³. Уж они на этом и стоят, на законах-то. Ну, а всякое дело мастера боится. Если б и вздумал кто из нас законам-то поучиться, все уж против канцелярии не будем, да и не дворянское оно дело, я вам докладываю.

А л е к с е й А л е к с а н д р о в и ч. Конечно, конечно, отчасти... но позвольте, позвольте, я еще не развил вам мою мысль. Действительно, нашему брату, присутствующему, во все мелочи входить не следует, мало того — не следует и во всякое дело входить. Но что-нибудь да мы должны сделать? Не так ли? Мы и должны делать — но знаете, эдак вообще, свыше... Так, например, я разве даром здесь сижу? Нет-с, оттого, что я здесь сижу, ну и вы, разумеется, оттого, может быть, у нас и дела идут как следует. Секретарь-то и держит ухо востро. Ведь мы можем иногда его и проверить? Вот он это и знает — и боится. Я вообще нахожу, что надо чтобы канцелярия несколько боялась присутствующих¹⁴. И вообще, по моему мнению, полезен, очень полезен и такой маневр: иногда, знаете, просмотреть дело, иногда задать секретарю неожиданный вопрос...

ЯВЛЕНИЕ 8

Т е ж е и п и с е ц Ш в е й к и н (в сюртуке, застегнут на все пуговицы, волосы напوماжены и гладко причесаны).

Ш в е й к и н (*робко останавливаясь у дверей*).

С е м е н И в а н о в и ч. Ты что, братец?

Ш в е й к и н (*робко подходя*). Ваше высокоблагородие, Семен Иванович, сделайте такую божескую милость...

С е м е н И в а н о в и ч. Что, что такое?

Швейкин. Прикажете, ваше высокоблагородие, мне вместо Галкина приговоры читать...

Семен Иванович. Какие приговоры?

Швейкин. Да арестантские-с. Нынче арестантам приговоры объявлять будут.

Семен Иванович. Да, да... я видел их, там их что-то много.

Швейкин. Человек пять-с.

Семен Иванович. Ну так что ж?

Швейкин. Я, ваше высокоблагородие, приговоры-то и приготовился читать, а Галкин говорит, что не пустит. Это, говорит, мое дело, мне, говорит, присутствующие приказали.

Алексей Александрович (*сидя на своем месте*). Да что ж вам, мой милый, не все равно?

Швейкин. Помилуйте, ваше высокоблагородие! Когда же все равно! Оно все-таки перед публикой, при открытых дверях да и у присутствующих на виду. И между товарищами-то почетно — все же не просто писец... Как можно, Алексей Александрович, оно лестно-с, очень лестно-с. Ваше высокоблагородие, Семен Иванович, уж вы позвольте, сделайте милость, позвольте — я нынче и приделся почище, а Галкина, сами изволите знать, и в присутствие-то пустить стыдно. У меня-то и голос получше. Уж вы поощрите, Семен Иванович, сделайте милость — поощрите. Я бойко прочту.

Алексей Александрович (*сердито*). Что ж вы это, милый мой, только к Семену Ивановичу обращаетесь, здесь не один он...

Швейкин. Виноват, ваше высокоблагородие, я и ваше высокоблагородие прошу.

Семен Иванович (*к Алексею Александровичу*). Да это они так, по привычке, ваш предместник не очень-то ими занимался... Как же вы полагаете, Алексей Александрович, дозволить?

Алексей Александрович. По-моему, дозволить. (*В это время входит секретарь и садится на место*).

Семен Иванович. Так, да не охотник-то я старые порядки менять. Галкин-то по привычке, да и обидно ему будет... Разве уж так — для нынешнего дня?.. Не хочу уж для имениницы никого разогорчать. Да вот и вы дозволяете... Нет уж так и быть. Только чтобы половину приговоров прочел Галкин, а другую ты...

Швейкин (*радостно*). Покорнейше благодарю ваше высокоблагородие, покорнейше благодарю. (*Кланяется обоим и уходит*).

ЯВЛЕНИЕ 9

Те же без Швейкина.

Алексей Александрович. Какой фронт! Ха, ха! Заметили вы, а? Штрипки к брюкам пришил. Мы штрипки сняли, а они только что надевают. Ха, ха!

Семен Иванович (к секретарю). Я думаю, Петр Ильич, дозволить можно?

Секретарь. Можно-с, можно. Пусть читает, коли охота есть.

Семен Иванович. Ведь, кажется, он малый хороший?

Секретарь. Хороший малый, смиренный и усердный.

Алексей Александрович. А знаете, мне это нравится. Амбиция видна. Есть по крайней мере амбиция у человека!

Семен Иванович. Алексей Александрович, приговоры-то, батюшка, подпишите: Александр Матвеевич придет, так надо их отдать, для подписи-то...

Алексей Александрович. Правда, правда! (Берет приговор в одну руку, в другую перо. Семен Иванович пишет. Секретарь пишет. Молчание). Гм! Этот приговор о чем? Такой толстый... «О поджоге крестьянским мальчиком Лукиным деревни Ковригиной»... Надо прочесть (читая про себя)... мм... мм... мм... Э, да он в сенат отправляется! Ну бог с ним! Пусть там и рассудят! (подписывает и берет другой приговор)... Этот о чем? «О подкинутьи будто бы из бедности — крестьянской женкою Власьевою законнорожденную трехмесячную дочь»... Слышите, Семен Иванович, из бедности, а! Законнорожденную!

Семен Иванович. Врет, bestия! А впрочем, бог ведает, может, и не врет... Всякое бывает! А что ж, ее секут?

Алексей Александрович. Да вот посмотрю. (Смотрит в последний лист). Секут, секут, да еще как больно секут! 80-ю ударами розог. Впрочем, кажется, тут все равно. (К секретарю). Доказательства есть?

Секретарь. Как же-с, есть.

Алексей Александрович. А, ну так хорошо! Главное, чтоб были доказательства. (Подписывает и берет еще приговор). Сколько их, приговоров-то, Это о чем? «О воровстве из амбара муки». (Свистит). Ну, этот не интересен... Ах, боже мой, кстати, вспомнил! (Звонит, входит Вахмистр)... Спроси у Крикунова записку по делу Кондратьевой. (Вахмистр уходит). Просила меня кузина моя.

Семен Иванович (*продолжая писать*). Дарья Савишна?

Алексей Александрович. Дарья Савишна. Дело у нее есть в палате, человек ее в краже попался. Так вот она и просит: нельзя ли его не наказывать, а оставить в подозрении, знаете, чтобы человек-то не пропал даром, чтобы она могла его с зачетом в солдаты отдать.

Семен Иванович. И дело.

Алексей Александрович. Конечно, дело, но я ее сначала-таки пострашал, хе, хе, хе! Нет, говорю, кузина, не надейтесь, у нас Фемида слепая, беспощадная, у нас только и слышно, что розги, плети, Сибирь, каторга! А она (*передразнивая ее*): ах, какие ужасы, ах, какой ты, говорит cousin infernal! (*Входит Вахмистр, подает бумагу. Алексей Александрович, взглянув на бумагу*). Вот тебе и infernal! Прошу покорно, совсем не то сделал, что я приказал. Я велел ему сделать записку из дела, да подвести законы так, чтобы выходило подозрение, хотел кузине показать, а он, черт знает, что нагородил: не то, совсем не то! (*Вскакивает*).

Секретарь (*став с места*). Вы бы изволили это мне поручить, где же ему с этим сладить.

Алексей Александрович. Я думал, что и он сумеет, у вас и без этого дел много... Впрочем, вы-таки этим займитесь... Но я распеку его, распеку-с, порядком распеку... Это нарушение дисциплины, этого так оставить нельзя. (*Уходит в канцелярию. где вслед за этим слышится его голос*).

Семен Иванович. Вишь, как расшумелся — хе, хе, хе!

Алексей Александрович (*возвращаясь на свое место*). А все вы, Семен Иванович, балуете их не в меру... Так вы, Петр Ильич, этим займетесь?

Секретарь. Очень хорошо-с! (*Уходит в канцелярию, Семен Иванович пишет, Алексей Александрович подписывает. Молчание, скрип перьев*).

Семен Иванович (*продолжая писать*). Встретил я вчера Андрея Семеновича, вот что к нам в председатели баллотировался, хе, хе, хе! Сердит больно на Александра Матвеевича! Ну ведь и то сказать, председателем-то ему бы надо быть, а не Александру Матвеевичу.

Алексей Александрович. Что и говорить! Я ведь ему на выборах и шар белый положил.

Семен Иванович. Ну да что прикажете делать! Дворяне не захотели, конечно, Александр Матвеевич хлебосол и с губернатором приятель, и всякие обеды устроить

мастер, и по клубу полезен, ну и денег-то у него побольше. А Андрей Семеныч, хоть дока, но скупенек немножко.

А л е к с е й А л е к с а н д р о в и ч. Зато человек просвещенный. Ведь, между нами сказать (*оглядывается*), что такое Александр Матвейч? Только что богат, а ведь без всякого образования, нигде не воспитывался, даже в Петербурге не был, послужил где-то годика два, в каком-то пехотном полку, да и вышел в отставку.

С е м е н И в а н о в и ч. Нет, не совсем так: он служил и уездным судьей три года.

А л е к с е й А л е к с а н д р о в и ч. Эка важность — судьей! Нет, тут всему виною его богатая женитьба. Ведь бывает же некоторым такое счастье! Будь у меня деньги, так я бы был председателем получше его, право! Поверите, Семен Иванович, иной раз просто совестно за него делается. Намедни я был как-то вместе с ним на вечере... и повел речь о литературе, заговорил с ним о Державине... он на меня глаза так и выпучил, заговорил о Ломоносове, он и речь заминает.

С е м е н И в а н о в и ч. Ну, батюшка Алексей Александрович, это еще не беда, ей богу, не беда. Этого в нашей должности не требуется... А человек он все-таки добрый, право!

А л е к с е й А л е к с а н д р о в и ч. Как не беда! Вы, например, вы хоть сами литературой не занимаетесь, вы — заседатель и из заседателей выше не метите... а ведь он, как хотите, ведь он все-таки председатель.

С е м е н И в а н о в и ч. А умеет-таки пыль пустить в глаза, нечего сказать, мастер, вот посмóтрите, послезавтра царский день ¹⁵ — как он разрядится, мундир всегда новый, золото так и горит, штаны белые с лампасами.

А л е к с е й А л е к с а н д р о в и ч. Что ж, что золото горит?.. Наружный блеск один, только это и есть! (*С негодованием махнув рукой*). Э, да что говорить! Калигула!

«Калигула, твой конь в сенате,

Не мог сиять, сияя в злате,

Сияют...»

ЯВЛЕНИЕ 10

Входит секретарь и подносит лист бумаги Семену Ивановичу.

С е к р е т а р ь. Потрудитесь подписать, Семен Иванович, один указ, забыл подать вам прежде. (*Семен Иванович берет в руки и подписывает*).

А л е к с е й А л е к с а н д р о в и ч. А мне подписать?

Секретарь. Нет, достаточно одной подписи.

Алексей Александрович. А это о чем?

Секретарь. О Домне Макаровой... Извольте помнить эту молоденькую, смуглую девушку, которой приговор на прошлой неделе объявлен.

Алексей Александрович. Да, да... эта хорошенькая мешаночка, о которой вы рассказывали, что она со своим возлюбленным в бродяжничество отправилась... Еще с черными глазками-то? Помню, помню. Ну, что ж мы ее к чему приговорили?

Секретарь. Высечь.

Алексей Александрович. Как tout bonnement высечь?

Секретарь. Да высечь розгами, с лишением, разумеется, всех особенных, лично и по состоянию присвоенных ей прав и преимуществ, ну да это не в счет... *(Берет указ и уходит)*.

ЯВЛЕНИЕ 11

Тс же без секретаря. Семен Иванович пишет, Алексей Александрович подписывает.

Семен Иванович *(после некоторого молчания)*. А что, новую губернаторшу видели?

Алексей Александрович. Видеть-то видел, но лично еще не знаком. Кажется, дама умная, светская и с образованием... видно, что хороша была собой и в хорошем обществе была. Немножко чересчур важничает, говорят, горда немного... А надо с пей познакомиться, надо, не знаю только, как это сделать.

Семен Иванович. Да чего же лучше! Вы ведь у Варвары Петровны будете? Ну, а там и губернаторша будет, наверное. Ведь уж Варвара Петровна всякой губернаторше друг.

Алексей Александрович. Да, да — прекрасно сказал Карпов о ней в своей «Панораме» нашего губернского города, что она чиновница особых поручений при губернаторшах. Ха, ха, ха! Ведь презло! Вы не читали «Панорамы»?

Семен Иванович. Это где он наш город раскритиковал? Слышал, слышал, только не читал...

Алексей Александрович. Прочтите! У меня она есть. Очень, очень недурно — для губернского города хоть куда. Ну, конечно, не первостатейный поэт, а много-много соли. Хотите, я вам дам?

Семен Иванович. Дайте, дайте, посмотрим.

Алексей Александрович. Посмотрите... Гм! Говорят, губернаторша вечера будет давать.

Семен Иванович. Говорила мне исправничиха, не знаю.

Алексей Александрович (*кладя перо, дружеским тоном*). Послушайте; Семен Иванович, знаете что — ведь такое проклятое это званис, заседательское! Никак эдак и в beau monde не попадешь. То есть, что я говорю, не попадешь? Я знаком здесь со всем высшим обществом, мои отношения к Прасковье Алексеевне вы знаете. Она сама губернаторше ни бонтонностью и ничем не уступит, такая comme il faut и bon genre что за чудо! Да и не одна она... ну, Вера Николаевна тоже... дама, уже известно, с высшим образованием. Но все же, знаете, я бы хотел и с губернаторшей сойтись поближе... Послушайте: губернаторша будет у Варвары Петровны... Конечно, могла бы и сама Варвара Петровна меня с ней познакомить... Но ведь Варвара Петровна тоже немного чопорна. Хотя она и очень, очень меня любит, но все как-то, знаете, просить ее неловко, а самой-то ей, может быть, на ум не придет... Знаете что — скажите-ка так, между прочим, Александру Матвсевичу, чтоб он, как будет нынче со мной у Варвары Петровны, меня эдак при случае губернаторше и представил, ну, сказал бы, что я его сослуживец, что полькирую и ловок в танцах и тому подобное.

Семен Иванович. Да что ж вы сами-то не попросите?

Алексей Александрович. Да нет! Он подумает еще, что я навязываюсь... нет, нет! Я навязываться с знакомством ни к кому не хочу, сохрани бог! А просить-то уж подавно: особенно Александра Матвеевича. Я горд, Семен Иванович, очень горд! А вы скажите это так, от себя.

Семен Иванович. Очень рад, очень рад, штука не хитрая, отчего не сказать. (*Зевает и потягивается в кресле*). Эх, устал — походить немножко. (*Встает и начинает ходить по комнате*). Да что, Алексей Александрович, говорят, вы того... хе, хе, хе! У Веры Николасвны хороша дочка, что ли?

Алексей Александрович. Понимаю, понимаю, ха, ха, ха! Хороша, хороша, очень хороша, а у Лукерьи Фоминичны еще лучше, хе, хе, хе!

Семен Иванович (*дружески грозя пальцем*). Эй, не погубите девки даром! Вы бы уж за одной, а то за двумя разом, хе, хе, хе!

Алексей Александрович. Ха, ха, ха! За тремя, Семен Иванович, за тремя, Лизавету Андреевну забыли! Да зато уж...

ЯВЛЕНИЕ 12

Входят секретарь и писец Ивашкин из канцелярии. Секретарь садится на свое место, Ивашкин становится подле его, у обоих в руках бумаги.

Секретарь (*привстав*). Не обеспокою ли я вас, если стану считать бумаги?

Семен Иванович и Алексей Александрович (*вместе*). Ничего, ничего.

Секретарь (*начинает читать вполголоса, писец следит по своей бумаге. Секретарь время от времени поправляет пером в своих бумагах ошибки, слышно только одно бормотанье: мм... мм... мм... Алексей Александрович и Семен Иванович понижают голос в своем разговоре на полтона*).

Алексей Александрович. Да... так зато уж так сердятся на меня наши львицы, прокурорша да жандармская — у, просто беда!.. Лизавета Андреевна живет, знаете, на Дворянской улице в переулке. Там Анна Карповна, прокурорша-то — нет-нет да и застанет меня: «Где пропадаете, милый поэт? Наш поэт охотник, видно, до переулочных красавиц... А Любовь Карповна, жандармская-то — и стихи сочинила:

Monsieur Жабин в переулке

Потерял свое сердечко...

Ха, ха, ха!

Семен Иванович. Хе, хе, хе! Ай да Любовь Карповна! Лихая бабенка, нечего сказать! Люблю за это! «В переулке потерял сердечко...» хе, хе! (*Мотает головой от удовольствия*).

Алексей Александрович. Прелесть дамочка!.. Не то, чтобы красавица, а прежантильная. (*Молчание. Семен Иванович ходит, Алексей Александрович принимается за подписывание. Среди этого молчания чтение секретаря становится слышным*).

Секретарь (*читая*). «А потому его, крестьянина помещицы Маркизы Форкадедебиевр*, лишив всех особенных лично присвоенных ему прав и преимуществ, наказать через полицейских...»

* Такой фамилии помещик существует в Калужской губернии. (Здесь и далее примечания И. С. Аксакова).

Алексей Александрович. Ну да я ведь, Семён Иванович, в долгу не остался, я ей такой акrostих написал...

Семен Иванович. Что такое?

Алексей Александрович. Акrostих... вы не знаете, что такое акrostих? Как, вы не знаете, что такое акrostих?

Семен Иванович. Не знаю, не знаю, отчего же мне знать! В наше время мы, батюшка, акrostихами-то не занимались.

Алексей Александрович. О, так я же вам растолкую. Посмотрите, какая вещь! Я вам хоть сейчас новый сочиню. Ну, назначьте мне имя, выберите чье-нибудь имя...

Семен Иванович. Имя? Ну, Яков.

Алексей Александрович. Да что — Яков! Лучше женское. Например, Лиза.

Семен Иванович. Ну, Лиза — так Лиза.

Алексей Александрович. Очень хорошо. Положим, вы пишете акrostих на Лизу. Ну, Лиза из чего состоит? Из букв л, и, з, а, так что ли?

Семен Иванович. Так.

Алексей Александрович. Вот постоит, я возьму лист бумаги, так будет видней. Надо, чтобы первый стих начинался с буквы «л»... *(Семен Иванович подходит к столу и, наклонясь, смотрит в лист бумаги, на котором Алексей Александрович собирается писать)*. Например... Постоит, сейчас. *(Морщит брови и думает, в это время чтение секретаря становится слышнее)*.

Секретарь *(читая)*. «И по 1120 статье...»

Писец. «И 157-ой...»

Секретарь *(поправляя в своей бумаге)*. «И 157-ой...»

Алексей Александрович. Позвольте, я сообразил... любовь *(Пишет)*. Любовь... моей душе... Гм!.. усталой... Ну-с, теперь и... *(Думает)*.

Секретарь *(читая)*. «... и как бродягу, в арестантские роты на десять лет».

Алексей Александрович. Изнуренной, истерзанной, изнеможенной... да, да! Изнеможенной и больной. Теперь... *(Кусает перо и думает)*.

Секретарь *(читая)*. «Упорствуя в расколе», запятая *(поправляет)*... «в расколе, подписки не дала...»

Алексей Александрович. З... з... з... вот! Звучит *(пишет)*... звучит отрадою... бывалой!.. Прекрасно... Теперь «а». а... я, а — ты... а демон... ну, так быть: «а ты одна всему виной!» Ведь это так для шутки! Ну, прочтите!

Семен Иванович *(читая)*. «Любовь»... это что?

Алексей Александрович. Это: моей душе, лучше — «душе моей».

Семен Иванович. Ну: «душе моей усталой, изнеможенной и больной, звучит отрадой...»

Алексей Александрович. Отрадою... дою!

Семен Иванович. «Отрадою бывалой, а я...»

Алексей Александрович. «А я» — не нужно.

Семен Иванович. Не нужно? «А ты одна всему виной». Ну, так что ж?

Алексей Александрович. Вот видите. Вот как вы эдак рукою-то закроете (*закрывая рукою стихи*) да оставите на виду одни буквы, то и выйдет, читайте, слагайте литеры...

Семен Иванович. Позвольте, позвольте (*читая с расстановкой*). Л-и-з-а... Та-та-та! Понимаю! Вот оно как!.. Ну, это штука мудреная... хе, хе, хе!

Алексей Александрович. Да таки не совсем легкая... я впрочем, на это мастер. Ведь это еще так, для потехи.

Семен Иванович (*садясь на свое место*). Хитрая, хитрая!.. Подпишите-ка приговоры, Алексей Александрович, вам еще журнал надо подписывать.

Алексей Александрович. Подпишу, подпишу... (*Подписывая*). А хорош акростих, а? Да это еще что!.. Подписать однако в самом деле поскорей! (*Подписывает одну бумагу за другой, затем произносит свою фамилию, выдавая каждую букву*). Алексей Жж... абин, Алексей Жа... бин. Заседатель Алексей Жабин. Э, как расчеркнуло ловко! Жа... бин! Жабин! Жабин! Жабин!! Жабин... Жабин... Жабин...

ЯВЛЕНИЕ 13

Те же и купец Вахрамеев. Писец Ивашкин, окончив читку, уходит.

Вахрамеев (*крестясь на икону, раскланивается низко со всеми*). Вашему высокоблагородию Семену Ивановичу наше почтение. Вашему высокоблагородию Алексею Александровичу...

Семен Иванович. Ну, что это вы, Иван Фомич, так поздно приходите? Видите, уже 12 часов!

Вахрамеев. Да ведь что ж-с! И Александра Матвеевича еще нет...

Семен Иванович. Да что вы с Александром Матвеевичем равняетесь, Александр Матвеевич — председатель, а вы член, да еще купеческий.

Вахрамеев (*садясь на свое место*). Хе, хе, Семен Иванович-то все бранится, не извольте беспокоиться, все подпишем-с. (*Медленно вынимает из кармана очки и надевает*). Икону, извольте видеть, у нас нонче в лавках подымали, оттого и опоздал маненько. Чего подписать-то?

Семен Иванович. Ну вот видите, какая кипа бумаг. (*Берет их и кладет перед Вахрамеевым*). Да вот вы нарочно приходите поздно, только и успеваете бумаги подписывать, а докладного регистра всего только десятую тетрадь пишете... Ну нынче икона, а вчера-то что?

Вахрамеев. Как же быть то-с? Дело-то наше коммерческое! Господи благослови! (*Крестится и подписывает одну бумагу, потом крестится и подписывает другую, и вообще перед каждой своей подписью крестится, держа между пальцами перо. Алексей Александрович, окончив подписывание приговоров, принимается за чтение «Московских ведомостей»*). Муку вчера купили по 93 коп. пуд, а наместись Фалеев это продал по рублю.

Семен Иванович. Что так, подвезли, что ли, много?

Вахрамеев. Да и подвезли, да и заводчикам-то винокурным хлеб-от не требуется, по той причине, что от поставки они отказались (*подписывает*).

Семен Иванович (*взглянув на подпись Вахрамеева*). Да где ж вы это подписываете? Ну, куда это вы захали? Совсем под председателя. Вот ваше место.

Вахрамеев (*почесывая затылок*). Виноват-с!.. Эхма! Не доглядел. Ну да это бумажка махонькая, ее и переписать можно.

ЯВЛЕНИЕ 14

Шум, бежит Вахмистр и растворяет обе половины дверей в канцелярию настезь. Канцелярия с шумом поднимается с мест. Входит председатель. Все в присутствии встают и кланяются.

Председатель (*с важностью наклоня голову*). Здравствуйте, здравствуйте, господа, здравствуйте! (*Все садятся. Председатель проходит прямо в архивную комнату, за ним Вахмистр. Председатель выходит из архива в мундире, останавливается посредине комнаты и оглядывается кругом*). Надо бы вот еще драпри поделать к окошкам. Оно, правда, хорошо и так, чисто и опрятно... а все бы не мешало тут вот бы одну половину красную, а другую белую.

Алексей Александрович. Зеленую лучше, Александр Матвеевич.

Председатель (*садясь на свое место*). Нет, красную лучше. И в губернском правлении красная. Да вот Иван Фомич мне кисей пожертвует, хе, хе, хе! А я палки золотые уж на себя возьму.

Ва хр а м е е в. Да уж и так испожертвовался совсем, Александр Матвеевич. Ведь вот мы и скамып вам в канцелярию понаделали.

Председатель. Эка важность — скамейки! Ведь это все к чести твоей отнесется, я и губернатору скажу.

Секретарь (*подходя к председателю с бумагами*). Вот бумаги, полученные с почты, отметить не угодно ли?

Председатель. А, хорошо, хорошо! Какое нынче число?

Секретарь. Четвертое. (*Кладет бумаги на стол и возвращается на свое место*).

Председатель (*отмечая бумагу*). Четвертое? Хорошо. 4 декабря 184... 4 декабря... Слышали, господа, говорили вчера в клубе, что государь поехал из Петербурга в Киевскую губернию?

Алексей Александрович (*подписывая журнал*). В Киевскую? Гм! Зачем бы это?

Семен Иванович (*переписывая докладной регистр*). Так ведь он часто ездит.

Председатель. Не в том дело, а вот что. Губернатор и сказал: хотя мы и в стороне, да и неравно царь вздумает поехать и через нашу губернию... ведь ему дорога везде вольная... хе, хе, хе!

Семен Иванович. Вольная, вольная.

Председатель. Ну, поедет, господа, царь через наш город, станет все осматривать... Ну коли он вздумает завернуть и к нам в палату?

Семен Иванович. Помилуйте, Александр Матвеевич, зачем ему в нашу палату? Такое ли это место, чтобы царь его осматривал?.. Сюда ни один царь никогда и не заживал!

Алексей Александрович. Нет, нет, не говорит! Отчего же ему и не зайти! Ведь палата все-таки... после сената первая инстанция!

Председатель. Ну, неровен час, вздумает да и полно. Может, строение захочет посмотреть...

Семен Иванович. Навряд ли! Бог милостлив! Ну да коли пожалует, что ж, милостп просим (*осматривая*), у нас, кажется, все в порядке.

Председатель. В порядке? Не все-то вы видите, господа, а я нынче ночью вспомнил, да и утром все проду- мал.

Алексей Александрович. Что ж такое, что? Председатель. Да вот что. Гм! Есть у нас портрет государя или нет?

Семен Иванович. Как же, есть! Ведь вот он, сзади вас.

Председатель. То-то есть! По-вашему, есть, а по моему, нет, то есть все равно что нет.

Алексей Александрович. Отчего же нет?

Председатель. Вот вам и загадка... хе, хе, хе! (*Оборачивается к портрету*). Оно точно, не вдруг догадаешься, хе, хе, хе!

Семен Иванович. Что ж бы такое?

Алексей Александрович. Что же это не портрет? Конечно, государь здесь нарисован молодым, очень молодым, худошавым*.

Председатель. В том-то и штука. (*Шепотом*). Ведь он без усов!

Алексей Александрович. Вообразите ж! Смотрел, смотрел, и в голову не пришло!

Председатель. Тот-то же!.. Ну, а ведь вы знаете, царь усы любит.

Семен Иванович и Алексей Александрович (*вместе*). Любит, любит!

Председатель. Вот и в губернском правлении с усами и в казенной палате с усами... а у нас — без усов... Ведь эдак, господа, согласитесь, рисковать не должно.

Алексей Александрович. Никак не должно! Я помню на одном смотре государь изволил обратить особое внимание на офицерские усы.

Семен Иванович. Так что же, Александр Матвеевич? Ведь новый-то дорого стоит, да и не скоро его добудешь.

Председатель. Хе, хе, хе! Я уже все это сообразил, уладил. Я думаю, господа, вот что: пригласить лучшего здешнего живописца да и подмалевать государю усы! А! Как вы думаете?

Семен Иванович (*смотря на портрет*). Что ж, место будет, только, знаете, надо поосторожней...

Алексей Александрович. Лучше бы новый, Александр Матвеевич, а то как-то нехорошо: портрет старый, а усы свежие.

Председатель. Так что ж, что свежие... были бы только усы...

* Так рисовались портреты императора Николая в первые годы его царствования.

Алексей Александрович. Конечно, все-таки больше сходства.

Председатель. Вот мы этим на днях и займемся... (Отмечая бумаги). Э, да тут сенатский указ... о чем он, Петр Ильич?

Секретарь (привстав). Указ не важный, Домейкин жаловался на то, что мы не допустили его к апелляции. Сенат с приложением прошения и требует по оному объяснения. Жалоба не основательная.

Семен Иванович. Ну, коли не основательная, что ж сенат спрашивает? Сам бы разобрал дело, а тут поди отписывайся! Ей богу — точно не знают, что у нас работы не меньше ихнего будет.

Председатель. И писцов-то мало.

Семен Иванович. Писцов-то мало... Вот был у нас покойник председатель Утятников... это еще при губернаторе Карпе Федоровиче Емельянкове... ну, тот выкидывал такие штуки, что только одному богу известно, как он цел остался. У него для этих указов сенатских был особый писец: с виду бестия, писал так красиво, что загляdsnье! А разобрать ничего не разберешь. Просто глаза все даром потеряешь, и только. Вот как бывало потребуют из сената объяснения по жалобе, а жалоба-то, знаете, опасная, основательная, так он и закатит бывало в сенат объяснительный рапорт, эдак листов на 20, да все такого письма. Ну, понимается, в сенате, повертят его в руках, повертят, читать никому и не хочется, так и ответят бывало: поступить, дескать, по законам, хе, хе, хе! Проказник был покойник! (Все смеются).

Председатель. Ведь бы и нам завести такого не худо, право! Хе, хе, хе! Ну-с, а этот указ о чем?

Секретарь (привстав). Это сенат дает знать к сведению об отказе своем по прошению мещанки Пирожниковой. Изволите помнить, было у нас дело Пирожникова, что еще в каторгу присужден. Мать жаловалась в сенат, так сенат ей и объясняет, что, во-первых, мать за сына просить не может, каждый отвечает сам за себя, а во-вторых, что по 1338 статье 15 тома в Уголовных делах, на решение палаты допускается апелляция только в случае присуждения к тяжким наказаниям, значит, можно жаловаться только по исполнению приговора, после уже наказания.

Председатель. Так что ж, по этому указу нам исполнять нечего?

Секретарь. Нечего, это к сведению.

Председатель. И прекрасно! Ну-с, Петр Ильич, возьмите бумаги, я пометил; дайте-ка приговоры поскорее

подписать... (Секретарь идет к столу, берет отмеченные бумаги, отбирает у Вахрамеева подписанные им приговоры и кладет перед председателем).

Председатель (считая приговоры). Э, сколько их!.. Ведь это, ей богу, душа радуется, как у нас дела-то скоро идут. Целых пятнадцать.

Секретарь (со своего места). И не пустые все, Александр Матвеевич, а довольно важные. Тут есть штук пять и на каторгу!

Председатель. Славно, славно! (Подписывая). А что, Жомов не был?

Секретарь. Нет-с, никого не было.

Алексей Александрович. Жомов? Какой это Жомов?

Председатель. А вот вы увидите. Он хотел и сам нынче заехать в присутствие... Отставной полковник; здешней губернии помещик... славное имение у него... (Подписывая). Вчера мы с ним в клубе встретились.

Семен Иванович (переписывая). А что, Александр Матвеевич, как ваши карточные дела?

Председатель. Плохи были, да вот вчера немножко поправились. Сели мы втроем: я, Жомов этот, да прокурор. Копейки по 3... Ну-с, проигрался он на порядках, и мне и Борису Львовичу.

Семен Иванович. Я его что-то не помню.

Председатель. Да и я его почти не знал... Он ведь все в военной службе служил, а с отставки-то все живет в своей деревне. Ну уж малый — разбитной, веселый, нечего сказать! Мы так с Борисом Львовичем и катались со смеху... Бедовый просто, хе, хе, хе! Говорит, что у него дело есть в палате. Петр Ильич, о Жомове есть дело у нас?

Секретарь (привстав). Как же, и очень важное. Он обвиняется в разных преступлениях. (Кричит, отворив немного дверь в канцелярию). Швейкин! Подайте дело о Жомове! Тут три дела соединенных в одно*. Он обвиняется, во-первых, в том, что высек своимн людьми гувернантку, приставленную им же к его детям, да еще вымазал ее купоросным маслом; во-вторых, в том, что засек чуть ли не до смерти крестьянина своего... имени не помню... в третьих, в продаже фальшивых рекрутских квитанций.

Алексей Александрович. Ого, какой гусь! Молодец, хе, хе, хе!

* Истинный факт. Преступление совершенно было в Саратовской губернии, а дело восходило на ревизию I отделения 6 департамента Правительствующего сената в Москве. Оно кончилось ничем.

Председатель. Да так ли это? Мне что-то не верится.... Как же это? Мало ли ведь какие обвинения бывают, нет, это что-то — того... *(Трясет головой)*.

Секретарь. Видно по всему, что крестьянам его плохо. Да вот и дело. *(Швейкин приносит дело и, отдав его секретарю, уходит. Секретарь садится на свое место и просматривает дело)*.

Семен Иванович. По моему мнению, эдакие дворянские дела и до палаты-то доводить не следует. Это бы надо, знаете, порядком домашним, семейным, через предводителя.

Председатель. То-то и есть!.. Ну как же его осудить, ведь, ей богу, совестно, как-то!.. Ведь все же он, как хотите, наш брат дворянин. Ведь для чего-нибудь нас дворяне-то выбрали.

Алексей Александрович. Гм! По моему мнению, тут должны войти другие соображения.

Председатель. Что же, по вашему, какие?

Алексей Александрович. Административные. Да, да, административные. Извольте видеть, если сначала бросить общий взгляд на дело, так выйдет, что оно более или менее касается помещицкой власти.

Председатель. Касается. Касается, Петр Ильич?

Секретарь. Касается.

Алексей Александрович. Касается? Хорошо! Теперь-с, известно вам, что в видах правительства поддерживать власть помещика и звание дворянина? В видах ли?

Председатель. Еще бы — нет! Разумеется!

Алексей Александрович. Ну да, от этого зависит безопасность государства, очень хорошо! Мы с вами — что такое? Разве не правительство?

Семен Иванович. Какое мы правительство? Мы просто судебное место, да и все тут.

Председатель. Нет, нет, Семен Иванович: Алексей Александрович прав. Мы как-то намеренно считались с управляющим палатой государственных имуществ, как же! Выходит, что я чуть ли не четвертое лицо в губернии: первое — губернатор, второе — вице-губернатор, третье...

Алексей Александрович. Совершенно так! Следовательно, я понимаю, мы должны в этом деле руководствоваться более или менее правительственными соображениями, высшими, административными, понимаете?

Семен Иванович. Ну, а насчет гувернантки-то?

Алексей Александрович. Насчет гувернант-

ки?.. Об этом надо подумать... Я подумаю, а может быть, и особое мнение подам.

Семен Иванович. А мне сдается, что в деле с гувернанткой-то замешалось что-нибудь такое, любовное...

Секретарь (*привстав*). Оно так и есть, он мстил ей за то, что она не уступила его требованиям... Да это же было, кажется, причиной наказания крепостного человека, заступившегося за свою жену.

Семен Иванович. Ну, так и есть — мудреное дело, господа: уж где эдакое замешалось, тут и разбирать трудно... По моему мнению, ну, коли вор, знаете, эдакий явный, разбойник, убийца, коли там какой... ну, такого суди!.. А это, что около казны кто поживился, да там эдак с бабой повздорил... тут, ей богу, и судить нечего! Я бы все-таки дело домашним порядком кончал, по-отечески, ей богу!

Председатель. Да и человек-то он, кажется, хороший! Ну как я его обвиню? Совестно как-то!.. Ну, конечно, может, нрав у него горячий. Он же вдов, так по женской части, может того... хе, хе, хе! И слабенец немножко.

Семен Иванович. Ну да что говорить! Он, может быть, там и плут, конечно, да кто же не без слабостей!.. Все мы люди. Ведь коли по душе, по человечеству-то рассуждать...

Алексей Александрович. Вы все свое, Семен Иванович, я уж вам говорил, что по душе — само по себе, а по закону — само по себе.

Семен Иванович. Да ведь эдак и всех нас можно под суд отдать, батюшка Алексей Александрович. Вспомню я свою молодость... Был я заседателем земского суда... то-то весело жили! У нас так все волости и были поделены: у исправника свои, у заседателя свои... Что в каждой волости примерно женского полу, то одного заседателя, что в другой — то мое. Приедешь, бывало, на следствие в волость, так как сыр в масле и катаешься. Сотские уж так дело свое и знают... Ну, конечно, с иной ласкою, а иную и припугнешь.

Председатель. Ха, ха, ха!

Алексей Александрович. Вот погулял-то, так погулял, Семен Иванович! Эдак и нашему брату, офицеру, не всегда удается, ха, ха, ха!

Семен Иванович. Да уж было дело, я вам скажу, хе, хе, хе! (*Махнув рукой, трясет головой*)... Хе, хе, хе!

Председатель. Так как же, господа? Петр Ильич, что вы там высмотрели?

Секретарь (*привстав*). Да нехорошо дело, Александр Матвеевич: хотя он и не сознается, но я со своей стороны не только убежден, но даже нахожу полное основание к положительному обвинению.

Председатель. А доказательства есть?

Секретарь. Да прямых, отдельных доказательств нет, но есть целая совокупность улик и несовершенных доказательств.

Председатель. Э, совокупность улик!.. Это все равно, что ничего! Нет, вы мне подайте собственное сознание, или двух свидетелей... или что там еще? Ну того, что называется прямым доказательством... А без этого и обвинять нельзя.

Алексей Александрович. Отчего же нельзя? Трудно, но можно. Прокурор как-то мне говорил, что с помощью логики всегда можно.

Семен Иванович. Да ведь логика-то, батюшка, у каждого своя. Вот был у нас старик председатель Кубышев, тот, бывало, об этой совокупности и слышать не хотел. Как, говорит, ведь совокупность — это значит, по собственному своему разуму судить... Тут ошибка только — и грех. Оно, бывало, всех в подозрении оставлял.

Секретарь. Осмелю-с доложить, Александр Матвеевич, вы сейчас изволили подписать один приговор на основании этой же совокупности.

Председатель. Как? Какой? Где?

Секретарь. Да о Филиппе Степанове, что корову украл.

Председатель. Ну, вот что еще вздумали, я было испугался!.. Корову!..

Алексей Александрович. Совсем неуместное сравнение.

Семен Иванович. Да, батюшка Петр Ильич, это вы не то говорите, сами посудите: во первых, дело идет о корове.

Алексей Александрович. А во-вторых, это все же мужик. Помилуйте, тут совсем другое соображение.

Председатель. Да, да, не то, совсем не то. Ну, скажите, Петр Ильич, по делу о гувернантке-то какие доказательства?

Секретарь. Во-первых, показания собственных людей.

Председатель. Да вот видите, господа: собственных людей! Как же это мы, так и станем про барина холопу верить?

Алексей Александрович. Гм! Казус, казус!

Семен Иванович. Не знаю, как теперь, а прежде так: закон, помнится мне, строго запрещал принимать их в свидетели.

Секретарь. Да и теперь он допускает их лишь только в случаях, когда нет других свидетелей. Одна беда: показания-то разноречивы. Сначала они показали все в один голос против него, потом, видимо, их Жомов застрашал или подкупил, стали они от своих слов отказываться, но потом опять утвердили прежнее показание, а в уездном суде спять будто бы объявили, что их обвинение ложно. Но это ничего не значит и не ослабляет силы первого показания, тем более...

Председатель. Что вы, что вы, не торопитесь, как ничего не значит? Дело идет о дворянине! Как можно!

Алексей Александрович. Беспристрастно говорю. Петр Ильич, это натяжка.

Секретарь. Какая же натяжка? В первом своем показании они не разноречат друг с другом и говорят согласно с прочими обстоятельствами дела; отрекаясь же от этого показания, они впадают в разноречия, нисколько при том не объясняющие других обстоятельств дела.

Председатель. Не подворянски рассуждаете: стану я крепостных людей слушать!

Секретарь. Но кроме этого есть его письмо к гувернантке. Прутья найдены у него в кабинете...

Председатель. Что ж он сказал про прутья?

Секретарь. Говорит, что прутья у него заготовлены были, чтобы сечь детей и крестьян.

Председатель. Что ж, очень вероятно! Разве он не отец? Разве он крестьянина высечь не может?

Алексей Александрович. Может. Не только может, должен иногда, ей богу, иначе нашего крестьянина и не вразумить. Ведь это народ необразованный. У нас в военной службе каждый командир сечет сколько душе угодно! Нет, тут я юридического ничего не вижу. А что он сказал про записку?

Секретарь. Отрекся.

Председатель. Ну вот видите, отрекся! Помилуйте!..

Секретарь. Но сходство несомненное.

Семен Иванович *(продолжая подписывать)*. А почерки сличали?

Секретарь. Секретари уездных присутственных мест сличали... но просто невероятно, сходства не нашли.

Алексей Александрович *(морща лоб)*. Гм!

Секретарь. Можно будет сделать новое сличение.

Председатель. Что вы, что вы! Стану я делать новое сличение! Ведь эдак я разобиху и уездный суд.

Секретарь. Как угодно-с. Есть еще показание фельдшера, показание крестьянина, слышавшего угрозы Жомова гувернантке.

Председатель. Да это что! Вы сами сказали, что положительных доказательств нет. С его стороны кто свидетели?

Секретарь. Есть один, отставной действительный статский советник Жигулин.

Алексей Александрович. Действительный статский советник? Гм! Это то же, что генерал.

Семен Иванович. Жигулин?.. Знал я одного Жигулина. Вот гуляка-то был, лихой, нечего сказать!

Председатель. Один свидетель, да хорош — генерал! Генерал врать не станет, а коли соврет, значит, уж должно было так соврать, не даром!.. Что ж, мы и генералу не станем верить?.. Ведь генерал двух свидетелей стоит!

Секретарь. Такого закона нет.

Председатель. Быть не может. У меня тесть был генерал, он мне всегда это говорил.

Секретарь. Есть статья 1197 в 15 томе, которая говорит, что при двух противоречащих свидетельствах следует отдавать предпочтение знатному перед незнатным... Но...

Председатель. Ну вот видите! Сами говорите, чего же больше!

Алексей Александрович. Да это ясно... это дисциплина!

Семен Иванович. Да, чай, дворян-то спрашивали, Петр Ильич, на повальном-то обыске?

Председатель. Да, да, вы скажите-ка, что дворяне?

Секретарь. Да что дворяне, Александр Матвеевич, дворяне человека два отозвались незнанием, а другие... *(Прискивает в деле и потом читает)*. Показали... «что Жомов ведет себя как прилично благородному российскому дворянину».

Председатель. Ну и конечно! Я больше и рассуждать не стану. Как же это? Дворяне говорят одно, а мы станем говорить другое?

Семен Иванович. Да, уж это не ловко!

Секретарь. Повальный обыск — не доказательство.

Алексей Александрович. Нет, Петр Ильич, не говорите, это статья важная. Мне ведь все равно, Жомов или кто другой... Но это, это я вам скажу... это...

Семен Иванович (*перебивая*). А что ж уездный суд?

Секретарь. Уездный суд его оправдал.

Председатель и Семен Иванович (*вместе*). Оправдал?

Председатель. Что ж вы этого мне с самого начала не сказали? Я бы и толковать не стал!

Секретарь. Как угодно-с.

Семен Иванович. Ну послушайте, батюшка Петр Ильич, из чего вы хлопчете? Я, ей богу, не понимаю. Вам-то что за дело?! Уездный суд оправдал, дворяне одобрили, доказательств эдаких, знаете, без логики-то, прямых нет... Мы-то из чего будем горячиться?

Председатель. Помилуйте, свой брат дворянин, а я его губить стану!

Семен Иванович. Ну, конечно, что за охота! Вот еще коли может достаться.

Председатель. И достаться не может... Я ведь видел, с ним и губернатор, и прокурор вчера разговаривали. Ничего! Губернатор-то еще и шутил с ним немало. Они там насчет петербургской мадамы какой-то говорили. Смеялись много. Вы ведь знаете, губернатор у нас сам того, не промах! Хе, хе, хе!

Семен Иванович. Достаться не может. Уездный суд оправдал... Чего уж тут! Он, может, и виноват, да черт с ним, нам-то что?

Алексей Александрович (*к секретарю*). А велико дело?

Секретарь. Листов пятьсот.

Алексей Александрович. У!.. (*Свистит*).

Вахрамеев (*кончая писать*). А что, барин-то этот, видно, кулак? Хе, хе, хе!

Семен Иванович. Да что вы вмешиваетесь, Иван Фомич, не ваше дело, о дворянах речь... Вы вот регистр-то пишете.

Вахрамеев. Известно не мое... я так только... к слову... (*Встает, складывает очки, подходит к стенным часам, переходит к шкафу, потом к окошку*).

Председатель. Вы говорите, Семен Иванович, черт с ним! А я и этого не скажу. Ведь приговорить-то к тяжкому наказанию, да еще дворянина... это... это просто рука не подымается... А он еще и знакомый человек, и полковник, и такой приятный...

Секретарь. Нет, разумеется, идти против него, не из чего, мне же лучше, не пойдет дело в сенат, так и хлопот меньше... я так только, для справедливости.

Алексей Александрович. Для справедливости? Что ж вы думаете, вы одни только понимаете справедливость, а мы несправедливы?.. Нет, господа (*встает*), видите ли что! Я не то, чтобы вполне был согласен с вами, Александр Матвеевич, или с вами, Семен Иванович, однако же не могу не взять во внимание, во-первых, то, что на это дело следует смотреть с высшей точки. Тут, по моему мнению, главную роль играют соображения административные... Ну, и второе — мнение дворян, конечно. Все-таки наше сословие — высшее сословие!.. Нельзя не уважать... может быть, он и виноват, но мы ведь судим по законам. Если положительных доказательств не имеется, коли юридических, заметьте, господа, юридических доказательств нет, так если бы мы хотели обвинить его, так не можем. Так ли? Не можем! Хорошо, вы скажете — совокупность. Конечно, совокупность, я согласен, может, по совокупности и можно... но ведь совокупность совокупности рознь... Да и позвольте, господа, какая же тут совокупность, коли в его пользу показывает действительный статский советник, лицо почетное, лицо, как ни говорите, все-таки облеченное правительством в сане генерала? Следовательно, мое мнение то, чтоб руководствоваться точным смыслом закона, а не то, что говорит Семен Иванович, что надо судить по человечеству, или вы, Александр Матвеевич, что рука не подымается... Не то! Где нужно карать, там уж рука судьи должна подыматься! Непременно должна! Но здесь есть другие основания... Не так ли, господа? Я, конечно, мог бы подать особое мнение, а может быть, его и подам, это для меня не затруднительно, но я не хотел бы отделяться от своих сочленов... Я держусь только такого мнения, что уж если оправдать Жомова, так сделать это, знаете, юридически, чтобы все было прописано в решении: и законы, и общий взгляд, и административные соображения, и... и... и... ну и все...

Председатель. Дельно! Все дельно, Семен Иванович?

Семен Иванович. Да уж это там пусть секретарь напишет, ему и книги в руки...

Вахрамеев (*смотря в окно*). Вот, кажется, его пресвосходительство едет. (*Все бросаются к окну*).

Председатель. Губернатор?.. Он, он, точно — он... Куда бы это?

Семен Иванович. Не один, дама с ним какая-то.

Вахрамеев. Это, должно быть, они супругу свою катают.

Алексей Александрович. Да, да, это губернаторша... какой салон богатый!

Председатель. Это, должно быть, они в приют сдут. Ведь это, знаете, по дамской части. А каковы рысак-ки-то *(все возвращаются на свои места)*... и кучер какой знатный!.. Ведь это я его губернатору-то рекомендовал. Возьмите, говорю, ваше превосходительство, кучера Илью, под статью, говорю, будет вашим коням!.. Ах, боже ты мой милостливый, приговоры-то у меня еще не подписаны! *(Принимается подписывать. Вахрамеев кланяется кому-то в окошко, делает знаки и незаметно уходит)*.

ЯВЛЕНИЕ 15

Те же без Вахрамеева.

Алексей Александрович *(подписывая журнал)*. Что, губернатор будет нынче у Варвары Петровны?

Председатель. Непременно будет. И губернаторша будет... А уж завтрак какой Варвара Петровна приготовила. Я вам скажу!

Алексей Александрович. Значит, grand déjeuner?

Председатель. Да уж такой, что после него хоть и не обедай!.. Это все я устраивал... я к ней и клубного повара Степана отправил, сам горшки с цветами расставлял. Хлопот-таки было немало. Вот нынче: как ехал сюда в палату, так засжал и на кухню к ней, взглянуть, свежую ли стерлядь купили! Нельзя! Просить! Дело ее дамское. Это что у вас, Петр Ильич, на полях-то карандашом выставлено? 10 или 20 ударов?

Секретарь *(привстав)*. О ком, позволите узнать?

Председатель *(читая)*. Да... о Егорове. Так мне что писать?

Секретарь. 20, 20...

Председатель. Уж вы, пожалуйста, мне все это карандашом пояснееставляйте, никак не разберешь*. *(Подписывает, Алексей Александрович толкает ногой Семена Ивановича)*.

Семен Иванович. А что, Александр Матвеевич, не нужно ли ее превосходительству палату представить? Прежде у нас так водилось.

* Необходимо знать, что число ударов, лет содержания и пр. выставляется в приговорах рукою председателя.

Председатель. Я уж думал, да губернатор говорит, что теперь, мол, это не принято. Ну, а я все-таки себе на уме, познакомился-таки с ней по своему, хе, хе, хе!

Алексей Александрович. Позвольте спросить, это интересно.

Председатель. Да вот как... как на днях было молебствие в соборе, по случаю приращения к царской фамилии, — так я из собора-то и заехал к губернатору как был, в мундире, и штаны белые, суконные надел, с лампасами-то... Так, знаете, заехал, будто бы для того, чтоб о театре доложить...

Семен Иванович. Да что ж о театре-то?

Председатель. Как что? Губернатору-то хочется театр здесь получше устроить; откупщик по его приказанию и капитал ему на это пожертвовал... Губернатор тогда еще и пристал ко мне в клубе, возьмитесь, говорит, заведывать хозяйственной частью... я было отнекивался, куда — пристал, тормозит, возьмите, говорит, да и полно! Ну, нечего делать — взял. А хлопот немало! Я вот нынче все утро румяна для актрис экономическим способом закупал... оттого и опоздал... Тут, Петр Ильич, что по делу мешанки Наливкиной? Что поставить, плети или розги?

Секретарь. Плетью, тридцати ударами.

Председатель. Ну, плетьюми так плетьюми. (*Подписывает*).

Семен Иванович. Это значит, почти втрое. Мне намеренсь экзекутор в губернском правлении новые плети показывал... треххвостые!

Председатель. Так оно выходит тридцать на серебро, ха, ха, ха! (*Все смеются*).

Алексей Александрович. Жаль, немножко не выходит, меньше немножко, а то почти так!

Председатель (*подписывая*). Да, так вот, сижу я у губернатора и говорю, что, ес превосходительство, чай, очень с дороги устать изволили? А он: нет, говорит, ничсго, пойдемте, я вас представлю. А я то, понимаете, так это нарочно и подвел, и штаны-то белые с умыслом надел, хе, хе, хе! Ведь думаю, скажут ей: председатель Уголовной палаты, она и не поймет сразу, подумает — все равно, что уездный суд. А как белые-то, белые увидит, так и сообразит, что место-то генеральское!

Алексей Александрович. Да она, может быть, и не заметила.

Председатель (*машет рукою*). Заметила, заметила!.. Глаза у нсе такие быстрые, так разом человека с ног

до головы и оглядит. У меня ноги не спички какие-нибудь, не Семен Ивановичевым чета, хе, хе, хе!

Семен Иванович. На высоких-то ногах штаны виднее, Алексей Матвеевич, у мепя даром что худы, зато длинные, хе, хе! *(Вытягивает ногу. Александр Матвеевич вытягивает свою, Алексей Александрович также окидывает глазами свои ноги).*

ЯВЛЕНИЕ 16

Те же и Вахмистр

Вахмистр. Ваше высокородие! Конвойные солдаты спрашивают: арестантам дожидаться прикажете, или отпустить изволите?

Председатель. Дождаться, разумеется, дожидаться. *(Вахмистр уходит).*

ЯВЛЕНИЕ 17

Те же без Вахмистра.

Алексей Александрович. Ну, что, губернаторша любезна была с вами?

Председатель. Очень, очень любезна! Я говорю: как вам, ваше превосходительство, наш город нравится? Очень, говорит, нравится.

Алексей Александрович. Столичная учтивость, не больше! Может быть, про себя-то она другое говорит. Впрочем, я ее вовсе не знаю. Гм! Гм!

Семен Иванович. Ну вот нынче познакомитесь у Варвары Петровны... Александр Матвеевич, вы бы молодого-то человека губернаторше представили... он ей и для балов-то пригодится...

Председатель. И прекрасно! Непременно представлю...

Алексей Александрович. Нет, зачем! Она, может быть, совсем этого и не хочет. Зачем навязываться! Я без нее обойдусь...

Председатель. Вот еще какой гордый! Ведь она все-таки губернаторша! Не ей вас отыскивать...

Алексей Александрович. Да может быть, это ей будет неприятно?.. Впрочем, пожалуй!.. *(После некоторого молчания)*... Так мы вместе к Варваре Петровне и поедем.

Председатель. И прекрасно: я и лошадей-то до-мой не отпустил.

Алексей Александрович *(смотрит на часы)*. Если уж так, ведь скоро нам будет и собираться.

Председатель. Нет, еще рано!.. Ну, Петр Ильич, возьмите ваши приговоры, я их все подписал. *(Секретарь подходит к столу и собирает подписанные бумаги. Алексей Александрович встает и начинает ходить по комнате, напе-вая про себя вполголоса: тпра, тпра, тпра, тпру)*.

Председатель. Да, совсем из головы вон! Проси-ла меня Аделаида Никифоровна о какой-то бабе ее, су-димой...

Секретарь. За покушение на самоубийство.

Председатель. Да, просит помиловать.

Семен Иванович *(кладя перо и зевая)*. Помило-вать всегда можно!

Председатель. А в чем дело-то, я не знаю. Оче-щаль справится. Вот вы мне расскажите, Петр Ильич, а то коли я с ней нынче у Варвары Петровны встречусь, и дела знать не буду, так она мне прохода не даст.

Секретарь. Да дело-то очень просто. Эта молодая бабенка была в связи с одним соседним дворовым челове-ком... муж и застал ее на месте преступления.

Алексей Александрович. Это интересно. *(Ос-танавливается и слушает)*.

Секретарь. Баба, разумеется, совсем повинилась, но со стыда и с горя, особенно, как она показывает, потому что муж не только ее не побил, но даже и не ругнул ни разу, а обошелся с ней кротко и ласково, и утопилась было.

Алексей Александрович. Вот странно! Отчего тут было ей покушаться на жизнь?

Секретарь. Она говорит, что ей от этого ласкового обращения сделалось еще совестнее, а муж объяснил, что видел, как она и без того мучится, а потому уже и не ругал.

Алексей Александрович. Странно! Ну-с?

Секретарь. Она и бросилась в реку, но ее увидели, и хотя с трудом, однако ж вытащили. Ее надо освободить. *(Писец из канцелярии говорит, полурастворив дверь: «Петр Ильич, пожалуйста, от губернатора пришли»)*.

Секретарь. Сейчас.

Алексей Александрович. Вас зовут! Ступайте, мы сами решим, вы нам укажите только законы.

Секретарь. Позвольте... Вот тут уложение: 1943 ста-тья в пятнадцатом томе. *(Уходит)*.

ЯВЛЕНИЕ 18

Те же без секретаря.

Председатель. Да что тут решать, коли говорит, надо освободить. Мне хотелось только знать.

Алексей Александрович. Еще лучше, Александр Матвеевич, рассудите дело: во-первых, это роман, во-вторых, может быть, придется толковать о нем у Варвары Петровны. Ведь посмотрите (*читает в уложении*) мм... мм... «если кто покусился на жизнь из великодушного патриотизма» — это не идет. «Из болезни»... Гм! Тоже не идет! Я помню, что секретарь мне как-то вычитывал обстоятельства, смягчающие вину.

Председатель. Да вы посмотрите в оглавлении.

Алексей Александрович. В оглавлении? (*Читая*). Мм... мм...

Семен Иванович. Тут бы, кажется, и судить нечего. Бог простил, не утонула!..

Алексей Александрович. Вы опять, Семен Иванович, свое! Говорил я вам: бог сам по себе, а уголовные законы — сами по себе. Мы — юристы, поймите это, мы — юристы. (*Смотрит в книгу*). Нашел, нашел: «по глупости и крайнему невежеству»... как раз подходит.

Семен Иванович. А, знаю! Это всегда вот как пишется: «по глупости, простоте, и невежеству, свойственным крестьянскому быту».

Председатель. А бабе — в особенности.

Алексей Александрович. А бабе — в особенности! Совершенно справедливо.

ЯВЛЕНИЕ 19

Те же и секретарь (с бумагою в руке).

Алексей Александрович. Петр Ильич, мы ршили. Освободить ее вот по этой статье. (*Указывает ему статью*).

Секретарь. Слушаю... да ее и без этой статьи освободить можно, ей следует только церковное покаянис.

Алексей Александрович. Как церковное покаянис? Там сказано — в случае болззни.

Секретарь. Там, может быть, несколько неясно сказано, но в случае покушения от болззни, нет даже и покаяния церковного.

Алексей Александрович. Так, так, точно... Помню, там немножко неясно...

Секретарь. Вот, Александр Матвеевич, его превосходительство, губернатор прислал приговор по делу купца Панкрашова. Он его не утверждает, а просит его переменить*.

Председатель. Да, да, он мне вчера об этом в клубе говорил. Прокурор согласен... Вы говорят, его слишком слабо присудили, Петр Ильич.

Секретарь. К заключению в тюрьме на шесть месяцев, чего же больше, Александр Матвеевич?.. Он и без того уже два года сидит в тюрьме. Его посадили при самом начале следствия.

Председатель. Губернатору хочется, чтобы по крайней мере на год, дела-то в сенат, по несогласию с нами, переносить он не желает, так и просит меня переделать решение так, между нами, домашним порядком.

Секретарь. Трудно, Александр Матвеевич.

Председатель. Ну уж постарайтесь!.. Нельзя же не сделать угодное его превосходительству, дайте-ка сюда приговор... *(Берет приговор, вырывает из него лоскуток бумаги и рвет его на части, потом передает его Семену Ивановичу и Алексею Александровичу, которые делают то же)*. Господа, не угодно ли уничтожить свои подписи, Семен Иванович, Алексей Александрович?

Алексей Александрович. Пожалуй, пожалуй! Несколько лишних месяцев еще не беда... Конечно, я мог бы не согласиться, ну да не стоит! Лучше уж, по моему мнению, при каком-нибудь, знаете, важном случае поупорствовать, а тут...

Семен Иванович. И спорить не стоит!

Секретарь *(пожимая плечами)*. Для нас-то оно лучше... Не пойдет дело в сенат, меньше хлопот, а теперь-то и без того работы много, время уже позднее...

Председатель. В самом деле, позднее! Ведь год-то на исходе!.. Надо об отчетах подумать, господа. Ведь вот третьего и прошлого года у нас итоги были чисты. Ни одного дела нерешенного за палатой не осталось. Мило было глядеть!.. Да уж и губернатор-то меня как благодарил!

Алексей Александрович. А сколько в прошлом году было у нас дел?

Секретарь. Пятьсот девяносто семь.

* Приговоры уголовных палат поступают все на утверждение к губернатору, который, если не согласен с приговорами, представляет дело с решением палаты и со своим мнением в сенат. Решение палаты по подписании приговора изменено членами быть не может.

Председатель. Слышите, пятьсот девяносто семь с одним секретарем, тогда как почти везде по два. Зато ведь (*улыбаясь и потирая руки*), говорят, мы у министра на отличном счету.

Алексей Александрович. Иначе и быть не должно! Вы-то сообразите, ведь в самом деле, почти никогда не манкируем, сидишь по несколько часов, воротишься домой просто измученный!

Председатель. Ох! Хорошо бы, знаете, коли в нынешнем-то году набралось бы дел еще побольше, и все были бы решены! А? То-то бы славно!

Секретарь. Нынче, я думаю, у нас будет до шестисот пятидесяти.

Председатель. Э, право! И много ли нерешенных-то?

Секретарь. Еще дел с сотню осталось.

Председатель. Что вы говорите, Петр Ильич, с целую сотню? Да когда же это вы успеете?

Секретарь. Как-нибудь да очистим! Я и сам знаю, что без этого нельзя. Министерство закидает запросами, так что и не отделаешься! Вот извольте посмотреть, я составил роспис нерешенным делам. (*Берет со своего стола бумагу и подает ее председателю*). Вот, если вам угодно будет мне разрешить... Извольте видеть... вот эти двадцать дел об утопившихся, удавившихся, повесившихся, о нечаянных пожарах и других происшествиях, в которых виновных не открыто. Прикажете предать их, по обыкновению, суду и воле божьей?

Председатель. Предать, предать, непременно предать.

Секретарь. Слушаюсь. Они не составят затруднения, по ним резолюции и столоначальники напишут. Вот еще пятнадцать дел о бродягах и непомнящих родства. Тут резолюция известная, 1178 статья.

Алексей Александрович. Что ж такое?

Секретарь. Да их следует наказывать розгами от тридцати до сорока ударов и отдать в арестантские роты на срок от десяти до двенадцати лет, а женщин в рабочие дома от пятнадцати до восемнадцати лет. Так прикажете по 1178 статье?

Председатель. По 1178... Валяйте, с богом!

Секретарь. Вот еще дел с шестнадцать или восемнадцать очень крупных... Лежали они у нас, лежали, да никак не успели ими заняться.

Семен Иванович. Да что с ними церемониться! К доследованию их!

Председатель. Разумеется, к доследованию. К справкам.

Алексей Александрович. Если можно доследовать, так доследовать.

Секретарь. Доследовать-то можно... по крайней мере за нами числиться не будет... Вот еще два дела: первое об убийстве мешанина Семенова, а другое по жалобе крестьянина князя Куталина на управляющего — в тысячу листов. Уж я не знаю, как с ним и быть. Первое-то дело тянется уже пять лет, тут есть арестанты и арестантки, давно сидят, нечего сказать! Ну, а по другому арестованных нет. Мы уж эти дела два раза обращали к доследованию, что уж делать? Как нарочно поступят в конце года...

Председатель. Нельзя ли опять к доследованию?

Секретарь. Нет, уж теперь нельзя! Хотел было целиком пустить в решение мнение уездного суда, да невозможно, так плохо, что ничего не поймешь! Вот, если дозволите, можно будет придраться к тому, что в одном деле нет всех скреп по листам, а в другом, как я успел заметить, не все бумаги подписаны депутатом коннозаводского ведомства...

Председатель. Чего же лучше? Придирайтесь к чему хотите, чтобы только дело за нами не считалось.

Семен Иванович. Да вы смотрите, отошлите их в уездный суд для исправления попозже, а то ведь он, бестия, пожалуй исправит и воротит их до окончания года.

Секретарь. Слушаюсь, ну вот это дело об унтер-офицерском сыне Маркотине, слава богу, меня теперь уже не беспокоит... А преогромное дело! Да, к счастью нашему, умер... есть донесение.

Председатель. И прекрасно!

Алексей Александрович. И лучше выдумать не мог, как говорит Пушкин.

Секретарь. Вот эти дела пойдут на заключение палаты государственных имуществ. Эти дела — сколько их?.. Раз, два, три... всего восемь, я кончу на днях. Ну, а с остальными как-нибудь справлюсь.

Председатель. То-то же, Петр Ильич, пожалуйста! Ну, сколько на нынешний день вы запишете решенных нами дел?

Секретарь. Дел-с с двенадцать. Да вот что, Александр Матвеевич, вам известно, что теперь и нижние инстанции из кожи лезут, чтобы очистить и спихнуть нам на ревизию свои дела... Так разве по примеру прошлого года?

Председатель. По примеру прошлого года? Непременно! Скажите регистратору, чтобы с пятнадцатого

числа поступления в палату дел в книгу не записывал, а складывал бы их там, в особом шкапу.

Семен Иванович. Уж лучше бы с десятого декабря, Александр Матвеевич: у нас, бывало, председатель Жолобов с десятого декабря прекращал записку.

Председатель. Раненько, Семен Иванович, нехорошо. Мне и прокурор говорил... Нет уж — с пятнадцатого.

Секретарь. Слушаюсь.

Алексей Александрович. Да ведь как же это? Ведь их там из уездного суда выключают, а у нас не запишут, где же они числиться-то будут?

Семен Иванович. Хе, хе!.. Да так — между небом и землей. Вы еще этого порядка не знаете. Так, батюшка мой, везде водится, и в сенате даже!

Алексей Александрович. Да как бы за это не отвечать!

Семен Иванович. Эх вы, неопытность! Ну кому до этого дело! Эдак-то лучше, и начальству приятно, и убытка никому нет. Месяцем раньше, месяцем позже, не беда! Зато уж всякий номер очищен.

Алексей Александрович. Ну да, конечно, для рспутации палаты, я согласен.

Председатель. Нет, это все хорошо, Петр Ильич. Старайтесь, молодой человек, старайтесь! Начальство увидит ваше усердие и...

ЯВЛЕНИЕ 20

Входит Вахрамеев.

Семен Иванович. Да это где, Иван Фомич, пропадали? Вот поди с ним! Ему бы докладной переписывать, а он себе, верно, чаек в трактире распивает.

Вахрамеев. Хе, хе, хе! Нет-с, я так, человекка одного нужного в окошко увидел, так поговорить это надо было... Ведь нельзя же, Семен Иванович, дело-то наше торговос. *(Садится на свое место).*

Председатель. Говорили вчера в клубе, что нам новые штаты вышли.

Семен Иванович. Да уж об этом лет сорок говорят.

Алексей Александрович. А пора, давно пора! Я просто не понимаю, как это у нас юстицию, статью-таки довольно важную, совсем в черном теле держат. Ну, что это за жалованье! Ну хоть бы мое! Просто смех! Да и ваше, Александр Матвеевич, тоже!

Председатель. Да ведь как обидно-то! Посмотрите-ка, что это за штаты у Казенной палаты да у Государственной. Один председатель сколько получает!.. А уж о косвенных доходах и не говорю... Нет, жалованьем-то, жалованьем!.. Ну, что станем делать? Чем же наша палата, спрашивается, хуже других?

Семен Иванович. Не хуже! Ничем не хуже!

Алексей Александрович. Какое — хуже! Помилуйте — важнее, во сто раз важнее! Ведь тут какие все дела: о жизни да о чести. Ведь тут все-таки на душу берешь! И за это все-таки жалованье, что просто иной раз и совестно сказать!

Председатель (*вздыхая*). Хотя бы господь бог помог по представлениям-то что-нибудь получить! О себе я и не говорю... обо мне, я знаю, губернатор-таки и похлопочет... а о вас, господа, я уже готовлю представленис. (*Все, кроме Вахрамеева, кланяются*).

Председатель. Вас, я думаю, Семен Иванович, лучше к чину?

Семен Иванович. К чину — так к чину! Дадут — хорошо. Нет — я и так проживу. Что мне! Я уже старик, мужики-то меня и без чина слушать будут... хе, хе, хе!

Председатель. А вам, Алкссей Александрович, вы человек молодой — вам, я думаю, орденюк лестнее будет?.. Я вас к орденю представлю.

Алексей Александрович (*с чувством*). Не дадут, Александр Матвеевич, чувствую, что не дадут! Мне уж такое несчастье на роду написано. Сколько раз, бывало, представляли, то формуляр не по форме, то представление опоздает.

Председатель. Ну, может, на этот раз и удастся.

Алексей Александрович. Дай бог! Премного вам благодарен, Александр Матвеевич. (*К секретарю*). Вы уж сделайте милость, Петр Ильич, наблюдайте, чтобы все было в исправности.

Секретарь. Будьте покойны-с.

Вахрамеев. Вот вы, Александр Матвеевич, извольте говорить, что жалованье вам недостаточно... Да уж вас за это, за труды-то ваши государь по крайности жалует, когда чином, когда и крестом. А нашему-то брату, хоть весь век служи, — отличий никаких нету.

Алексей Александрович. Вы зато из чести и служите, ха, ха, ха!

Вахрамеев. Да что в ней, в чести-то, только один убыток. Мне бы вот теперь в лавке сидеть, ан нет, ступай в палату. Хоть бы медальку-то по крайности повесили.

Семен Иванович. Да за что вам давать-то? У вас докладной регистр словно рак ползет. Хоть бы примерно пожертвовали что-нибудь.

Председатель. Да, да, вот ты сначала пожертвуй, Иван Фомич!

Вахрамеев. Да мы и то жертвуем. Вот, не угодно ли взглянуть, Александр Матвеевич, *(Вынимает из-за пазухи бумаги)*. Это у меня счетец так примерный сделан, что с нас на разные-то пожертвования-то пошло.

Председатель. Да и глядеть нечего — все по мелочи.

Вахрамеев. Не все по мелочи, Александр Матвеевич, вот мы на церковную ограду к Николе и на священство разом тысячу рублей отдали. Преосвященный, это, уж как благодарил! И на синод представил... А синод-то — что с ним станешь делать! Одно благословление прислал. Оно, конечно, и благословленье хорошо, да ведь его на шею не повесишь, благословенье-то! Вот Фалееву-то другая медаль вышла.

Председатель. Я тебе, Иван Фомич, хоть бы три медали повесил, да сам знаешь, не за что! Ты пожертвуй эдак покрупнее да повиднее... ну, до трех тысяч рублей примерно, хоть на устройство присутственных мест... Будет тебе медаль.

Вахрамеев. Больно дорого станет, Александр Матвеевич! Оно еще можно бы пожертвовать, коли бы уж это наверное знать-то.

Председатель. Ну, как хочешь.

Алексей Александрович *(подойдя между тем к окошку)*. Кто-то подъехал. Фу, какой конь богатый!

Вахрамеев. Да вы мне уж позвольте, Александр Матвеевич, к вам в воскресенье-то зайти. Может, вы что и уступите.

Председатель. Заходи, пожалуй.

ЯВЛЕНИЕ 21

Те же и Вахмистр.

Вахмистр. Полковник Жомов.

Председатель. Проси, проси! *(Все усаживаются. Вахрамеев берет газеты и в продолжение следующей сцены за чтением их засыпает. Вахмистр уходит и через минуту бежит назад и растворяет дверь)*.

ЯВЛЕНИЕ 22

Те же и Жомов.

Жомов (*быстро подходя к председателю и пожимая ему руку, громко*). Александр Матвеевич, Александр Матвеевич, имею честь кланяться!

Председатель. Здравствуйте, Илья Андреевич, здравствуйте, мы уже с вами люди знакомые, садитесь, прошу покорно...

Жомов (*обращаясь к Семену Ивановичу*). Семену Ивановичу мое почтение! Имею честь рекомендоваться: по милости царской сын боярский, ха, ха, ха! Илья Андреев Жомов, отставной полковник, здешней губернии помещик.

Семен Иванович (*раскланиваясь*). Слышал, слышал-с.

Жомов (*обращаясь к Алексею Александровичу*). Monsieur Жабин, j'al l'honneur...

Алексей Александрович (*торопливо пожимая ему руку*). Charmé! (*Семену Ивановичу тихо*). Эге, да он и по-французски!.. Молодец!

Председатель. Прошу покорно, без церемоний: садитесь, вот тут на кресло. (*Сажает подле себя на углу стола*).

Жомов (*садясь и осматриваясь кругом*). Да вы это, господа, в палате, что ли, сидите, ха, ха, ха!

Председатель. А что?

Жомов. Да здесь просто барская гостинная, а не палата!.. Какая тут палата. Вы меня извините: я человек военный, у меня, что в мыслях, то и на языке, ха, ха! Я вам по правде признаюсь, господа, я ведь полагал, что здесь такой же, с позволенья сказать, хе, хе, хе, такой же коровий хлев, как и в нашем уездном суде, хе, хе — ей богу!

Семен Иванович. Это все у нас стараньем Александра Матвеевича.

Председатель (*скромно*). Нет, отчего же... я так только, признаться, нечистоты не люблю.

Жомов. Да вы не скромничайте, Александр Матвеевич, дело-то ведь на виду... А вам за то и спасибо, премного спасибо! Оно у вас и под судом-то веселее быть, ей богу! Вот и зеркало-то есть. (*Заглядывает в зеркало*). Есть где подсудимому и в зеркальце посмотреться... ха, ха, ха! (*Все громко смеются*).

Жомов. Да-с, вот оно как, Александр Матвеевич, как подсудимый являюсь я к вам, как подсудимый-с!.. И полковник я, и помещик я, а подсудимый! Хе, хе, хе! Даже смешно, ей богу!

Председатель. Да мы вот сейчас об вашем деле имели рассуждения.

Жомов. Да мне ведь только и утешения, что на благородных людей напал! Ну, думаю, пошло дело в палату, слава тебе господи, немного уж там возьмут мои злодеи-то!.. Тут ведь, думаю, столбовые дворяне сидят, не на ваш подлый аршин меряют. Ведь вот, господа, вы теперь и сами видите, дело-то ведь выеденного яйца не стоит, а вон на какую гору раздули!.. Да уж коли отдали нашего брата помещика к этим станovým приставам под начало, так уж тут чего ждать! Всех помещиков переведут, право!

Семен Иванович. Да, уж это народ бедовый.

Жомов. Ведь, коли по правде, вам сказать, господа, так по откровенности-то ведь, это все от пристава и дело-то началось. Разозлился, бестия, что я ему мало плачу — изволите видеть, да еще с бабами моими шашни завел, каналья! Ну, знаете, как дело-то началось, я ему эдак, понимаете, попросту, по-свойски-то и говорю: что ты там мутишь, чернильная ты душа, я тебя не боюсь, я перед богом и государем ни в чем не согрешил... Вот тебе — и не боюсь! Вот он и настряпал дело! Дайте, говорит, пятьсот рублей, я дело улажу.

Председатель. Ах он, бестия!

Жомов. Меня, знаете, это и взорвало. Не дам, говорю, тебе, каналья, не дам ни полушки! Мне не пятьсот рублей жаль — тысячу, две, десять раздам, коли нужно, но не тебе, червяку, а тем, кто почище да повыше. Да уж видно (*вздыхая*) надо было ему заплатить, нечего делать.

Председатель. Нет, нет, зачем!.. Будто уже и управы нет. Вот мы и нынче говорили... Вот не знаю только, как это обстоятельство насчет гувернантки-то?

Жомов. Что, насчет гувернантки? Да я тут хоть перед царя на суд пойду! Да я и вам, господа, откроюсь, таить не стану. Сами изволите видеть, человек я военный, правду-матку люблю. Взял, точно, взял я к себе гувернантку к детям. Сироты, знаете, матери нет, человек-то я вдовый. Ну-с, гувернантка-то из воспитательного дома, русская... девка, я вам скажу, такая крупная, бойкая... (*Все, кроме Вахрамеева*) Хе, хе, хе!

Жомов (*продолжая*). Юлит, бестия, так около меня, тут прошмыгнет, там прошмыгнет... Ну я, нечего греха таить, хе, хе!.. — по нашему, по-кавалерийскому и того... хе, хе, хе!.. Что ж, виноват, что ли, я? Судить меня разве за это, что ли?

Председатель. За это как можно? Это дело не такое...

Жомов. Нет, вы мне скажите, судить меня разве за это, что ли? А вот вы, Алексей Александрович, сами недавно из военной службы-то вышли... Ну-ка, батюшка, признайтесь, что вы много ли бабам-то спуску давали? А? Чай ни одна не отвертелась, по лицу вижу... хе, хе, хе! (Все). Ха, ха, ха!

Алексей Александрович. Ха, ха! Ну, конечно, не без того. Уж точно, бывало, не попадайся -- ха, ха!

Семен Иванович. Да, Алексей Александрович у нас хóдок.

Жомов. А вы, Семен Иванович, не хóдок, что ли? Знаем мы вас! Мне Жигулин-то все рассказывал, как вы с ним погуливали! Хе, хе, хе!

Семен Иванович. Хе, хе, хе! Да с вами беда, ей богу! А что Жигулин, здравствует себе? Ничего?

Жомов. Ничего, слава богу, приятель. мне сердечный! Да уж и человек-то какой! Поверите ль, он до сих пор супругу вашу поминает. Что, говорит, за барыня такая была!

Алексей Александрович. Как же, я сам помню Марью Осиповну, правда, я был мал тогда, но все-таки помню.

Семен Иванович (помолчав). Да, господа, могу похвастаться (с чувством)... да и не находятся уже, кажется, такие.

Председатель. Не имел чести знать.

Семен Иванович (с возрастающим жаром). Я вам вот что скажу, Александр Матвеевич, я так ее любил, что вот теперь восемнадцать лет прошло, как она умерла-то, без слез и вспомнить не могу (задумывается). А какого нрава-то была — ангел! Ни дать, ни взять — ангел! Надо вам сказать, господа, что я-таки довольно долго ее добивался... был там у нее другой на примете... да тот как-то ее там и обманул... Она и пошла за меня... Ну, а отец-то ее меня как родного сына любил... Да недолго только прожила со мною, голубушка, всего четыре годочка. (Утирает слезы и дрожащим голосом). А я и теперь все ее вещи свято берегу... все, что только завещала покойница, все выполнил, ничего не забыл... я просто, я уже и не знаю... как я ее любил!.. Поверите, Александр Матвеевич, уж коли эдак по душе-то раскрываться-то, поверьте, то, как пришлось мнe, знаете, взять к себе — того... понимаете... по немощи-то человеческой... я крестницу ее выбрал, девушку-мещанку!.. По крайней мере, всякий раз вспомнишь ее, мою голубушку! (Плачет).

Жомов (утирая глаза кулаком). Разжалобили вы меня совсем, Семен Иванович, я и сам вдовец! (Жмет ему руку).

Семен Иванович. Так, батюшка, так, одно горе терпим. (Несколько минут молчание).

Председатель. Так как же, Илья Андреевич, вы начали говорить...

Жомов. Да-с, насчет гувернантки-то, хе, хе, хе! Вот я с нею и того... месяц, другой, третий... ну и будет! Надоела бестия, бесстыжа больно. Я, знаете, эдак по простодушеству своему думал, тем дело и кончилось... Куда — она, извольте видеть, вообразила, что барин, дескать, на ней женится, ха, ха, ха,! Как не так! Не на того напала! Я же, знаете, тут немножко эдак соседкой своей занялся, хе, хе, хе! Вот она и разозлилась и свела интригу с канальей становым, ну, и придумали вместе, как бы, знаете, деньжонок, из меня повытянуть. Растрвила, мерзкая, себе спину, да и пустила слух по околотку, будто я ее высек, извольте видеть.

Председатель. Скажите как!

Алексей Александрович. Это уж просто адский умысел.

Жомов. Подлинно адский, справедливо изволили заметить.

Семен Иванович. Да что ж, лекарь-то на теле знаки свидетельствовал?

Жомов. Свидетельствовал: так себе, ничего, пустяки, дрянь! Это, она говорит, оттого, что уже зажило, я, говорит, после сечения три недели в постели лежала!.. Нет уж, коли бы я вздумал ее высечь, так у меня бы, я доложу, и в шесть месяцев бы не зажило, ха, ха, ха! И людей моих, было, совсем с толку сбילה: они от страха сначала в угоду становому и показали, да потом опомнились, греха побоялись.

Председатель. Ну вот, скажите, какие случаи-то бывают!

Жомов. Мало того, Александр Матвеевич, это что! Они вздумали, что я ее и купоросным маслом обмазал. Сама как-то облилась тварь эдакая, распутная, да уж заодно и всклепала на меня. Записки там какие-то там мои любовные нашли... Точно, я писал, лгать не стану, ну а на допросе отрекся. И Жигулин говорит: отрекись, пуще запутаешься. (Понижает голос). Это я так, только вам открываюсь, господа. Я и в связях-то с ней не признался... чего доброго, думаю, пожалуй еще публичному покаянию предадут — право! Это, господа, я так, между нами, по

душе говорю! Сами видите, каков я. (*Раздвигая ладони*). Весь тут. Хотите меня за это простосердечие-то казнить, так казните — в вашей воле.

Алексей Александрович. Нет, нет, помилуйте: мы очень ценим вашу откровенность, ваш характер.

Председатель. Ценим, ценим, будьте уверены.

Жомов. То-то, господа! А я себе своим характером сколько врагов-то нажил! Ну да не могу! Что прикажете делать: уж, видно, таким и останусь. Вот выдумали еще, что я Антошку своего заporол, за то, дескать, что он меня к жене своей не подпустил... ха, ха, ха! Очень мне нужно, жену-то его! Бабенка-то совсем скверная, смотреть не на что! Будто мне уж и взять-то неоткуда. У меня, слава богу, и получше ее есть. Антошку я выпорол точно за то, что на барщину не пришел. Выпорол да и пожаловал: я его теперь из крестьян к себе в конюшню приставил... (*С жаром*). Что же, и за это судить меня? Мне мужика и выпороть нельзя, что ли? Мне своего холопа и побить нельзя?

Председатель. Как можно: это право вы всегда имеете.

Жомов (*не слушая, с жаром*). Нет, вы скажите, властен я, что ли, над своим мужиком, или нет, а?.. Барин я, или нет? Помилуйте, что это такое? Как, я двадцать лет служил царю и отечеству верой и правдой, а тут уж и холопа тронуть не смей! Да это, я это и не знаю — что! Это светопреставление просто! Вы меня извините, господа, а уж этого я стерпеть не в силах! Умирать стану, а говорить буду! Может быть, нынче уж так меж дворянами повелось: может, и вы так рассуждаете?

Алексей Александрович. Что вы, что вы, Илья Андреевич, вот мы еще нынче говорили о помещичьей власти.

Председатель. Нет, нет, мы сами дворяне, как дворянства не уважать!

Жомов. Конечно, помилуйте! Опора престола!.. Как же тут становому в помещичьи дела рыло свое совать? Ведь это бунт! Ведь это значит священнейшие обязанности колебать! Я ведь за вас, господа, ратую!.. Мне что... меня, может, за мою правду-то в Сибирь сошлете, хе, хе, хе! Может, еще и в каторгу...

Председатель. Да что вы, в каторгу! Ха, ха!

Алексей Александрович. На рудники, Илья Андреевич, непременно на рудники... ха, ха, ха!

Семен Иванович. Ха, ха, ха!

Жомов. Ха, ха, ха!... (*Утирает глаза от смеха*). Вот то-то, господа, оно смешно, а на деле-то, как там не гово-

рите, а все-таки под судом. Ведь оно благородному человеку тяжело, как хотите, тяжело!

А л е к с е й А л е к с а н д р о в и ч. Очень, очень это понимаю.

С е м е н И в а н о в и ч. А квитанции-то с чего ж они на вас наклепали?

Ж о м о в. Ну, это дело пустое. Тут и доказательств никаких нет. Поймали мужика моего, извольте видеть, с фальшивою квитанцією... Он продавал ее. Черт его знает, где достал. Ну и велели ему сказать, что это, мол, барин дал мне для продажи!.. Как же, и с обыском у меня были, да ничего не нашли. Ну, знаете, мужика-то моего уверили, что он и свободу получит и черт знает что... А мужики-то наши, сами извольте знать, какой народец-то! Им бы только на печи лежать и помещицьею работы не делать, а уж барина оклеветать — нипочем!

А л е к с е й А л е к с а н д р о в и ч. Да, бестии, и мне оброка не платят. Надо будет приняться за них поостроже.

Ж о м о в. Что вы, что вы, Алексей Александрович, поостроже. Бог с вами. Как раз под суд угодите, ха, ха, ха!

А л е к с е й А л е к с а н д р о в и ч. Пожалуй, чего доброго! Ха, ха, ха!

Ж о м о в (*после некоторого молчания*). Что, вы нынче будете в клубе, Александр Матвеевич?

П р е с е д а т е л ь. Хотелось бы!.. Разве эдак попозднее?.. А какова игра-то вчера была?

Ж о м о в. Удивительная! Отпотчивали вы меня порядком! Ведь эдак везло, эдак везло!.. Да уж нынче я реванш возьму, как хотите, возьму!

П р е с е д а т е л ь. Хе, хе!.. Ну, как опять проиграете?

Ж о м о в. А может, и не проиграю!.. Не всегда же вам такое счастье!.. Приезжайте, Александр Матвеевич, право, приезжайте! Что вам над бумагами-то корпеть! Полюбились они вам, что ли, больно? Хе, хе, хе! Нечего сказать, лакомый кус!.. Да мне, кажется, хоть золотые горы сули, а в службу не заманишь, ей богу! Ведь вот, как я кругом-то посмотрю, бумаг-то что, господи, бумаг-то! И вы здесь так каждый день?

П р е с е д а т е л ь. Каждый!.. Да еще как, Илья Андреевич, иной раз часов по шесть сидишь, да натошак: и есть-то хочется, и курить хочется, и нечего делать, служба.

Ж о м о в (*пожимая плечами*). Ну уж, признаюсь! Ведь вот: сказал бы, да боюсь — лестью назовете. А что это богоугодно, так богоугодно воля ваша.

П р е с е д а т е л ь (*вздыхая*). Не все так рассуждают, как вы, Илья Андреевич.

Жомов (*смотря на часы*). Ой, ой, как я у вас засиделся! А мне к Рыбакову пора! Вишь его, злодея, куда черт занес. Экая даль!

Председатель. Рыбаков-то? Совсем за городом. Ну да у вас конь лихой, мигом довезет.

Алексей Александрович. Да, славная лошадь! Своя?

Жомов. Своя, своя, а за нее пятьсот рублей дал.

Алексей Александрович. И своего завода?

Жомов. Нет, зятя моего... и то ведь так, по знакомству, никому не продает. А вы до лошадей охотник?

Алексей Александрович. Как же! Страсть моя... да здесь порядочных лошадей достать трудно... Воейковские и орловские слишком дороги.

Жомов. Да позвольте мне вам услужить? У моего зятя не хуже воейковского завод, он мне уступит охотно. Сколько вам, одну или пару?

Алексей Александрович. Одну... но как же это?.. Нет, нет, помилуйте!.. Что ж вам беспокоиться, я и сам...

Жомов. Что вы сам? Ничего вы сами не сделаете... ха, ха, ха! Алексей-то Александрович думает, что я ему взятку хочу дать... ха, ха, ха! (*Все смеются*). Экой бессребренник, право, хе, хе, хе! Нет, батюшка, будьте покойны, не будет вам взятки, не будет! Денежки-то мне за лошадь все-таки подайте, хе, хе, хе! Нет, без шуток, Алексей Александрович, я вам к рождеству лошадь-то пришлю, ну, а деньги, как случится, хоть после... хоть вексель дайте, коли не верите, ха, ха! (*Встает, за ним все встают*). Ну-с, Александр Матвеевич, позвольте мне вас поблагодарить за ваше истинно отеческое расположение... И вас, господа, тоже... Просто на душе веселее стало... Вы меня извините, я ведь что думаю, то и говорю! Мое почтение-с.

Председатель. (*пожимая ему руку*). Прощайте, прощайте, Илья Андреевич, до свидания!

Жомов (*Семену Ивановичу*). Прощайте, батюшка Семен Иванович, надеюсь еще иметь удовольствие видеться... (*К Алексею Александровичу*). Au revoir Monsieur Жабин!

Алексей Александрович. Bonjour monsieur Жомов! (*Все раскланиваются, жмут ему руку. Жомов уходит*).

ЯВЛЕНИЕ 23

Те же, без Жомова.

Алексей Александрович. Славный человек! Славный. Оправдать его, непременно оправдать!

Председатель. Ну вот, я так и говорил... ну, как его обвинять? Никак нельзя!

Семен Иванович. Хороший человек. Он, может быть, по делу-то и не очень чист, ну да хóдок, знаете... Что делать!.. А человек — ничего, хороший. Опорочить нельзя.

Алексей Александрович. Да это сейчас и по всему, и по физиономии, и по манерам видно!.. Нет, я думаю, дело-то и вправду пустое. Да и гувернантка-то в самом деле, должно быть, распутная!.. Однако ж, не пора ли нам, Александр Матвеевич? У Варвары Петровны чай рано собираются?

Председатель. Пора-то — пора, да вот с арестантами покончим.

Алексей Александрович. Ах да... еще эти арестанты!

Секретарь (*высунув голову в канцелярию, кричит*). Арестантов!

Председатель. Уж вы, Петр Ильич, насчет Жомовато напишите... вот как мы говорили, понимаете?

Секретарь (*слегка пожимая плечами*). Слушаюсь.

Семен Иванович. Смотрите-ка, Иван Фомич занулся совсем, ха, ха, ха! Я думал, что он газеты читает. Проснитесь!

Вахрамеев (*пробуждаясь и протирая глаза*). Виноват. Вздремнул маленько... Барин-то этот больно долго сидел! (*К Семену Ивановичу*). Я же дома-то и закусил легонько... хе, хе, хе!

ЯВЛЕНИЕ 24

Вахмистр растворяет обе половины дверей в канцелярию настесь. Раздаются тяжелые шаги и шум цепей, входят в сопровождении солдат с ружьями два арестанта в ножных кандалах, одна пожилая арестантка и одна молодая с грудным ребенком. Последняя тихонько плачет, по временам утираясь концом головного платка. Арестанты, предвзрительно помолясь на икону, становятся в дверях. Писец Галкин выходит вперед с бумагою в руках, несколько в стороне от него становится Швейкин, также с приговором в руке и во все время чтения Галкина перемигивается и пересмеивается потихоньку с канцеляристами, густо столпившимися сзади арестантов.

Председатель. Читайте.

Галкин. Гм! Гм!.. (*Читает несколько сильным голосом*). «Приказали, из дела видно: Морозовской волости, деревни Подушкиной крестьяне Анисим Прохоров и Дормидонт Кондратьев обвиняются в том, что, желая изловить крестьянина казенной деревни Аксюшиной Дементья Про-

кофьева, который, по общему слуху, уже два года упражняется в воровстве-краже и в воровстве-мошеничестве в окрестных деревнях, и который, по их мнению и по общей народной молве, увел будто бы незадолго перед тем у вышереченных крестьян трех лошадей, подстерегли в ночь с третьего на четвертое мая того Дементья Прокофьева в то время, как он, по словам их, пробирался ночью в амбар односельца их, крестьянина Терентьева, поймали и нанесли ему побои и тяжкие раны посредством ударов топорами в голову, отчего Дементий Прокофьев тут же на месте и умер. После того означенные крестьяне с помощью крестьянской жены Ирины Семеновой отвезли труп убитого в лес, где и зарыли его, однако ж, месяца через два по распространившимся о том слухам, оподозренные становым приставом, крестьяне Прохоров и Кондратьев были им взяты и с первого же запроса учинили во всем добровольно признание. Хотя крестьяне Прохоров и Кондратьев и приводят в свое оправдание, во-первых, что они выведены были из терпения бездействием будто бы земской полиции и грозящим им разорением, если воровства будут продолжаться; во-вторых, что они не имели никакого намерения убить Прокофьева, но смерть ему произошла в драке, при сопротивлении его и при покушении к побегу — однако ж сии оправдания во внимание приняты быть не могут, ибо о том, что Прокофьев точно занимался воровством, положительных доказательств нет, да жалоб на Прокофьева со стороны обворованных будто бы им двадцати человек крестьян никаких в делах станового пристава не оказалось. Употребление же при поимке такого оружия, как топоры, противоречит второму оправданию крестьян... А потому преступление их, по мнению палаты, совершенно подходит под 1926 статью уложения, по которой учинивший убийство, хотя и без обдуманного заранее умысла в запальчивости или раздражении, но однако ж, не случайно, а зная, что посягает на жизнь другого, приговаривается к наказанию по четвертой степени 21 статьи уложения. По одобренному их поведению и по другим обстоятельствам, смягчающим вину (*пункт 1 и 5 140-й статьи*), наказание им должно быть назначено в низшей мере той степени. Крестьянка же Ирина Семенова (22 лет) обвиняется в том, что содействовала в сокрытии следов преступления, укрыв первоначально у себя в сарае тело убитого и потом отдав свои сани для перевозки оногo. Хотя же Семенова и показывает, что за отсутствие ее мужа означенные крестьяне сами, без ее спросу, принесли ей труп Прокофьева во двор, как ближайший к месту преступления, и сами распорядились са-

нями, чему и крестьяне не противоречат, однако ж эти ее слова не могут служить ей оправданием, во-первых — потому что она самовольному будто бы распоряжению означенных крестьян не противодействовала и не обратилась за помощью к соседям; во-вторых — потому, что она, во всяком случае, зная о преступлении, не донесла об оном, а напротив того, на всех допросах упорно от всего отпиралась и только на последней очной ставке с убийцами учинила сознание, извиняя свое прежнее заpiresательство страхом. И потому и следует по 15 статье уложения признавать Семенову укрывательницею преступления. Укрыватели по 130 статье наказываются одною степенью ниже против пособников, коих участие не было необходимо для совершения преступления; пособники же этого рода по 125 статье наказываются одною степенью ниже против участников, а участники по 123 статье присуждаются к одной или двумя степенями ниже против главных виновников. Принимая в соображение, что Семенова до самого преступления вовсе не знала о предприятии Прохорова и Кондратьева, палата полагает возможным назначить ей наказание четырьмя степенями ниже против наказания означенных крестьян. А так как сии последние приговорены по четвертой степени 21 статьи, которая имеет всего семь степеней, то необходимо перейти затем к первой степени следующего рода наказания, определенного 22 статьей. Хотя по 4 и 5 пунктам 140 статьи с одной стороны представляются два обстоятельства, смягчающие вину, именно: ее легкомыслие и повод к укрывательству, но с другой стороны по десятому пункту 135 статьи ее заpiresательство, увеличивающее вину, а потому ей наказание и не может быть назначено к низшей мере первой степени 22 статьи. Что же касается до крестьянки деревни Аксюшиной Прасковьи Парамоновой (50 лет), обвиняемой по народному слуху с вышенареченными крестьянами в соучастии воровства с убитым Прокофьевым, то Парамонова в сем не созналась и хотя по сделанному у нее обыску и найдены у нее шубка и портище, опознанные крестьянкою села Морозова Власьевою за свои, однако ж по 10 пункту 1205 статьи 15 тома, наличное само по себе не составляет полного доказательства, а только часть оно, тем более, что владелица шубки и портища в свое время о покраже оных нигде официально не заявила, а Парамонова отозвалась, что купила оные на базаре от неизвестного ей человека. Впрочем, поведение ее на повальном обыске большинством двух третей голосов спрошенных окрестных жителей значительно опорочено, но по 15 тому повальный обыск вовсе не составляет доказатель-

ства, а служит только подкреплением прочих доказательств, если таковые имеются. На основании всех сих соображений и вышеприведенных статей Уголовная палата определяет: крестьян деревни Падушкиной Анисима Прохорова и Дормидонта Кондратьева 30 лет (*при сих словах между арестантами некоторое движение, они вслушиваются внимательно*), лишив всех прав состояния, наказать через палачей плетью шестьюдесятью ударами с наложением клейм и сослать в каторжную работу в крепостях на 10 лет, крестьянскую женку той же деревни Ирину Семенову (22 лет), лишив всех прав состояния, наказать плетью через палачей 22 ударами и сослать на поселение в отдаленнейшие места Сибири, отсрочив, впрочем, исполнение над ней приговора до окончания срока, назначенного 1396 статьей 15 тома для выкормления ее ребенка грудью, ребенка же при отсылке матери оставить в приказе общественного призрения...»

Семенова (*всхлипывая*). Может, умру до того!

Галкин (*продолжая*). «...Крестьянку же деревни Акюшиной Прасковью Парамонову (50 лет) по занятию воровством оставить в сильном подозрении и возвратить в место жительства с отдачей на поруки одобвившим ее поведение людям».

Секретарь. Ступайте! (*Семенова, всхлипывая, уходит, ребенок ее начинает кричать, арестанты один за другим молча крестятся на иконы, потом кланяются низко во все три стороны и уходят с конвойными солдатами. Вахрамеев встает и незаметно уходит вслед за ними*).

Парамонова (*Обращаясь к секретарю*). А мне, бабюшка, куда прикажете?

Секретарь. Покуда ступай с ними, а потом тебя отпустят домой, с тебя надо взять подписку, довольна ли ты решением?

Алексей Александрович. Ну да, тебя оставляют только в сильном подозрении... что ж ты, довольна?

Парамонова (*кланяясь в ноги*). Довольна, родной мой, довольна, век не забуду вашей милости... (*Все хохочут*).

Секретарь. Ну, ступай, подписку мы за безграмотностью твоей сами сделаем.

Алексей Александрович. Ну, проваливай, милая, проваливай! (*Прасковья уходит*). Вот баба-то без амбиции, хе, хе, хе!

Семен Иванович. Да что ей в подозрении-то! Она и с ним проживет... А вот другую-то бабенку жаль!

Алексей Александрович. Жаль-то — жаль, а что делать, закон!

Семен Иванович. Знаю, батюшка, что закон! Не она первая, не она последняя... я так это, по человечеству говорю...

Председатель. А ведь Иван Фомич-то не даром улизнул, хе, хе, хе! Верно, пошел им калачи закупать, хе, хе, хе!

Алексей Александрович. Да уж эти купцы всегда так! Наш брат солдат на карауле зябнет, голодаст — им ничего. А мошенников-то, арестантов кормить — наше дело. Прямая купеческая добродетель! Запретил бы! Жертвуй на полезное! Однако ж, не пора ли нам, Александр Матвеевич?

Председатель (*кричит*). Ну что ж, арестантов!.. Давай их сюда!

Алексей Александрович. Ведут, ведут!

ЯВЛЕНИЕ 25

Шум шагов и цепей. Солдаты вводят арестанта, лет двадцати восьми, высокого роста, с цепями на ногах. Швейкин выступает вперед и читает приговор бойким голосом, скоро, не останавливаясь нигде на знаках препинания.

Швейкин (*читает*). «Приказали: из дела видно: крестьянин села Шишкина Андрей Пахомов обвиняется: во-первых, в том, что он был главным зачинщиком неповиновения, оказанного крестьянами того села помещику их коллежскому советнику фон Диквальдгаузену, под предлогом, что право его на наследство незаконно и что они должны получить увольнение из крепостного состояния, так что правительство вынуждено было прибегнуть к необыкновенным мерам усмирения — посредством экзекуции. За это по 286 статье уложения полагается наказание по 7 степени 21 статьи уложения; во-вторых, в неоднократной подаче незаконных просьб государю императору, за что 1165 статьей определено наказание по 5 степени 35 статьи; в-третьих, в произнесении ругательных слов исправнику и членам земской полиции, что засвидетельствовано протоколом временного отделения и что подвергает виновного, согласно 309 статьи, наказанию, изъясненному в 22 статье по степени 2.

Во всем этом Пахомов положительно обвиняется, как собственным сознанием, документами, так и всеми обстоятельствами дела. Имея в виду, что дело о прочих крестья-

нах уже обсуждено, а дело о Пахомове было отделено для соединения с прочими возникшими о нем делами, что на основании 156 статьи о совокупности преступлений, он должен подлежать тягчайшему из исчисленных наказаний и в высшей оною мере, — уголовная палата определяет: крестьянина помещика фон Диквальдгаузсна Андрея Пахомова, 28 лет, лишив всех прав состояния, наказать плетью через палачей 40 ударами, с наложением клейм и сослать в каторжные работы на заводах на 6 лет».

Арестант (*громко, во весь голос, выступая вперед*). Я не доволен!.. (*Все вскакивают, шум, общее смятение, солдаты окружают арестанта*).

Председатель. Что... о... о?

Семен Иванович. Каков!

Алексей Александрович. Каково!

Секретарь. Ступай, ступай, ступай!

Арестант (*из-за солдат*). Да как же это, господи... я жаловаться хочу!..

Председатель (*топая ногой*). Вон его! Вон!

Один солдат (*арестанту*). Ну, не разговаривай, пошел!

Арестант (*уходя*). Господи! Господи! (*Уходит с солдатами, Швейкин за ними. Двери канцелярии затворяются*).

ЯВЛЕНИЕ 26

Те же, без арестантов, солдат и Швейкина.

Председатель (*обращаясь к членам и ударяя себя по швам*). Каков-с!

Алексей Александрович. Да, не робок, нечего сказать! Недоволен, прошу покорно! У нас, в военной службе, за это его бы, знаете, фухтелями-то ¹⁶!.. Однако ж! (*Смотрит на часы и уходит в архивную комнату*).

Семен Иванович. Да эдакого помещику и сослать не жаль, хе, хе, хе!

Секретарь. Да-с, он, видно, не знал, что ему можно жаловаться только после наказания, уже из каторги.

Алексей Александрович (*вбегая во фраке и со шляпой в руке*). Ну-с, Александр Матвеевич, я готов, пора, пора, пора!

Семен Иванович. Пойти уж и мис. (*Уходит в архив*).

Председатель. Пора и то! Эй, Вахмистр! (*Вахмистр бежит из канцелярии через всю комнату присутст-*

вия прямо в архивную, куда уходит председатель, и оттуда выходит Семен Иванович в старом пальто).

Алексей Александрович (*все это время оправлявшийся перед зеркалом, напевая*). Тпра, тпра, тпра, тпра!.. (*Отходя от зеркала*). Как бы Варвара Петровна не была на нас в претензии за то, что мы так медлим.

Семен Иванович (*ходя по комнате*). Да что вы, еще рано.

Председатель (*выходя из архива так же во фражке, останавливается, покуда Вахмистр чистит его щеткою сзади*). Так недоволен! Ха, ха, ха! (*Подходит к зеркалу и приглаживает волосы*). Эй, шляпу! (*Вахмистр подает шляпу*).

Алексей Александрович (*между тем тормозит Семена Ивановича*). Так-то, Семен Иванович, так-то! Что вы к Варваре Петровне не едете? Отчего не едете, а?

Семен Иванович (*шутливо отбиваясь*). Да полно вам, полно! Замучили совсем, ха, ха! Вишь как разрядился!

Алексей Александрович. А сколько там будет хорошеньких!.. У!..

Председатель. Петр Ильич! Коли там просители есть, или еще придут с просьбами, так вы скажите, чтоб в другое время приходили. Нынче недосуг.

Секретарь. Слушаюсь.

Председатель. Ну, что ж, Алексей Александрович, едем?

Алексей Александрович (*нараспев*). Едем-с, едем-с, едем!

Семен Иванович. Желая вам веселиться, Александр Матвеевич, вас там, чай, много будет?

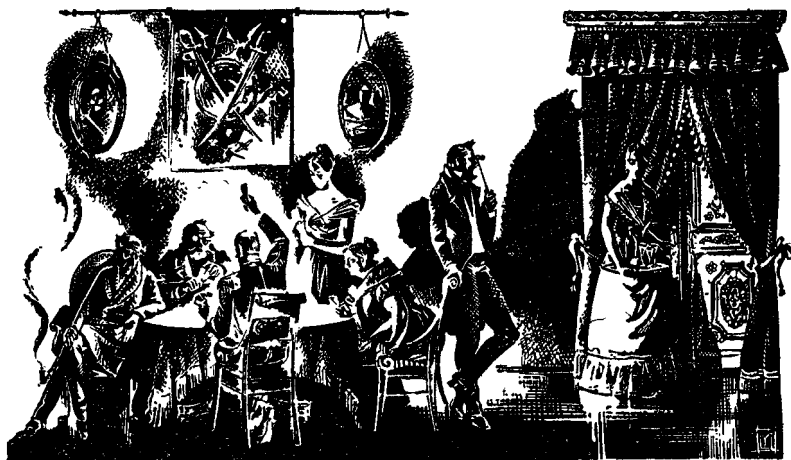
Председатель. Да с вами человек пятьдесят, шестьдесят наберется. Варвара-то Петровна охотница угощать! (*Идет впереди всех к дверям канцелярии, которые Вахмистр растворяет настежь. За ним Алексей Александрович и Семен Иванович вместе*).

Алексей Александрович. Молодец, Варвара Петровна!.. (*Нараспев, идя за председателем*). Да здравствует Варвара Петровна; и ножка, и ручка ее! *

Председатель и Семен Иванович (*вместе*). Хе, хе, хе, хе! Едем!

Все трое уходят. Секретарь провожает их. Канцелярия с шумом поднимается с мест.

* Переделка стихов Языкова.



Статьи и очерки

НЕСКОЛЬКО СЛОВ ОБ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ В ГУБЕРНСКИХ ГОРОДАХ

Насмешки наших писателей над внешними особенностями провинциалов, над их нарядами, привычками и разными уклонениями от столичного светского *compte il faut* — в настоящее время почти совершенный анахронизм, по крайней мере в наших губерниях и некоторых значительнейших уездных городах. Узввленное самолюбие провинций повело их быстрым путем к усовершенствованию. Поезжайте теперь на любой бал в Калуге, в Ярославле, в Туле — не найдете вы больше ни уродливых фраков, ни фантастических чепцов, ни плисовых сапогов... В последние 10 лет провинция шла исполинскими шагами по пути «цивилизации» и изгнала все смешное со своих провинциальных паркетов. Вы поразитесь теперь и свежестью дамских нарядов, сделанных по последней парижской картинке, еще не получившей даже полного законодательного смысла и для московских дам, и светскою изящностью кавалеров и роскошью мебели, и убранством комнат в новейшем вкусе... словом, все благоприлично, все в высшей степени *compte il faut*; фраки безукоризненны, жилеты беспорочны, на парадных балах галстуки непрсмсно белые, русского языка и не услышишь, разве только за преферансом солидных чиновников, везде раздаются звуки щеголь-

ской французской речи, светские приветствия и фразы, les jolis petits riens, как говорят французы, так и сыплются. Есть и благотворительные дамские общества, и общества лошадиных охотников, и благородные спектакли, и лотереи в пользу бедных, и маскарады с высокою нравственною целью... Что же больше? Не правда ли, утешительное зрелище? Да, не раз видели мы, с каким бескорыстным, искренним умилением радовались этим успехам фешенебельные ревнителы отечественного просвещения, залетевшие в провинцию из столицы по службе, или для личного сбора своих деревенских доходов; с каким благодушным снисхождением расточали они деятелям этого провинциального прогресса свои похвалы и поощрения! В самом деле, есть чему порадоваться! Скажите: уступят ли в чем губернские гастрономы столичным? Не везде ли заведены дворянские клубы? Сохраняется ли где, в большей мере, эта благородная сословная гордость?..

Мы с своей стороны не только не станем отрицать все эти достойные качества провинции, но готовы подкрепить сказанное нами доказательствами положительными и неопровержимыми. Мало того, мы даже можем дополнить описание новыми чертами, потому что нам приводилось жить подолгу в разных губернских городах русской империи и довольно близко знакомиться с составом губернских обществ и вообще со всей провинциальною общественною жизнью. Так например, присутствуя на великолепном бале у NN: «столичный гость» оставался в неведении, а мы хорошо знали, что оркестр, под громкие звуки которого прыгала в польках, кружилась в вальсах, неслась в галопах блестящая губернская молодежь, — состоял из крепостных людей хозяина, нередко, по милости их, угощавшего провинциальный *beau monde* и музыкальными вечерами; что в тот же день утром альт и флейта были высечены за фальшивую ноту в симфонии Бетховена, до которого хозяин, как следует просвещенному человеку, был большой охотник, — а гобой собственноручно приколочен. Любуясь на этих благовидных помещиков солидных лет (обыкновенно «бель-омы» с здоровыми румянами, несколько отвисшими щеками, в усах, с белыми отвороченными воротничками на полной шее, в черных бархатных жилетах, ловко облегających красивые округлости их статной груди и не много желудка, с массивными золотыми цепочками, изящно рисующимися на жилетах), любуясь на этих благовидных помещиков, мы в то же время имели сведения, что эти красивые господа только вчера воротились из своих деревень,

где собирали порядочные суммы с крестьянских девок, откупившихся от замужества*.

Что же касается до благородной сословной гордости, то мы можем рассказать случай, бывший с нами в вокзале на минеральных водах одной из великороссийских губерний. В самом разгаре бала, в ту самую минуту, как один петербургский приезжий, предполагавший встретить в провинциалах чуть ли не медведей, — передал нам свое восхищение при виде такого блистательного провинциального общества и в такой отдаленности от столицы, — послышался шум в углу залы, оказалось, что помещик У... и помещик Ю... (принесли несколько сотен крестьянских душ в жертву благородной страсти к игре) выгоняли вон из залы одного знакомого нам молодого купца, очень образованного и даже одетого в приличное немецкое платье. На вопрос наш оба помещика отвечали, что молодой человек, хоть и заплатил деньги за билет, но как «неблагородный» не имеет права находиться в благородном собрании, что изгнания его требует такая-то дама с «высшим образованием», не желающая танцевать в одной кадрили с купцом, что наконец «все присутствующие этим дворяне этим оскорбляются!» Когда же мы по своей неопытности решились было заметить, что звание купца едва ли мешает этому молодому человеку быть благороднее многих гг. помещиков, то выставившиеся на нас от удивления глаза всего благородного сословия — убедили нас в совершенной неуместности подобных толкований... Крепостной оркестр заиграл снова, и вместо ответа, помещик У... и помещик Ю..., подхватив дам «с высшим образованием», продолжали прерванные танцы, заставляя их весело смеяться рассказу (разумеется, на французском языке) о странном мнении, высказанном одним из посетителей. Читатели, конечно, отдадут должную справедливость этой черте провинциального благородства!.. А губернские балы?.. Что перед ними балы в каком-нибудь вокзале на минеральных водах! «Хоть бы в Петербурге!» — скажет вам с понятной гордостью хозяин дома, глядя на ловко танцующую губернскую молодежь. В самом деле, посмотрите на этих ловких молодых кавалеров. Вы хотите знать, какое стремление живет у них в сердце, под этими белыми жилетами, ни в чем не уступающими жилетам петербургской работы? И мы ответим вам,

* Этот обычай существует в Ярославской губернии, крестьяне откупают своих дочерей еще в малолетстве их, т. е. вносят за них по 100 и по 150 рублей серебром за каждую, с тем, чтобы помещик не принуждал их выходить замуж, но чтоб они вправе были или выйти за кого пожелают, или вовсе не выходить.

что бьется в груди у всех одно и то же горячее стремление: вполне походить на столичных светских джентльменов; мы порадуем вас уверением, что ни денег, ни времени не щадят они для достижения такой возвышенной цели. Да, знайте, что исполненные этой благородной заботы, они уже несколько лет сряду не берут ни одной книги в руки, разве только изредка прочтут Польдекока; что — озабоченные светскими обязанностями, трудясь добросовестно и усиленно над всей внешнею отделкою, они не имеют досуга даже подумать о чем-либо менее важном, о каком-либо ином призвании в жизни; что все эти молодые души...

«Да уж не ирония ли это?» — заметит, может быть, вдруг один из наших провинциальных читателей, обративших особенное внимание на нашу статью по чьему-нибудь постороннему указанию: «это ирония, да еще самая неосновательная! Разве не то же встретите вы и в столице, на столичных балах, если только захотите рассуждать беспристрастно?» Удивляемся догадливости нашего читателя, но в самом деле не полезнее ли заговорить яснее? Не все же так сметливы! Конечно, много похожего увидите вы и в столице, но зато в столице, и в особенности в Москве, найдете вы всегда многочисленный круг людей, преданных живым, современным интересам, с серьезными взглядами на жизнь, с строгими нравственными требованиями, людей, вырабатывающих нам наше сознание, неумоимо действующих на поприще мысли и слова, неослабно трудящихся для общей цели. Движение мысли в столице не только не замирает, но даже невольно сообщается и светскому кругу, обыкновенно чуждому серьезных занятий. От того в столицах есть какая-то постоянная современность умственного и нравственного образования, распространенная повсюду, есть какое-то общее, повсеместное знакомство с настоящим положением всех задач и вопросов человечества... Но в провинции губернское светское общество заключает в себе большую часть все, что есть образованного в губернии; на каждом провинциальном бале вы увидите почти все, что только выработала провинция в продолжение стольких лет: этот блестящий лоск, эта внешность, это *compte il faut* — вот результат ее нравственных и умственных усилий, вот единственная цель ее стремлений. Вглянитесь ближе — и вам сделается страшно от этого отсутствия всякой умственной деятельности, и вы убедитесь, что в деле мысли и просвещения, в понятиях и вопросах общечеловеческих провинция отстала от столицы, в особенности от Москвы, по крайней мере лет на 50! Грустно нам сознаться в этом, но кто же виноват? Разве не сама провин-

ция? Скажите, читатель, случилось ли вам слышать другие отзывы о какой-либо провинции, кроме следующих: «Калуга веселится больше, чем Тула, Тула веселится больше, чем Рязань, в Ярославле жить очень весело!» и т. д. Мы до такой степени привыкли к этим определениям деятельности наших губерний, что они даже и не поражают нашего слуха, но нельзя не призадуматься над ними. Неужели общественное веселье составляет цель всех провинциальных стремлений? Именно так, в том смысле, что никаких иных стремлений и не существует, и вся духовная и нравственная деятельность проявляется в так называемых вселостях провинциального большого света, в его усердном подражании великосветской столичной жизни. Другой задачи и не задает себе провинция. Выписывая наряды, вина, обои и мебель из Петербурга, а иногда из Москвы (необходимо заметить, что большая часть провинций смотрят на Москву с некоторым презрением, считая ее такой же провинцией), устраивая вселость за веселостью, провинция почти вообще не выписывает книг. Если и попадаются кое-где частные библиотеки, так ими никто и не пользуется. Гораздо больше читается книг в тех семьях, которые никогда не живут в губернских городах, а проводят зиму в деревне, или, как скоро позволяют средства, в Москве и Петербурге. В губернских же городах почти ни в одном доме вы не найдете книги не только новой, да большею частью и никакой. Иногда только случайно заведется экземпляр, один единственный во всем городе, и прочтут его, выпрашивая друг у друга, — потому что издержать рубля три серебром на книгу считается мотовством; в самом деле на эти деньги можно купить пары две настоящих французских перчаток!

Может щекотливое самолюбие некоторых гг. провинциалов и раздражится нашими словами, но, повторяем, эти господа сами во всем виноваты. Они выбрали ложное направление и увлеклись подражаньем внешней стороне общественной столичной жизни и всему тому, чему подражать не трудно, что не требует самостоятельного труда мысли, — упустили вовсе из виду другую сторону наших столичных образованных сословий, деятельность умственную. Между тем подражание всегда ставит подражающего в рабские отношения к своему образцу, и провинция, несмотря на все усилия придать явлениям своей общественной жизни какой-то самостоятельный характер естественной, необходимой потребности людей просвещенных, невольно всегда отзовется провинциею. Она даже обличит себя самою, ретивостью в усвоении себе всех тех внешних форм цивилизации, которые составляют, по ее мнению, принадлежность

истинного просвещения. Попросту сказать, провинция всегда пересолит. Блистательная губернская львица, старающаяся выказать перед новоприезжим столичным гостем совершенство своей французской речи и опасаящаяся проронить в разговоре хоть одно русское слово, не подозревает, что эта ее заботливость обнаруживает в ней истинную провинциалку; что не только в Москве, но даже и в Петербурге дамы начинают стыдиться своего невежества в русском языке и довольно много говорят по-русски, что наконец вести русским, в наше время, между собою, в России, непременно и упорно, безо всякой нужды, разговор по-французски — почитается или принадлежностью людей старого времени или чистейшим провинциализмом. Едва слышала провинция об эмансипации женщин, как тотчас же с горячностью приняла это учение; в некоторых губерниях завелись дамские клубы (чего даже нет и в Москве), и почти во всех барышни и дамы стали втрое эмансипированнее и развязнее столичных. Эта эмансипация, впрочем, несколько не мешает им обнаруживать притом такие помещицьи наклонности, вкусы и привычки, которые можно встретить только в провинции. Две-три дамы в Петербурге закурили папиросы, и дым повалил столбом от множества папирос, которые закурили в губернских городах дамы и девицы, почти все без исключения, что продолжается и поныне. Пронесся слух о детском бале в Петербурге, и нововведение это, вызвав сильную оппозицию в Москве и даже не раз печатное возражение, сделалось в провинции каким-то необходимым явлением общественной жизни, все семейства ретиво соперничают друг с другом, — в этом душегубстве детей, придумывая даже разные усовершенствования, например, детские маскарады, *folles journées* и т. п. В известном мне губернском городе было дано в одну зиму детских балов более, чем в ту же зиму в Москве и Петербурге вместе. А благотворительные балы, лотереи, спектакли, базары и концерты? Какое благородное соревнование между всеми губерниями в этом отношении! Правда, эти празднества требуют больших расходов, новых пышных нарядов... Но ведь деревня под рукой, наложить лишнюю повинность на крестьян, или прибавить оброка ничего не значит! Нередко для подобных благотворительных и других подвигов провинциальные благотворительницы, а также жорж-сандистки и *esprits forts* приезжают в губернский город из отдаленных уездов **на своих**, то есть на лошадях своих крестьян, обязанных, вероятно, также участвовать в делах общественного благотворения. Таким образом настает целый ряд веселостей, предпринятых с благо-

творительной целью, хотя, вероятно, никто из участвующих и пяти минут не подумал о бедных, в пользу которых он так трудился! Все это делается преимущественно для того, чтобы похвастать перед Москвой и Петербургом, чтобы губернский фельетонист затрубил об этих празднествах в губернских ведомостях, откуда — перепечатаются его слова в ведомостях столичных, наконец все это делается большей частью из угождения воле Ея Превосходительства. На самом же деле бедные люди прокармливаются и содержатся иждивением купцов и мещан, к которым все до сих пор нами сказанное нисколько не относится.

Существует мнение, будто жители губернских городов живут жизнью мирною и семейною. Мнение совершенно ошибочное. Семейной замкнутой жизни вы почти не встретите в губернском городе: все живет светскою публичною жизнью, да и учреждение дамских клубов в некоторых городах не свидетельствует о большом уважении к жизни семейной. Две черты губернских обществ в особенности поражают всякого, вновь приезжего из столицы. Это какой-то полупатриархальный, домашний, семейный характер отношений общественных, служебных и официальных, и наоборот — какой-то отблеск служебных и официальных отношений — на отношениях общественных и даже частных. Постараемся объяснить наше замечание некоторыми подробностями губернского быта. Приезжая в губернский город, вы, в силу обычая, делаете зараз визиты всем служащим и не служащим и таким образом приобретаете себе вдруг до 40 или 50 домов знакомых, которые все в скором времени становятся вашими короткими знакомыми. Все семейные тайны известны в губернском городе каждому, все друг друга знают, видят друг друга каждый день, собираются в публичных местах, на балах и раутах почти всем комплектом, ведают друг про друга почти все и не перестают заниматься друг другом. Поэтому и всякое дело, даже в присутственных местах, обделывается очень запросто: стоит только попросить Петра Иваныча или Ивана Петровича, и все уладится как нельзя лучше; вас знают и канцелярские чиновники, и полицейские служители, и станционные смотрители, и извозчики, и лавочники... Проехал ли кто мимо вашего окна, вы сами знаете, кто проехал, куда, зачем и к кому; именинница ли Марья Ивановна? Присутствие почти во всех местах закрывается часом раньше и экипажи всех председателей часу во втором уже стоят во дворе Марьи Ивановны, к которой в этот день собирается весь город служащий, имеющий завтра собраться точно таким же образом у Александры Андреевны, по случаю

дня ее рождения, а послезавтра у Татьяны Карповны по случаю именин ее старшей дочери... Куда ни оглянешься, все знакомые лица, **все свои!** Девицы, танцующие несколько лет сряду, на одних и тех же паркетах, почти с одними и теми же кавалерами, до такой степени осваиваются и с кавалерами и с этой публичной жизнью, что свобода обращения в губернских городах далеко оставляет за собой столичную. Прибавьте к этому, что все скандальные истории, которых можно не знать в Москве или Петербурге, в провинциях совершаются почти явно на глазах у всех и потому известны всем — от стариков до малолетних барышень. Эта ежедневность свидания, это знакомство всех со всеми, заключаемое не во имя сочувствия или одинаковости убеждений, порождает в жителях губернских городов необыкновенную терпимость к взаимным прегрешениям. Да и в самом деле Иван Петрович и Петр Иванович, слышущие в городе прекрасными и милыми людьми, очень хорошо знают, что каждому в городе во всей подробности известны источники их нечистых доходов, а потому они уже не находят надобности скрываться или вообще сколь-нибудь церемониться в этом отношении; самые строгие честные люди, проживя несколько лет в губернском городе, до такой степени свыкаются с этими Иванами Петровичами и Петрами Ивановичами, что нравственное в них чувство поневоле тупеет, и порок, не раздражаемый никаким протестом, никаким обличением, принимает характер какой-то наивной простосердечной откровенности, какого-то добродушно-безобразного цинизма. Не думайте, чтобы сплетни очень мало значили. Сплетни — просто невинное препровождение времени, сплетни — единственный признак умственной деятельности в провинции. Вам, как приезжому, тотчас расскажут такие черные дела какого-нибудь Карпа Сидорыча, что волосы у вас встанут дыбом, и вы никак не решитесь ехать на вечер к Карпу Сидорычу, от которого уже успели получить приглашение... Будьте же уверены, что весь город, вполне знакомый со всеми страшными подробностями жизни Карпа Сидорыча, провеселится у него до поздней ночи; все с Карпом Сидорычем приятели, потому что Карп Сидорыч дает обеды, вечера, поит шампанским, вследствие чего и на выборах станет играть не последнюю роль. Завтра таким же образом пропирует все общество у N. N., известного хлебосола — взяточника, а послезавтра у другого гостеприимного негодяя! Скажите по совести, знакомые мне жители губернских городов, разве все это не чистая правда?

Для молодого человека провинция вообще очень опас-

на. Приезжая в губернский город, он бывает сначала неприятно поражен тою холодностью, с какой встречают на службе его честный пыл, его благородное негодование, потом неприметно для себя увлекается легкостью и дешевизною успехов, приобретаемых им в губернском светском обществе, если он хоть несколько *сopin il faut*, если приемы его, склад речи и познания хоть несколько свежес, чем у туземцев. Губернские дамы и девицы от нечего делать, за недостатком кавалеров и потому, что так уж повелось, часто влюбляются в него по несколько круг, даже без особенных хлопот с его стороны; совершенно незаслуженно и к великому своему удивлению, получает он от провинциальных красавиц эпитеты и ученого, и поэта, и красноречивого оратора, и даже опасного для сердец человека, чуть-чуть не Ловеласа! В первое время он еще стыдится таких незаслуженных успехов и борется с обольщениями своего самолюбия, но потом постепенно им поддается и наконец совершенно привязывается к пустоте светской провинциальной жизни, в которой он не приходит в соприкосновение, как иногда в столице, с современными духовными интересами, в которой он добывает так легко значение и видное место героя, пуская в ход одни старые сведения, без приобретения новых, без труда мысли, без всякого умственного напряжения! Таким образом, день за днем утрачивает он все свои прежние чистые нравственные стремления... В самом деле, пожимая с утра до вечера, по закону светского приличия, руки таким людям, при одной мысли о которых краска негодования бросалась ему в лицо, — посещая из вечера в вечер, обеды и балы вместе со всем светским *beau monde*, он мало помалу делается снисходительнее и отступает от своих прежних строгих требований. Дешевизна светских успехов помогает ему свыкнуться с пошлым однообразием губернской ежедневности, с ограниченностью провинциальной умственной среды, с мелочностью губернских общественных забот... Пройдет несколько лет, и вот: уже и служит он не так, как понимал службу в старые молодые годы, уже проникается терпимостью к разным служебным грешкам своих сотоварищей, время свое проводит в праздности, в пустом любезничаньи с губернскими львицами и девицами, со вниманием прислушивается к сплетням, а потом и сам пускается сплетничать, ленится умом и душою, принимает с важностью к сердцу все ничтожные интересы провинциальной общественной жизни, и бури в стакане воды признает чуть ли не за истинные бури! Много, много пошлости, оскорблявшей некогда его чуткое молодое сердце, вкрадывается ему в душу, и уже

трудно ему становится жить в столице и расстаться ему с тем значением, которого не придется ему иметь ни в Москве, ни в Петербурге. Хорошо, если осужденный на долгую жизнь в провинции, будет он зорко блюсти свою душу и ограничит свое знакомство теми немногими домами, где еще можно подышать чистым воздухом; еще лучше, когда он вовсе откажется от провинциального света и посвятит свое время, если он служит, на открытую борьбу с злоупотреблениями, уже давно переставшими колоть глаза губернскому обществу, на изучение края, всегда любопытное и полезное, на сближение с другими классами общества.

Скучными покажутся эти строки столичному жителю, но не его имеем мы в виду: мы надеемся, что слова наши, основанные на жизненном опыте и на долговременном знакомстве с провинцией, вызванные искреннею скорбью и участием, будут не бесполезны для молодых людей, только что вступающих на поприще губернской жизни. Если наши замечания заставят призадуматься хоть некоторых из них, то цель наша будет уже достигнута.

Мы сказали, что официальная жизнь в губернских городах носит в себе характер полупатриархальный; точно как и общественная, даже частная жизнь заимствует какой-то особенный оттенок от служебных и официальных отношений. Его Превосходительство и Ея Превосходительство постоянно первые лица в городе, так сказать — постоянно в должности: как на службе, у себя дома, так и в гостях, у вас в кабинете, на бале, на рауте. Редкий бал начнется до прибытия Его или Ея Превосходительства; я сам видел, как в одном губернском городе, в театре, в антрактах — ни одна из дам в ложах не смела сидеть, пока Ея Превосходительство стояла. Сама служба в губернском городе налагает на вас какую-то обязанность принимать участие в общественных увеселениях; это также служба своего рода. Вы уже непременно, по долгу звания своего, член клуба и тому подобных учреждений. В самих весельях соблюдается некоторое чинопочитанье, и вообще лица называются большей частью не по фамилии, а по месту своего служения. Даже дамы, поверяя друг другу свои сердечные тайны, выражаются не иначе, говоря, например, что им вскружил голову советник питейного отделения, что они влюблены в прокурора, что командирша гарнизонного батальона препротивная, потому что кокетничает с инспектором врачебной управы и т. д. «Кто этот молодой человек, полькирующий вот с этой полной дамой?» — спросите вы, например, на каком-нибудь бале. «Это? это статистиче-

ский комитет, он же и оспенный, он же и комиссия продовольствия (т. е. письмоводитель всех этих мест), а дама его — почтмейстерша», — ответят вам или назовут иначе, смотря по тому, кто где служит. «Не правда ли, как милы эти казенные **палаточки!**» — однажды сказал мне на рауте один из губернских денди, указывая на дочерей председателя казенной палаты и еще не решивший в которую из них влюбиться. Все девицы в губернском городе очень хорошо знают места служения и чины своих кавалеров, да и вообще вся чиновная иерархия, весь мир служебных отношений им гораздо более известны, чем иному ученому кандидату университета. И немудрено: если и случается им слышать серьезные разговоры, так они всегда касаются службы. К тому же сами увеселения их более или менее связаны с какими-нибудь официальными событиями, с отъездом в отпуск и возвращением из отпуска губернатора, с приходом ревизора, новых чиновников и т. п. «У нас нынешнюю зиму будет очень весело, — сказала нам однажды губернская дама. — Назначен рекрутский набор». Но служба одною внешнею своей стороною вошла в жизнь губернских обществ, т. е. мундиром, чином, орденом, местом, жалованьем, большей или меньшей продолжительностью занятий, грозою ревизоров, назначением новых чиновников, т. е. новых членов общества, встречей главных начальников и трогательным прощанием с ними. Эти последние события обыкновенно сопровождаются обедами по подписке и заочным ругательством. Нередко, впрочем, на этих обедах пылкое и упоенное вином губернское усердие, не зная себе пределов, бьет тарелки, качает на руках в ту минуту всеми любимого начальника и даже пускается вприсядку. Так по крайней мере было недавно при встрече губернатора в N... губернии. «Делать нечего, — говорил мне, вздыхая, один уездный предводитель, — надо отправиться в уезд и приготовить и там ему такую же встречу; не дешево станет! А без этого обижаться будет!» Вообще нельзя не поразиться тою нравственною зависимою, тою духовною подчиненностью, в которой находится общество большей части губернских русских городов относительно главных начальников края. Образ жизни последних оказывает сильное действие на образ жизни даже не служащих членов общества. Если, например, губернатор расточителен, любит роскошь, увеселения, не совсем приличную свободу обращения с дамами и т. п., губернское общество мигом отразит на себе все вкусы и привычки Его Превосходительства. Его Превосходительство, хотя бы и в высшей степени не пользовался искренним расположением жителей, тем не менее

служит для них нравственным авторитетом и дает тон всему окружающему. Заметим, кстати, до какой степени в провинции каждому общественному веселью придают значение важного, чуть не официального дела может служить указанием возражение, напечатанное в Московских ведомостях за 1852-й год кем-то из господ провинциалов фельетонисту одной петербургской газеты: первый обвиняет последнюю очень серьезно в том, что он неверно передал происшествия последней губернской масленницы, сказавши, что во вторник был благородный спектакль, тогда как спектакль был в среду, а во вторник были веселые и радужные блины у Ея Превосходительства...

Вообще в губернии при трудности, почти невозможности бороться с высшею местною властью, чиновничье больше, чем где-либо, доходит до забвения всех заветных, личных, нравственных убеждений; чиновное самолюбие и тщеславие волнуют дамские сердца едва ли не сильнее, чем мужские. Зато злоупотребления служебные не вызывают негодования, мечты об общем благе, желания полезной деятельности — не тревожат душу...

Сердце сжимается при мысли о том, сколько молодых душ погибает в этой удушливой атмосфере! Как ни тяжело нам писать эти строки, тем не менее повторим вкратце все изложенное нами, предупреждая, впрочем, читателей, что слова наши не относятся ни к губерниям, в которых заведены университеты, ни гг. провинциалам, живущим по своим деревням. Впрочем, само собой разумеется, что и в губернском городе встретите вы иногда людей достойных и умных, но они составляют исключение, сами постоянно чувствуют свое одиночество и вовсе не протестуют против современного направления провинциального общества. Мы говорим собственно о преобладающем характере общественной жизни в большей части русских губернских городов. Итак, что же представляет нам эта общественная жизнь? С одной стороны — блестящую внешность, почти ни в чем не уступающую столичной, с роскошью, с публичной благотворительностью, мужскими и дамскими клубами, французским языком и светским воспитанием; внешность, заставляющую провинциалов гордиться собою и воображать, что они стоят чуть ли на самой верхушке просвещения... С другой: незастенчивость помещичьего быта, откровенность барских вкусов и привычек даже у дам и девиц, полнейшее отсутствие всякой духовной деятельности, ограниченность мыслительного горизонта, недостаток всякого иного стремления, кроме стремления подражания великосветской столичной суете; мелочность ежедневных

интересов, яркое невежество всех тех задач и вопросов, которые вырабатывает движение мысли в столицах; сплетни, переливание из пустого в порожнее, всякое и праздное препровождение времени, не освежаемое никаким чистым и честным влечением! Да, это пошлость одуряющая, растлевающая, убийственная пошлость, эта мертвенность душевных движений, это безмолвие всех нравственных требований, эта снисходительность к неправде, это смотрение сквозь пальцы на всякие злоупотребления, это радушное панибратство с развратом и взяточничеством, это хлебо-сольство со всяким пороком в богатой оправе... вот что, к сожалению, являет по большей части общественная жизнь русского губернского города! Немногие выдерживают борьбу с такой жизнью, тем более, что в провинции эта борьба труднее, чем в Москве и Петербурге, где вам легче уединиться, где вы всегда отыщете людей одномыслящих, так как в провинции вам приходится бороться почти одному, без опоры и союзников. Большая часть молодых людей оканчивает совершенным примирением.

А ведь могло бы быть иначе! Если б провинция, вместо того, чтобы быть рабской копией с копии и подражать тем, которые в свою очередь подражают образцу чужеземному, — постаралась сильнее укрепить свою связь с народным бытом, к которому она ближе, чем столицы, — она могла бы получить важное значение в деле истинно русского просвещения. Если бы губернские жители, вместо того, чтобы увлекаться блестящей пустотой столичной светской жизни, приобщились к общему движению человеческой мысли, в особенности к той, которая в последнее время в Москве с каждым днем более и более разрабатывается, которая стремится сделать нас людьми из обезьян и самостоятельными деятелями из жалких подражателей, — если б, повторим, губернские жители были не чужды этого направления, они нашли бы около себя много полезного и благого дела. Провинциализм мог бы занять законное место в разработке всех особенных сторон многостороннего русского духа. Но и без этого требования, не всем доступного, — провинциальные общества имеют гораздо более средств и удобств для всякой истинно доброй и прекрасной, хотя и скромной деятельности, чем общества столичные, живущие как-то разрозненно. Самая эта полупатриархальность общественных и официальных отношений, весьма естественная в городе немногочисленном, это знакомство всех между собою, это легко приобретаемое значение дают возможность каждому из губернских жителей сделать добра больше иного немаловажного столичного чиновника, облегчают изучение

края, распространение полезных идей и знаний, возбуждение общества от сна и апатии. Пусть только молодой человек, осужденный служить в губернском городе, не побоялся борьбы, — и пример его подействует спасительно на многих; может быть, какой-нибудь мелкий отдаленный чиновник, до которого провинциальная молва шумно донесет весть о вновь появившемся честном человеке, ободрится и освежится дошедшими до него слухами и, уже утомленный, найдет в них новые силы и для своей безвестной, святой борьбы! Таким образом соберутся вокруг него немногие честные люди и станут крепким союзом на дело добра и правды! В том-то и состоит выгода провинциальной деятельности, что она не остается незамеченною обществом, что в провинции легко приобретает влияние, легко распознать людей и отличить окончательно уснувших от способных еще к пробуждению. Пусть только не ленится молодой человек и не кладет оружия преждевременно, испугавшись тяжелой и долгой борьбы... Везде и всюду можно найти много серьезного дела, и на службе, и в хозяйстве, даже в свете, во всех положениях и званиях, а серьезный труд всегда благотворно действует на душу человека. Пусть же ведает каждый, как опасна среда, в которой он живет, пусть сторожит себе душу, пусть найдет себе опору в труде, в просвещении, в чтении, в союзе честных людей, чтобы не увязнуть постепенно в тине общественной пошлости. Нет ничего опаснее пошлости. Она вреднее душе самого преступления, в которое ввергает иногда человека внезапная буря страсти, но которое способно вызвать в человеке могучес, плодотворное покаяние... А пошлость, как яд, проникает всю душу, все в душе мельчает — блекнет, грязнится, тупеет, расслабляется... Душа утрачивает способность ныть и болеть по правде, замиряется с средой, ее окружающей и становится почти недоступною покаянию!..

От всего сердца желаем, чтобы слова наши, внушенные горячим участием, не пропали даром для жителей провинции и в особенности для молодых людей, поступающих на службу в русские губернские города.

1852 г.

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ГОГОЛЕ

Так свежа понесенная нами утрата, так болезненна общественная скорбь, так еще неясно представляется уму смутно слышимый душою весь огромный смысл жизни, страданий и смерти нашего великого писателя, что невоз-

можным кажется нам, перед началом нашего литературного дела, не поделиться словами скорби со всеми теми, неизвестными нам, кого бог пошлет нам в читатели, — не выполнить этой искренней, необходимой потребности сердца.

Много еще пройдет времени, пока уразумется вполне все глубокое и строгое значение Гоголя, этого монаха-художника, христианина-сатирика, аскета и юмориста, этого мученика возвышенной мысли и неразрешимой задачи! Нельзя было художнику в одно время вместить в себя, выстрадать, высказать вопрос и самому предложить на него ответ и разрешение! Вспомним то место, в конце 1-го тома «Мертвых душ», когда из души поэта, наболевшей от пошлости и ничтожества современного общества, вырываются мучительные стоны, и — обхваченный предчувствием великих судеб, ожидавших Русь, эту непостижимую страну, он восклицает: «Русь! куда несешься ты, дай ответ!.. Не дает ответа!..»

И не дала она ответа поэту, и не передал он его нам, хотя всю жизнь свою ждал, молил и домогался истины. Ответ желал он найти и себе и обществу, требовавшему от него разрешения вопроса, заданного «Мертвыми душами». Долго страдал он, отыскивая светлой стороны и пути к примирению с обществом, как того жаждала любящая душа художника, искал, заблуждался (только тот не заблуждается, кто не ищет), уже не однажды думал, что найден ответ... Но не удовлетворялось правдивое чувство поэта: еще в 1846 г. сжег он 2-ой том «Мертвых душ»; опять искал и мучился, снова написал 2-ой том и сжег его снова!.. Так, по крайней мере, понимаем мы действия Гоголя и ссылаемся, в этом случае, на четыре письма его, напечатанные в известной книге¹⁷. Но недостало человека на это новое испытание, и деятельность духа, напором сил своих, постоянно возраставшим, без труда разорвала и сломила сдерживавшие ее земные узы... Вся жизнь, весь художественный подвиг, все искренние страдания Гоголя, наконец, сожжение самим художником своего труда, над которым он так долго, так мучительно работал, эта страшная, торжественная ночь сожжения и вслед за этим смерть, — все это вместе носит характер такого события, представляет такую великую, грозную поэму, смысл которой еще долго останется неразгаданным.

Многим из читателей, не знавшим Гоголя лично, может показаться странным, что этот художник, заставлявший

всю Россию смеяться по своему произволу, был человек самого серьезного характера, самого строгого настроения духа; что писатель, так метко и неумолимо каравший человеческое ничтожество, был самого незлобивого нрава и сносил, без малейшего гнева, все нападки и оскорбления; что едва ли найдется душа, которая бы с такой нежностью и горячностью любила добро и правду в человеке и так глубоко и искренно страдала при встрече с ложью и дрянью человека. Как на нравственный подвиг, требующий чистого деятеля, смотрел он на свои литературные труды, и — живописец общественных нравов — неумолимо работал над личным, нравственным усовершенствованием. — Пусть те из читателей, для которых неясен образ Гоголя, сами посудят теперь, какую пытку испытывала эта любящая душа, когда, повинувшись своему призванию, шла «об руку» с такими героями, каковы, вполне верные действительности, герои «Мертвых душ». Пусть представят они себе этот страшный, мучительный процесс творчества, предлагавший *слезы в смех*, и лирический жар любви и той высокой мысли, во имя которой трудился он, — в спокойное, юмористическое созерцание и изображение жизни. Человеческий организм, в котором вмещалась эта лаборатория духа, должен был неминуемо скоро истощиться... Нам привелось два раза слушать чтение самого Гоголя (именно из 2-го тома «Мертвых душ»), и мы всякий раз чувствовали себя подавленными громадностью испытанного впечатления: так ощутителен был для нас этот изнурительный процесс творчества, о котором мы говорили, такую глубиной и полнотой жизни веяло от самого содержания, так много, казалось, изводилось жизни самого художника на писанные им строки. Да, если и ошибался этот гениальный поэт в некоторых своих воззрениях (высказанных, например, в «Переписке с друзьями»), то тем не менее подвиг всей его жизни вполне чист и высок, вполне искренен. — Явится ли еще подобный художник или, быть может, со смертью Гоголя, наступает для нас иная пора?..

В одном из напечатанных своих писем Гоголь говорит: «Три первых поэта, Пушкин, Грибоедов и Лермонтов, один за другим, в виду всех, были похищены насильственной смертью в течение одного десятилетия, в пору самого цветущего мужества, в полном развитии сил своих, и никого это не поразило. Даже не содрогнулось ветреное племя...»

Теперь, не досказав своего слова, похищен смертью человек, которого значение для России важнее всех упомя-

нутых трех поэтов, на которого так долго обращались взоры, полные надежд и ожидания, который был последнею современною светлою точкою на нашем грустном небе... Содрогнется ли, хоть теперь, ветренное племя?..

1852

ОБ ИЗДАНИИ В 1859 ГОДУ ГАЗЕТЫ «ПАРУС»

С 1 января 1859 года будет выходить в Москве, еженедельно, газета под названием «Парус».

При современном обилии газет и журналов в России общество вправе требовать от каждого вновь предпринимаемого периодического издания точного определения его направления и цели. Как ни законно это требование, но дать удовлетворительный ответ на такой общественный запрос в тесных рамках объявления и при отсутствии у нас в России резких условных признаков того или иного направления,— и не удобно, и трудно. Тем не менее мы постараемся, в немногих словах, объяснить публике существенный характер нашего издания.

В самом деле, было время, когда «содействовать просвещению нашего отчества» вообще, «сообщать полезные сведения» *безразлично*, «возбуждать и удовлетворять потребность чтения в русской публике», ставить ее в постоянный уровень с живою заграничною «современностью» *во всех* отношениях и даже посредством картинок парижских мод, — было задачею не только просто литературных, но и учено-литературных наших журналов. Было время, когда всякое подобное предприятие приветствовалось с радостью и, не заботясь о содержании, общество повторяло вместе с известным русским поэтом:

Дай бог нам более журналов,
Плодят читателей они...
Где есть *поветрие* на чтение,
В чести там грамота, перо ¹⁸, и проч.

Журналы походили на магазины, в которых держались товары на всякий вкус и потребность. Такое положение литературы вполне оправдывалось историческим ходом нашего образования и многими другими обстоятельствами, о которых распространяться было бы здесь неуместно.

Это время проходит, если еще не совсем прошло. Русская журналистика вступает в новый период своего существования. Ее задача теперь уже не в том, чтоб создать

орудие гласности и возбуждать умственную деятельность, но служить выражением уже возбужденной деятельности, употреблять в дело уже созданное орудие на пользу знания и жизни, участвовать в разрешении общественных вопросов. С каждым днем появляются новые издания, посвященные специальной разработке той или другой науки, выделяются более и более особенности и оттенки разных стремлений, и даже каждый труд мысли, каждое отдельное мнение пытается выразить себя гласно, во всей своей личной самостоятельности, не теряясь, как прежде, в робкой неопределенности общепринятых, условно-приличных форм и положений.

При всем том мы должны сознаться, что такое направление, освобождающее личную мысль и чувство от рабства перед авторитетами и модою (ибо есть мода и в сферах умственных), такое направление, говорим мы, еще далеко не получило полных прав гражданственности в нашей литературе. Еще виден некоторый страх в проявлениях самобытности, еще постоянно слышится боязнь прослыть односторонним, исключительным, принадлежащим к партии и — сохрани боже! несовременным, неуважительным «к европейской мысли», «к науке и ее началам». Под защиту этих неопределенных выражений еще любит укрываться у нас литературная деятельность и усиленно держится в области какого-то отвлеченного космополитизма. В этом несколько рабелепном отношении к «современности» и «науке» сказывается тот особенный разлад, который существует у нас между наукой и жизнью, между теорией и действительностью, между просвещением и народностью, между «образованным обществом» и простым народом. Такое подчинение мысли авторитету «современности» (как будто современное *нынче* не перестает быть современным *завтра*), такое слепое благоговение к последнему слову науки (как будто наука есть что-то завершенное и установившееся) ставит большую часть наших мыслителей в зависимость от каждой новой почты, приходящей из Западной Европы в Россию и привозящей, вместе с модными товарами, свежесовременное воззрение, новое последнее слово науки, нередко вносящее смущение и хаос в мир «начал», только что усвоенных ее русскими поклонниками. Иначе и быть не может там, где мысль не имеет жизненной народной почвы и где мыслители, в подобострастном служении мысли, возвращенной чужою жизнью, не только исполнены презрения к нашей умственной самобытности, но готовы насиловать самую жизнь, стеснять ее свободу и деспотически предписывать ей чуждые и несвойственные формы.

Вполне уважая европейскую мысль и науку и сознавая необходимым постоянно изучать смысл современных явлений, редакция «Паруса» считает своею обязанностью прямо объявить, что «Парус» будучи вполне отдельным и самостоятельным изданием, принадлежит к одному направлению с «Русской беседой», к тому нередко осмеянному и оклеветанному направлению, которое с радостью видит, что многие выработанные им положения принимаются и повторяются теперь самыми горячими его противниками.

Итак, не боясь ложных упреков в исключительности, мы смело ставим наше знамя.

Наше знамя — русская народность:

Народность вообще — как символ самостоятельности и духовной свободы, свободы жизни и развития, как символ права, до сих пор попираемого теми же самыми, которые стоят и ратуют за право личности, не возводя своих понятий до сознания личности народной!

Народность русская, как залог новых начал, полнейшего жизненного выражения общечеловеческой истины.

Таково наше знамя. Мы не имеем гордой мысли быть его вполне достойными. Не давая никаких пышных обещаний, ограничимся теперь кратким изложением нашей программы.

Характер нашей газеты — по преимуществу *гражданский*, то есть она по преимуществу должна разрабатывать вопросы современной русской действительности в народной и общественной жизни и так далее. Статьи ученого содержания будут помещаться только тогда, когда они обобщают предмет, делают его доступным для общего понимания. Чисто литературные статьи, то есть произведения так называемой изящной словесности, всегда найдут себе место в нашей газете, если не противоречат духу и направлению издания. Но мы особенно приглашаем всех и каждого сообщить нам наблюдения над бытом народным, рассказы из его жизни, исследования его обычаев и преданий и т. п.

Сверх того, мы открываем в «Парусе»:

1) Отдел библиографический, в котором предполагаем отдавать краткий, но по возможности полный отчет о выходящих в России книгах и периодических изданиях.

2) Отдел *областных известий*, то есть писем и вестей из губерний. Наши провинции не имеют центрального органа для выражения своих нужд и потребностей: мы предлагаем им нашу газету.

3) Отдел славянский, или — вернее сказать, отдел писем и известий из земель славянских. С этою целью мы пригласили некоторых литераторов польских, чешских,

сербских, хорватских, русинских, болгарских и так далее быть нашими постоянными корреспондентами. Выставляя нашим знаменем русскую народность, мы тем самым признаем народности всех племен славянских. Вот что, между прочим: мы писали ко всем славянским литераторам: «Во имя нашего племенного родства, во имя нашего духовного славянского единства, мы, русские, протягиваем братские руки всем славянским народностям: пусть развивается каждая из них вполне самобытно! пусть каждое племя внесет свою долю труда в общее дело славянского просвещения! пусть каждое свободно, смело, невозбранно совершает свой собственный подвиг, возвестит свое слово, обогатит своею посильною данью общую сокровищницу славянского духа! Все мы, чехи, русские, поляки, сербы, хорваты, болгары, словенцы, словаки, русины¹⁹, лужичане, все мы, выражая собою разные стороны многостороннего духа славянского, взаимно пополняем друг друга и только дружную совокупность трудов можем достигнуть полноты славянского развития и отстоять свою умственную и нравственную самобытность. Не внешнее политическое, но внутреннее духовное единство нам дорого. Не одно материальное прусупеяние, но познание, изучение, хранение и разработка основных начал славянских — вот что необходимо славянским народам, дабы они могли явиться *самостоятельными* деятелями общечеловеческого просвещения и обновить ветшающий мир новыми силами... Да, мы твердо верим, что наш искренний призыв не останется без отклика и что многоразличные племена славянские хотя в области науки и литературы войдут друг с другом в общение мысли и возобновят союз племенного и духовного братства! Ждем ответа!»

Будем надеяться, что общество не откажет в сочувствии нашему предпринятию.

1858

РЕЧЬ О А. Ф. ГИЛЬФЕРДИНГЕ, В. И. ДАЛЕ И К. И. НЕВОСТРУЕВЕ ²⁰

Милостивые государи!

Тяжел был для нас прошлый високосный год. Выбыли силы, нелегко заменимые, и убыль значительно перевесила прибыль. Русская словесность, а с нею и небольшой круг людей, составляющих наше Общество, понесли важные утраты: 20 июля²¹ мы лишились Александра Федоро-

вича Гильфердинга, 22 сентября скончался Владимир Иванович Даль, а 29 ноября не стало и Капитона Ивановича Невоструева.

Неодинакова судьба и неодинаково значение этих трех подвижников русской науки и русского слова; различные дарования — мы и не намерены их сравнивать, но при всем различии немало и общего — особенно во внутреннем содержании их деятельности.

Один, именно Гильфердинг, сошел в могилу в самой лучшей поре своих лет, не успев докончить самой главной своей работы, для которой всю свою предшествовавшую, полезную деятельность считал только подготовлением. Столько уже было дано и совершено им одним на всех разнообразных поприщах его кратковременной жизни, что этого дела достало бы на заслугу многим, и многие тем бы и удовлетворились; но не в природе Гильфердинга было ослабевать и успокаиваться, да и мы не переставали простирать все новые и высшие требования к этой ведомой нам силе труда и таланта. Он не был художником слова; для него — человека науки и мысли — русская речь служила по преимуществу средством для объяснения истин исторических, этнографических, политических; однако ж и филология входила в круг его научных исследований, а в последнее время привлекла его к себе область русского песенного народного творчества, и не только привлекла, но и напрягла его ученую любознательность до крайней степени самоотвержения, далее которой не может идти человек: он пожертвовал ей здоровьем и самой жизнью, — болезнь и смерть застигли его в самом странствии — в поисках за былинами и сказаниями. Он умер на 41 году своего возраста.

Напротив того, ровно и мерно дошел Даль до края своего долгого земного поприща, успевши оправдать всю полноту возлагавшихся на него надежд, — дать все, что по собственному его сознанию он в силах был дать, и под конец жизни воздвигнув себе вековечный памятник своим «Толковым словарем живого великорусского языка». Даль также не может быть назван художником-созидателем в тесном смысле этого выражения, но русское слово не было для него только средством: нет, оно само по себе было для него предметом и целью, преимущественно с художественной своей стороны, — не наше книжное, искалеченное, чуждое слово, а именно слово живое, которое он всю жизнь, везде и всюду подбирал из уст самого народа. Поэтому и в произведениях Даля, относящихся, по своей внешней форме, к разряду «изящной словесности», видится одна

главная задача: воспроизвести собственно это же слово в его жизненной обстановке, во всей его меткости и уместности! Оттого и язык его повестей и рассказов — не столько органическая, творческая речь самого автора, сколько живой талантливый подбор народных выражений, поговорок, пословиц, — будто нити, нанизанные зернами. Все мы слышим кругом себя народную речь, всюду она раздается, но она скользит мимо нас, не задерживая на себе нашего внимания; нужно обладать особенным художественным слухом и глубоким сочувствием к народу для того, чтоб в слышимом говоре услышать его живые особенности, его красоту, подметить, уловить все изгибы и оттенки смысла и таким образом обратить их в достояние науки, словесности, — вообще народного самосознания. Этим слухом, этим сочувствием и обладал в высшей степени Владимир Иванович Даль. Если обратиться воспоминанием к самому началу его литературной деятельности под именем *Козака Луганского*, — нельзя не поразиться смелостью и самостоятельностью его почина и вообще всею его нравственною оригинальною фигурою, с отчетливыми, строгоопределенными очертаниями, — так резко выдающегося на сером фоне наших тогдашних литературных и общественных нравов, нашей — столько модной в то время псевдоартистической распушенности и легкомысленного, полупрезрительного отношения к русской простонародности. Точность слова, точность намерений, точность действий, точность в жизни общественной и домашней... все у Даля было точное и словно точное. И вся эта нравственная особенность и сила применена была к труду, а самый труд — труд всей жизни — приложен к изучению русского простонародия. Моряк, медик, механик, чиновник, практик во всем умелый, всюду бывалый — таков был этот собиратель живого народного слова. Но ошибался тот, кто при жизни Даля признавал его сочувствие к народу чисто внешним и самого Даля вполне завершнным и удовлетворенным внутренне. Нет, этот практический, положительный человек, датчанин и лютеранин по рождению, невольно подчинился и духовному влиянию русской народности, тяготился противоречием своего религиозного внутреннего строя с народным и наконец разрешил это противоречие, окончательнo объединившись с народом в вере за несколько месяцев до кончины. Бестрепетно, без судорожных прицепов к жизни, с упованием, верный самому себе, встретил он смерть, — и в то же время с обычною точностью расчета определил заранее день и час кончины и распорядился всеми мелочными подробностями похорон.

И Гильфердинг, и Даль — оба не русские по крови; но тем более причины для нас радоваться той нравственно притягательной силе русской народности, которая умела не только вполне усыновить себе этих иностранцев по происхождению и привлечь их к разработке своих умственных богатств, но и одухотворить их не русское трудолюбие русской мыслью и чувством. Да, страстно преданные России и русскому народу, оба они — и Гильфердинг, и Даль — в то же время не по-русски (к счастью, может быть, для дела) относились к труду. Это не русское свойство видимы в упорстве труда, в размеренном и вместе неослабном, настойчивом движении к цели, в правильном распределении работы, одним словом, в таком отношении к труду, которое не нуждается во внешнем возбуждении, чуждо запальчивости, не знает ни скачков, ни перерывов, ни лени, ни унынья, не ищет одолеть задачу сразу, приступом или запоем, — что так свойственно нам, природным русским, — но которое является действием высокого самообладания, всегда бодрой, спокойно и ровно напряженной воли.

Некоторые готовы умалять нравственное достоинство подобного отношения к труду, полагая, что так трудиться способны будто бы только натуры односторонние и что при разнообразии талантов, при той многосторонней даровитости — так выходит из их слов — которую как бы страдает русская природа, сосредоточение сил на одной какой-либо задаче, в тесных рамках какой-либо специальности, для нее почти невозможно. На этом основании склонны — и очень склонны у нас — не только извинять русскую лень и распушенность, но и возводить их чуть не в достоинство. Но если и справедливо, что живость ума и широкая даровитость менее способны к формальному сосредоточенному труду, то тем необходимее для них напряжение воли, тем обязательнее для них усвоение того знания и тех приемов труда, без которых самый блестящий талант остается бесплодным, — тем почетнее борьба с искушениями собственного духа и тем добычливее победа. Пример гениальных ученых и художников чужих стран свидетельствует, что трудолюбие несколько не несовместно с самою широкою гениальностью, но, напротив, оно-то ее и оплодотворяет. У нас же наоборот. Мы не умеем работать, не уважаем трудолюбие — оттого при всей нашей даровитости мы так мало производительны: пропорциональное отношение цельных, законченных ученых и литературных у нас трудов к сумме дарований, которыми изобилует Россия, поразительно скудно.

Но есть и у нас исключения, которые тем почетнее, что

они одиноки, всем обязаны себе самим, а не среде, в которой возникли, — и вот одним из таких исключений, и притом самым крупным, был наш покойный сочлен, Капитон Иванович Невоструев.

В самом деле, в Невоструеве — этом скромном, до сих пор мало известном в России и великом труженике — трудолюбие является уже не только похвальным и полезным качеством, а истинно высокою добродетелью, восходит на степень духовного подвига. Если оно не отличалось, быть может, тем методическим характером, какой замечается у Даля и Гильфердинга, то в нем выступает иная, особенная, нравственная и совершенно русская народная черта — черта безграничного смирения, способность трудиться без всякой подпоры извне, без поощрения, без утешений славы, в нужде и скорби, одним словом, не приемля здесь мзды своей.

Вся жизнь его была посвящена изучению и исследованию памятников церковнославянской письменности — работе тяжелой и неблагодарной — в том именно смысле, что она менее всего была способна доставить ему у нас в России видное положение, выгоды материальные и ободряющую популярность. А между тем его ученые разыскания драгоценны для нашего исторического самосознания, — и одно уже его описание рукописей Синодальной библиотеки²² способно увековечить его имя в русской науке. — Но все это не помешало Невоструеву жить и умереть преждевременно в совершенной бедности, — почти непризнанным и не оцененным, как бы в загоне. Только опустивши его в могилу, поздно спохватились и поняли у нас, какая схоронилась, вместе с ним, громада ученого знания, какая исполнская сила труда — и какая нравственная доблесть, какое величие смирения!

Памяти этих трех трудолюбцев, подвизавшихся на поприще русской словесности, мы и посвящаем наше настоящее, в то же время очередное годовое заседание. Почти и дело, совершенное ими, и нравственный подвиг их жизни: да назидаются их примером живые. После годового отчета, который прочтет г. секретарь, вы услышите, милостивые государи, более подробные воспоминания о трех покойных сочленах, изложенные по очереди в порядке утрат, понесенных нашим Обществом, — именно о Гильфердинге прочтет вам Н. А. Попов; о В. И. Дале — его сотрудник и ученик П. И. Мельников, столько известный в литературе под псевдонимом Андрея Печерского, псевдонимом, который придуман был для него самим Далем; а о Невоструеве — Е. В. Барсов²². Но так как статья Н. А. Попова касается

только одних учено-литературных трудов Гильфердинга, то я позволю себе здесь, так сказать, предвосполнить его статью сообщением некоторых, недостающих ей биографических данных.

Он родился в 1832 году, в Варшаве, от отца-лютеранина, происхождением, кажется, из Голландии, но уже русского уроженца и воспитанника Московского университета, и от матери-католички, уроженки острова Цейлона. По желанию отца, Александр Федорович, при самом рождении, был окрещен по обряду православного исповедания. Его отец, достойно подвизавшийся на государственной службе и преимущественно на дипломатическом поприще, пользовавшийся с молодых лет дружбою и уважением Хомякова и Погодина, которого он был университетским товарищем, — хотел непременно, чтобы и сын его окончил воспитание в Москве и в Московском же университете. Еще студентом усердно посещал Александр Федорович Алексея Степановича Хомякова, и под его-то благотворным сильным влиянием определилось в юноше Гильфердинге то направление деятельности, которому он остался верен всю жизнь и которое в истории нашей литературы и общественного внутреннего развития получило название «славянофильского». Таким образом в основание труженичества Гильфердинга легли с самого начала живые сочувствия и живая мысль. Работать, сколько хватит сил, на пользу русского народного самосознания и славянской взаимности — вот задача, которую он поставил себе при выходе из университета в 1852 году, будучи 20 лет от роду, и которой послужил неизменно до конца, то есть еще 20 лет своей жизни. Эти 20 лет были одно непрерывное деланье. Труд был его стихией, но труд не только отвлеченно-научный. Кабинетный ученый, проводивший ночи в разборе болгарских и сербских древних рукописей, — публицист, всегда беспристрастным и трезвым словом судивший о самых жгучих политических вопросах современности, — отважный путешественник, совершавший хладнокровно самые опасные странствования, консул-дипломат между славянами, поработанными Турцией, всегда высоко державший русское знамя²³, — замечательный работник в канцеляриях Государственного Совета и Главного комитета по крестьянскому делу, — везде и всюду имел Гильфердинг пред собою одну заветную цель, подвигаясь к ней спокойно, шаг за шагом, неутомимо, упорно. Поэтому не отказывался он от участия и ни в каком общественном, даже по-видимому постороннем для него, деле, если только мог быть ему полезен и улучшить для него хоть минуту досуга. Но как ни был

он много и разнообразно занят, всегда отыскивалось у него столько досуга, чтобы ободрить и облегчить чужой начинающийся труд в родной ему области науки, сообщая трудящемуся, даже без его просьбы, ученые пособия и указания. Особенно много послужил Гильфердинг славянскому делу: это была его специальность. Его неоднократные путешествия по славянским землям, его исторические исследования и статьи по современным вопросам славянского мира, всегда отличавшиеся ясностью мысли и изложения, особенно сильно содействовали установлению живых отношений к славянам и возбуждению к ним разумного и просвещенного сочувствия в среде русского общества. Я не стану перечислять его сочинений, об этом вам подробнее сообщит Н. А. Попов. Скажу только, что ни ученая, ни общественная его деятельность не прерывалась ни разу.

Избранный в 1871 году в председатели Этнографического отдела Русского географического общества, Гильфердинг, как ни занят был службой и другими делами, однако же верный своим правилам, не отказался от этого звания, и здесь привлек его к себе новый могучий интерес, близко, впрочем, связанный с главным предметом его занятий — русское народное эпическое творчество. Несмотря на слабость своего телосложения и хилость здоровья, он отправился летом 1871 г. на поиски в Олонецкую губернию, в самые глухие ее места, и, преодолев всевозможные лишения и даже опасности, возвратился оттуда с огромным запасом им записанных былин и песен. Поместив в «Вестнике Европы» чрезвычайно интересное описание своего путешествия и наблюдений своих над певцами и над самым процессом современного устного сказания древних былин и песен, приготовив к изданию все им собранное, Гильфердинг летом 1872 года вновь поспешил в Олонецкий край, чтоб пополнить свое собрание. Переплывая Онежское озеро, толкаясь на барке среди рабочих, он заразился тифом, и в несколько дней его не стало. Он погиб, как боец, в честном бою, в самом разгаре и на поле своей деятельности, жертвой любви к русской науке и русской народности.

Он умер, не дождавшись появления в свет тех трудов своего учителя, вечно памятного председателя нашего Общества, Алексея Степановича Хомякова²⁴, на издание или, вернее, на ученую редакцию которых он положил столько добросовестной работы и столько горячей любви. Я разумею III и IV томы «Сочинений» Хомякова, содержащие в себе «Записки о Всемирной истории», — вышедшие два месяца тому назад.

Здесь, кстати, могу я возвестить, что в непродолжи-

тельном времени выйдут из печати труды также сподвижника и друга Хомякова, К. С. Аксакова. Я разумею здесь собственно его филологические труды, которые составят два больших тома — II и III томы Полного собрания его сочинений. В III томе помещается его «Опыт русской грамматики», посвященный нашему Обществу; первый выпуск этой «Грамматики» появился в печати еще перед кончиной автора. Многие обстоятельства помешали, к сожалению, своевременному изданию этих томов; но смею думать, что появление их и теперь не может быть признано запоздалым²⁵.

В заключение, милостивые государи, обращаясь к годичной деятельности нашего Общества, я должен сказать, что она сосредоточивалась преимущественно на ученой разработке и на увековечении в печати произведений нашего народного устного творчества. Благодаря неутомимым трудам нашего уважаемого секретаря, П. А. Бессонова, издан под его редакцией в прошлом 1872 г. 9-й выпуск «Песен, собранных Киреевским», под заглавием «Восемнадцатый век в русских исторических песнях после Петра Первого». Остается издать еще один выпуск — 10-ый и уже последний, — содержащий в себе песни новейшие, первой половины нынешнего столетия, — и тем завершится наконец издание этого драгоценного собрания. К 9-му выпуску приложены г. Бессоновым и собственные его исследования о песнотворчестве XVIII века, раскрывающие нам тот внутренний процесс разложения и перерождения, который совершался в народной песне после Петровского переворота, под влиянием разных новых и чуждых, вторгшихся в русскую жизнь элементов и, наконец, того взаимодействия, которое установилось в конце прошлого столетия между поющим народом и целою возникшею литературою печатных и рукописных песенников. В эту эпоху появляется авторство, доселе почти не известное в народной безличной поэзии, — можно проследить историю многих песен, и г. Бессонов представил нам, между прочим, историческую монографию одной из таковых песен, озаглавленную им: «Графиня Прасковья Ивановна Шереметева, крестьянка села Кускова»²⁶. Смею обратить ваше особенное внимание на эту монографию, интересную не для одних ученых, но заключающую в себе все данные для художественного романа из русской жизни конца XVIII века, простонародной и барской.

При содействии же нашего Общества изданы и «Причитанья Северного края», собранные нашим сочленом, Е. В. Барсовым, именно часть первая, заключающая в себе

«плачи похоронные, надгробные и надмогильные»: это единственный вид пребывающего покуда, еще не иссякшего народного творчества. Это не отпетое, окостеневшее и только по памяти передающееся слово народной старины, но живое, творящееся слово народного вдохновения в настоящую пору, в современной действительности. Важность труда г. Барсова, сумевшего почерпнуть для нас струю народной поэзии из ее живого источника, так очевидна, что не требует и объяснения; она оценена не только русской, но и заграничной критикой, чему доказательством служат отзывы английских журналов «*Athenaeum*» и «*Akademy*», а также славянских «*Politik*», «*Corr spondance Slave*», и др. Остается только пожелать скорейшего появления в свет остальных частей его сборника.

Могут заметить, что наше Общество ограничивается почти исключительно одною издательскою деятельностью. Это замечание справедливо. Общество действительно занимается тем, что едва ли не всего более на потребу в настоящее время. Мы живем в эпоху быстрого разложения бытовых народных основ — неминуемое последствие неминуемых преобразований, давно прошенных и желанных и наконец к счастью совершившихся. Старый исторический склад народной жизни рушится и задвигается целыми слоями новизны еще видоизменяющейся, еще не окрепшей и не устоявшейся. Все еще бродит, ищет, чаёт, ничто не сложилось, не осело, ничто не прочно, живет день за день. Такая эпоха брожения, эпоха переходная, вообще не благоприятна ни для спокойного труда мысли, ни для художественного авторского созидания, но она еще губительна для художественного народного творчества, — так как самый быт художника-творца, самый быт народа, — он-то и в пределе. Рядом с наплывом внешних экономических интересов, так долго пренебреженных, но зато и чересчур уже сильно овладевших теперь умами и оттеснивших на задний план интересы чисто духовные, десятки тысяч школ предлагают народу просвещение, если и скудное в смысле духовном и нравственном, то все же выводящее его из стихийной области быта в область сознания или, по крайней мере, полусознания. — Таков роковой, но неминуемый ход вещей, вероятно только временный, ведущий нас к новой поре исторической жизни. Поэтому надо спешить собрать и уберечь от неизбежной гибели последние памятники, последние звуки народного эпоса и того непосредственного народного поэтического творчества, которое, видимо, отживает. Лет через 10, в помутившейся народной памяти не останется от них и следа. На чьей же обязанности лежит

по преимуществу эта забота о сбережении сокровищ нашей народной поэзии, как не на Обществе любителей русского слова? И оно, милостивые государи, как вы видите, строго сознает и по мере сил своих исполняет эту высокую обязанность.

РЕЧЬ О А. С. ПУШКИНЕ ²⁷

Сорок три года тому назад такими, между прочим, стихами проводил Пушкина в могилу один из лучших и умнейших наших поэтов, Тютчев:

Тебя как первую любовь
России сердце не забудет...

Это не общее место. Это верно схваченная, историческая, выдающаяся черта отношений к Пушкину русского общества. В самом деле, наша связь с ним не какая-либо рассудочная, на отвлеченной оценке основанная, а сердечная, теплая, живая связь любви и до сих пор. Такой связи не было и нет у русского общества ни с одним поэтом. Одним ли художественным достоинством и значением Пушкина в искусстве в о о б щ е может быть объяснена такая живость и прочность сочувствия? Не таятся ли причины этого явления еще в чем-либо другом: в его историческом для нас значении, в самих психических свойствах его художественной природы, в той народной стихии, наконец, которой вся обвеяна и согрета его поэзия?

Пушкин не только наша неизменная любовь, но еще и первая любовь. На заре нашего народного самосознания русское общество в нем впервые познало, говоря его же стихом, тот «первый пламень упоенья», который оставляет неизгладимый след в благодарной памяти сердца. А память сердца в жизни исторического народа не исчерпывается сроком нескольких поколений. Таково свойство высоких созданий вполне искреннего искусства, что они на вечные времена запечатлеваются духом истины, духом жизни, давшим им бытие. Таково свойство и созданий Пушкина. На их художественной вековечной прелести лежит еще и неотъемлемая, вечная же историческая печать весны и ее свежести, какой-то новоявленной радости, первого озарения русских сердец светом неложного русского искусства.

Отчего же «неложного»? Отчего, говоря о Пушкине как о поэте, мы все, без различия, сознательно и невольно, прибавляем эпитет: «истинно русский», «истинно народный»? Зачем нужна эта оговорка? В чем именно смысл той

исторической минуты, печать которой легла на его творениях?..

Есть такие счастливые на земле страны, где совершенно праздны, да и немислимы, вопросы: народен или ненароден такой-то поэт или писатель?! где нет погони за «народностью», где народность есть именно та самая стихия, которой образований, органически правильно сложившийся слой народа (то есть общество) естественно живет, движется и творит, — которая, другими словами, проявляет себя свободно и разнообразно в личной сознательной деятельности народных единиц: и в искусстве, и в науке, и в жизни!.. В тех счастливых странах народность в литературе познается не по внешним приметам, не по употреблению только, например, простонародного говора, не по выбору содержания из простонародного быта, не по тому, наконец, доступна ли книга разумению каждого, знающего грамоту, крестьянина. Без сомнения, гётевского Фауста или идеалов Шиллера с Пигмалионом, лобызавшим мрамор, не поймет даже и немецкий, не обучавшийся в гимназии пахарь; но кто же когда-либо решался или решится утверждать, что Гёте и Шиллер поэты не национальные? Разве их великие творения не заклеены насквозь печатью германского народного духа, подобно тому как творения Шекспира — духа британского? Этого мало: разве не германский народный дух сказался в германской философии, в таких силачах абстрактной логической мысли, как Кант или Гегель? И с другой стороны, разве эта печать сколько-нибудь мешает им при этом иметь значение мировое? Напротив: только потому, что на их творениях лежит печать даров их народного духа, могли эти великие поэты и мыслители явить миру новые стороны духа общечеловеческого, обогатить такими многоценными вкладами сокровищницу общечеловеческого сознания. Кажется, это ясно, и было бы даже совестно толковать такую простую до пошлости истину, если бы даже и в наши дни не возникали порою какие-то странные недоразумения по вопросу о народности...

История судила России иной путь развития. Переходу в русском народе от общности непосредственного бытия к высшей жизни и деятельности народного духа в сфере личного сознания рано или поздно надлежало, разумеется, совершиться — и он совершился, но поздно и не мирным органическим процессом, а мучительнейшим из переворотов. Кто бы ни был в том виноват, сам ли народ, Петр ли Великий, могло ли бы или не могло оно совершиться иначе, эти вопросы теперь излишни; важен самый истори-

ческий факт. А факт таков (и этого не отринет ни один историк), что русская земля подверглась внезапно страшному внешнему и внутреннему насилению. Рукой палача совлекался с русского человека образ русский и напяливалось подобие общеевропейца. Кровью поливались, спешно, без критики, на веру, выписанные из-за границы семена цивилизации. Все, что только посило на себе печать народности, было предано осмеянию, поруганию, гонению; одежда, обычай, нравы, самый язык, — все было искажено, изуродовано, изувечено. Народность, как ртуть в градуснике на морозе, сжалась, сбежала сверху вниз, в нижний слой народный; правильность кровообращения в общем организме приостановилась, его духовная цельность нарушена. Простой народ притаился, замкнулся в себя, и над ним, ближе к источнику власти, сложилось общество: вольные и невольные отступники его духа. Русский человек из взрослого, из полноправного, у себя же дома попал в малолетки, в опеку, в школьники и слуги иноземных всяких, даже духовных дел мастеров. Умственное рабство перед европеизмом и собственная народная безличность провозглашены руководящим началом развития.

Только такому могучему народному организму, каков русский, под силу вынести и перебыть подобное испытание, которому, впрочем, конец далеко еще не настал. Тяжко пришлось русским людям; но обращаться вспять было уже нельзя, — да и нежелательно. Оставалось идти вперед, овладеть сокровищами и орудиями европейского просвещения и трудным подвигом самосознания расторгнуть оковы народного духа, воссоединить разрозненные слои, одним словом, возратить русской народной жизни свободу, цельность, правильность и плодотворность самобытного органического роста. Вот этой-то, выпавшей в удел русскому обществу исполинской задачей и объясняется то странное явление, которому почти нет подобного в других странах, именно: что сама народность в народе становится объектом сознания, внешней целью, искомым, что возможны у нас вопросы о народности художника, мыслителя и государственного деятеля, что приходится учиться ей в истории и у простого народа, что в русской земле могло возникнуть отдельное русское же направление — в литературе, в политике, в жизни, и стоять о с о б н я к о м, как нечто оригинальное и даже исключительное!..

Перенесемся, однако, мыслию к началу этого тяжелого и тернистого поприща. Устремившись из своей тесной национальной ограды в пролом, сделанный мощною рукою Петра, русское общество, сбитое с толку, с отшибленной

исторической памятью, избывшее и русского ума и живого смысла действительности, заторопилось жить чужим умом, даже не будучи в состоянии его себе усвоить. Нескладно и безобразно залепетало оно дикою смесью простонародного говора, церковнославянского языка и изуродованной иностранной речи. Чужой критериум, чужое мерило, чужие формы, чужое миросозерцание. Жизнь наводнилась ложью, призраками, абстрактами, подобиями, фасадами — и колоссальным недоразумением между народом и его так называемой «интеллигенцией» официальной и неофициальной, консервативной и либеральной, аристократической и демократической.

Но деятельность духа все же началась! Русская земля не оскудела в нужный час талантами. Мысль была еще слишком слаба; наука на степени школьного знания, — но поэзия обогнала тугой рост русского просвещения, и в этом ее особенное историческое у нас значение. Первый русский ученый, явивший образцы самостоятельного русского помышления, Ломоносов, был и первый по времени русский поэт, ускорявший работы научного анализа поэтическим вдохновением. Затем, от Ломоносова до Карамзина (впрочем, также полухудожника), не приходится назвать почти ни одного видного деятеля науки, тогда как за то же время целый преемственный ряд более или менее замечательных поэтических дарований не перестает возделывать умственную и нравственную почву русского общества. Таким образом, русской литературной поэзии выпал жребий, в течение довольно долгой поры, за недостатком у нас воспитания научного, служить почти единственным орудием, по крайней мере, эстетического воспитания и образования в русском обществе. Конечно, форма, содержание, вся окраска в этой поэзии была еще не русская, и только мощный талант Державина метал иногда, из-под глыб всяческой лжи, молнии истинно русского духа. Но при суждении о литературных талантах той эпохи не следует упускать из виду те нравственные пути, которыми они были обмотаны, ту трату сил, которая требовалась им для борьбы с подавлявшей их самих ложью. Все же, несмотря на фальшь, звучавшую в тогдашней поэзии, покорялся искусству самый материал его — слово, и русскому слуху стала опознаваться в стихотворной форме сила и гармония русского языка в такое еще время, когда в прозе царила самая неуклюжая, варварская речь. Только в поэзии находило себе некоторое удовлетворение угнетенное русское чувство и отдыхало от отрицания, господствовавшего в мышлении и в жизни, — хотя, по истине, отдыхало лишь в новом само-

обольщени. На крыльях лирического восторга уносилось оно в какую-то чужую псевдоклассическую, населенную призраками высь, далеко над настоящей русской землей, дичась всякой жизненной правды. Так было особенно в XVIII веке, в эпоху «наших Пиндаров», «наших Горациев», «наших Северных Бардов» и т. д.

Из псевдоклассических высот поэты стали, наконец, при помощи романтических ходуль касаться дола. И хотя Жуковский, благородный Жуковский, с «его стихов пленительною сладостью» (по выражению Пушкина), равно и Батюшков, «наш Парни российский» (как величал его Пушкин же, впрочем, еще в 1814 году, еще мальчиком), хотя оба они резко отделяются от всех своих предшественников, однако же и они, когда спускались на землю, то на какую-то чужую, не русскую. Их местами прелестная, хотя вообще однозвучная поэзия лишена внутренней силы и совершенно безлична в смысле народности... Вообще надобно заметить, что время Александра I было в некоторых отношениях едва ли не хуже времени Екатерины. В XVIII веке русские люди еще только перерядились, и в ином вельможе из-под пудреного парика и французского кафтана торчал порою чуть не прямой русский мужик, а щеголеватый французский жаргон сменялся подчас истою простонародною речью. К началу XIX века русские люди успели уже переродиться и так вошли в иноземные обычаи, нравы, понятия, что приобрели даже развязность и ловкость «почти» европейского человека. Простонародная или коренная народная речь не только ими забывается, но даже поражает их как бы новизной. Они и патриоты, и, пожалуй, ревнители «всего отечественного», но даже и не подозревают, в простодушной надменности своего европейского просвещения, всей глубины своей духовной розни с народом. Прежняя грубая, внешняя ложь сменилась ложью сугубою, внутреннею, б л а г о о б р а з н о ю. Язык, литература, поэзия — все получает вид гладкой, порой даже изящной н е р у с с к о с т и или безличности. Вспомните, например, даже официальные, печатные, всенародные от лица власти объявления, где благодаря, конечно, стилистам того времени, русский царь именуется «начальником столь достойной и благородной нации»; вспомните письма и повести Карамзина, повесть об Усладе самого Жуковского²⁸ и прочее и прочее. Даже гроза 1812 года не прибавила костей и мускулов, не придала правды слогу тогдашних писателей, не только в прозе, но и в поэзии.

В 1819 году в торжественном заседании нашего же Общества любителей российской словесности и в этом же са-

мом зале рассуждалось «о господине Буало и гении Корнеля, сих вечных образцах искусства». Расширяя, однако, число образцов и поприще для русской литературы, ученый, достойный всякого уважения, председатель общества Мерзляков вещал, между прочим, в своей речи таким образом: «Почтенные мужи!.. Птичка научила человека радоваться и воспевать свою радость... Пусть на цветущем поле нашей словесности резвятся в разнообразных группах Амуры, Зефиры и Фавны». Вы улыбаетесь и снисходительно припоминаете, что все это ведь говорилось 61 год тому назад...

И в том же самом 1819 году раздаются в слух русского общества такие, например, стихи 20-летнего Пушкина:

Художник-варвар кистью сонной
Картину гения чернит
И свой рисунок беззаконный
На нем бессмысленно чертит;
Но краски новые, с годами,
Спадают ветхой чешуей,
Созданье гения перед нами
Выходит с прежней красотой *и пр.*

Стихи также написаны 61 год тому назад, но здесь искусство достигло того зенита зрелости и совершенства, с которого никакое уже время не сводит.

Точно день, белый день, настал для русского общества с появлением Пушкина. Призраки, обманные очертания ночи отшатнулись, уступив место правде дня с ее простотою и красою. Творчеству русского духа, по крайней мере в сфере поэзии, возвращена свобода и полноправность. Поэтическое откровение опередило работу нашего народного самосознания и разрешило задачу, — до теоретического разрешения которой мысль и наука только теперь дорастают. Какая богатырская сила таланта нужна была для того, чтобы, подобно подземному ключу, поднять, своротить все эти плотные наслоения лжи и пробиться наружу таким величавым потоком русской поэзии? Но одного свойства силы было здесь недостаточно. Только великий, совершенно искренний и цельный мастер-художник, только (говоря поэтической метафорой) жрец чистого искусства, никаких задач вне искусства не знающий, но притом с живой русской душой, мог совершить такой великий исторический общественный подвиг. Пушкин как художник стоит уже не на относительной, а на абсолютной высоте, не подлежа сравнению ни с каким ино-

странным поэтом, не как «наш Гораций», «наш Парни» или «наш Байрон», а сам по себе, как Пушкин. Правда русской народности могла завоевать себе всемирное гражданство в искусстве только через безусловную в самой себе правду искусства. И именно потому, что Пушкин был служителем чистого, то есть искреннего в себе самом искусства, не обращал поэзию у м ы ш л е н н о в о р у д и е разных предвзятых идсй и теорий, ни политических, ни социальных, не сузился в доктринера, не ставил себе внешнею целью «пользу», не послушался толпы сторонников грубого утилитаризма, а неуклонно слышал в душе своей иной божественный голос: «не о хлебе едином жив будет человек», — т о л ь к о п о т о м у и я в и л с я он таким беспредельно п о л е з н ы м общественным деятелем. Да, потому именно и стало велико и бессмертно историческое дело Пушкина, что он мог с полной искренностью и полным правом сказать о себе:

Не для житейского волненья,
Не для корысти, не для битв,
Мы рождены для вдохновенья,
Для звуков сладких и молитв...

Какой еще «пользы» нужно? Да ведь такие стихи, такие звуки — благодеяние!

Не совершил бы Пушкин своего подвига, сказал я, если б он не был цельный художник с живою русскою душою. Эта русская стихия видится мне не в одном только русском языке, доведенном Пушкиным до изумительного совершенства, силы, образности и мужественной красоты, и не во внешнем только содержании его некоторых творений, но еще более во внутренних сторонах его творчества. Вообще можно лишь удивляться, каким образом, при его французском воспитании дóма и в лице, при раннем, к несчастью, растлении нравов, обычном в то время вследствие безграничного господства в русском обществе французской литературы XVIII века; при соблазнах и увлечениях света, — мог не только сохраниться в Пушкине русский человек, но и образоваться художник с таким русским складом ума и души, с таким притом глубоким сочувствием к народной поэзии — в песне, в сказке и в жизни?.. Внешнюю разгадку этого явления следует искать, прежде всего, в деревенских впечатлениях детства и в его отношениях к н я н е. Но и няня и детские впечатления деревни таились тогда в воспоминаниях почти каждого отъявленного отрицателя русской народности, так что такая русская бытовая черта в поэзии Пушкина является уже сама по себе

нравственной его заслугой и оригинальной особенностью. В самом деле, от отрочества до самой могилы этот блистательный прославленный поэт, ревностный посетитель гусарских пиров и великосветских гостиных, «наш Байрон» притом, как любили его называть многие, не стыдился всенародно, в чудных стихах, исповедывать свою нежную привязанность — не к матери (это было бы еще не странно, так и многие поэты делали), а к «мамушке», к «няне», и с глубоко искренней благодарностью величать в ней первоначальную свою музу... Так вот кто первая вдохновительница, первая муза этого великого художника и первого истинно русского поэта, это — няня, это простая русская деревенская баба!.. Точно припав к груди матери-земли, жадно в ее рассказах пил он чистую струю народной речи и духа! Да будет же ей, этой няне, и от лица русского общества вечная благодарная память! Невозможно не упомянуть здесь этой няни собственными стихами Пушкина, в которых к тому же так звенит русскими струнами его душа... Вот что еще в лицее, воспевая одновременно с товарищами разных Эльвин и Дорид, еще в 1816 г., писал он:

Ах, умолчу ль, о мамушке моей,
О прелести таинственных ночей,
Когда в чепце, в старинном одеянье,
Она, духов молитвой уклоня,
С усердием перекрестит меня
И шепотом рассказывать мне станет
О мертвецах, о подвигах Бовы...
От ужаса не шелохнусь бывало,
Едва дыша, прижмусь под одеяло,
Не чувствуя ни ног, ни головы...
Пред образом простой ночник из глины
Чуть освещал глубокие морщины.

Заметьте, что в это время в нашей литературе если и встречалось благосклонное упоминание о русской женщине из простонародья, то не иначе как о «простодушной поселянке»... Но каким зрелым художественным совершенством звучат стихи 1821 года:

Наперсница волшебной старины,
Друг вымыслов игривых и печальных,
Тебя я знал во дни моей весны,
Во дни утех и снов первоначальных.
Я ждал тебя. В вечерней тишине
Являлась ты веселою старушкой
И надо мной сидела в шушуне,
В больших очках и с резовою гремушкой.
Ты, детскую качая колыбель,
Мой юный слух напевами пленила,

И меж пелен оставила свирель,
Которую сама заворожила...

А эти стихи:

Подруга дней моих суровых,
Голубка дряхлая моя,
Одна, в глуши лесов сосновых,
Давно, давно ты ждешь меня.
Ты под окном своей светлицы
Горюешь, словно на часах,
И медлят поминутно спицы
В твоих наморщенных руках...

За полтора года до смерти, посетив свое родное Михайловское, так вспоминает он об ней:

Вот смиренный домик,
Где жил я с бедной нянею моей.
Уже старушки нет; уж за стеною
Не слышу я шагов ее тяжелых,
Ни утренних ее дозоров.

И тут же три зачеркнутые стиха:

А вечером, при завываньи бури,
Ее рассказов, мною затверженных
От малых лет и никогда не скучных.

Не к ней ли относятся и эти два стиха, вложенные Пушкиным в уста Татьяне:

Где нынче крест и сень ветвей
Над бедной нянею моей...

Многие «народность» поэзии Пушкина усматривают именно в русских сказках и других его произведениях в так называемом «простонародном» роде. Но русская, стало быть, и вполне народная стихия слышится у Пушкина едва ли не наиболее там, где он не ставит себе «народность» внешнею целью, где он вполне свободен и искренен в своем творчестве и отдается без стеснений движениям своей русской души. Оставляя в стороне вопрос, в какой степени верна самая задача: воспроизвести в формах современной литературной поэзии русский народный эпос, — скажу только, что не все создания Пушкина в этом направлении представляются одинаково удачными, но все отличают великого мастера и свидетельствуют, как все глубже и глубже проникал его художественный взор в красоты русского народного эпоса, в золотую руду народного слова. Он даже пришел вообще к убеждению, что рифмованный, точно размеренный стих слишком тесен для русской поэти-

ческой речи и будет когда-нибудь заменен иною, более широкою и свободною формой стиха. Некоторые же простонародные его сказки действительно образцовы, как, например, сказка о Кузьме Остолопе²⁹, о Золотой Рыбке. Припомним, кстати, что, кроме записных ученых, едва ли кто из русского общества был в то время так коротко знаком с народными старинными сказаниями и былинами; едва ли не Пушкин первый заставил признать их художественное достоинство и значение для русского языка. Когда однажды критики напали на Пушкина за его стих:

Людская молвь и конский топ,

утверждая, что это «не по-русски», Пушкину пришлось уличать критиков в безграмотности и невежестве цитатами из «Сборника» Кирши Данилова. Замечательно при этом и увещание Пушкина к критикам: «Не должно стеснять свободу нашего богатого и прекрасного языка!»

Никто до Пушкина не воспроизводил ни в стихах, ни в прозе нашей простой сельской природы с такою простотою истины и с такою теплотою сочувствия. Если встречались, бывало, в нашей литературе описания, то или отрицательной окраски, или природы в о о б щ е, а не именно русской, или же она одевалась каким-то буколическим покровом, а русские мужики являлись в виде Менандров и Дафнисов. И среди всей этой поэтической несправды вдруг такие стихи:

Был вечер. Небо меркло. Воды
Струились тихо. Жук жужжал.
Уж расходились хороводы,
Уж за рекой, дымясь, пылал
Огонь рыбачий...

Или... Но не достало бы и времени приводить примеры. Ваша память сама вам их подскажет. В стихах Пушкина, и теперь захватывающих сердце, не только видится, но и ощущается во всем веянии своей жизни сама родная наша природа. Что же должны были испытывать русские люди, впервые в русской печати прочитавшие такие воспроизведения русской природы? Не своего ли рода эмансипацию русского угнетенного чувства? Не казалось ли им, что они точно возвращаются, после долгой где-то отлучки, на родину, домой, домой!..

Но еще более важны внутренние, нравственные черты его поэзии, чисто русского народного свойства. Я вижу их прежде всего в этом известном русском н а р о д н о м отращении от всякого фразерства, от всего напыщенного,

ходульного, — отвращении, так положительно выразившемся у Пушкина дивной простотой и трезвостью творчества. Пушкин как художник тем именно дорог и замечателен и отличается от большинства многих европейских поэтов, что он всегда искренен, всегда прост, всегда свободен, никогда не позирует, не рисуется, не носитя с своим «я». Он если и выставляет себя, то непременно хуже, легкомысленнее, чем он есть, но не так, как другие, которые не прочь наделить себя даже порочными качествами, но непременно красивыми: гордостью, презрением, ненавистью к людям и т. п. Эта черта в Пушкине в высшей степени симпатична и в высшей степени наша, народная, русская.

Не глубокая ли также русская психическая черта в Пушкине — это чувство реальной, жизненной правды, чуждающееся фальшивых идеалистических прикрас, но в то же время, сквозь отрицательные стороны предмета, умеющее распознать и положительные его стороны, с присущей им красотой? Пушкин первый в нашей литературе отнесся не только к русской природе, но и к воспроизведенным им явлениям русской бытовой жизни с их положительной стороны, и притом с такою верностью, которой мог бы позавидовать любой реалист нашего времени. Вспомните его изображения русской уездной сельской жизни в «Онегине», его «Капитанскую дочку» и множество других: сколько в них правды, и как эта правда согрета и освещена теплым светом сочувствия, но в то же время ограждена в читателе от ложной окраски тонкою, незлобивою иронией! Вот эта способность шутки, это присутствие иронии в уме — тоже коренная, народная черта истинно русского человека: это постоянно присущий русскому человеку антидот³⁰ против всякой излишней, а потому и фальшивой идеализации и против собственного самообольщения. Такая ирония — свойство широкого ума — не есть «отрицание» и не противоречит любви. Она дает лишь усматривать человеку, в свете любви, обратную, юмористическую сторону иной истины, отразившуюся вместе с положительной ее стороной в явлениях ли жизни, в собственной ли душе. Такой грациозной шуткой и доброй умной иронией, прикрывающей иногда легкой формой, глубокую серьезную мысль и целую перспективу мыслей, обилует поэзия Пушкина, особенно же «Евгений Онегин» и именно в изображении «героев». Татьяна, например, о которой он сам сказал:

...Я так люблю
Татьяну милую мою,

является в самом реальном освещении «барышней уездной»

С печальной думою в очах,
С французской книжкою в руках,

и в то же время с книжкою гаданий и снов Мартына Задеки, с простонародными страхами и суевериями. Начертанное с искренним сочувствием изображение Ленского, этого возвышенного душою поэта, предназначенного такой трагической участи, вводится самим автором в д о л ж н ы е размеры двумя стихами:

Он пел поблеклый жизни цвет —
Без малого в осьмнадцать лет...

Пушкин не был поэтом «отрицания», — но не потому, что был не способен видеть, постигать отрицательные стороны жизни и оскорбляться ими, но потому, прежде всего, что не таково было его призвание, как художника; что ему дан был от природы иной талант: усматривать в явлении предпочтительно его положительные, человеческие черты и на них предпочтительно отзываться, минуя те стороны, где даже ирония не у места, где уже нужен бич сатиры (требующий специального дара) или вмешательства власти. Так, из истории Петра Великого он останавливается на пире, заданном Петром в честь примирения его с подданными, из деяний Наполеона — на его посещении чумных в Яффе. Еще потому, может быть, что Пушкин своим русским умом и сердцем шире понимал жизнь, чем многие писатели, окрашивающие ее явления сплошной черною краскою. Здесь же, кстати, можно привести и собственные слова Пушкина в одной из его журнальных статей: «Нет убедительности в поношениях и нет истины, где нет любви».

Да кстати припомним, что он первый понял, первый оценил и взлелеял Гоголя.

Что особенно поражает в Пушкине и является также русскою психическою чертою, тесно, впрочем, связанной с чувством реальной правды, это отсутствие м е ч т а т е л ь н о с т и, в смысле немецкого *Schwärmerei*, и скажу более, даже отсутствие страстности. Я, конечно, разумею здесь исключительно сферу искусства. Пушкин представляет в себе удивительное, феноменальное и глубоко трагическое сочетание двух самых противоположных типов как ч е л о в е к а и как х у д о ж н и к а: знойный африкан-

ский темперамент и чисто русское здравомыслие, поражающее в самых молодых его произведениях и потом все более и более развивавшееся; страстность природы и воздержность колорита в поэзии, самообладание мастера, неизменно строгое соблюдение художественной меры; легкомыслие, внутренность, кипение крови, необузданная чувственность в жизни и в то же время серьезность и важность священнодействующего жреца, способность возноситься духом до высот целомудренного искусства и писать такие стихи, как «Пророк», «Отцы пустынники», «Ответ митрополиту Филарету» и проч.

Он сам сильнее всех сознавал в себе эту двойственность:

Пока не требует поэта
К священной жертве Аполлон,
В забавах суетного света
Он малодушно погружен;
Молчит его святая лира,
Душа вкушает хладный сон,
И меж детей ничтожных мира,
Быть может, всех ничтожней он...

Что должен был испытывать в глубине своего духа носитель таких великих божественных даров в те минуты, когда сознавал свое «ничтожество»?..

Некоторым покажется, пожалуй, странным эпитет «важный», и они укажут на множество стихов эротического и вообще легкомысленного содержания. Правда, их немало; но все эти стихотворения запечатлены характером шалости, забавы молодого таланта, хотя бы иногда и непозволительной, в которой и сам Пушкин потом горько раскаивался. Все же это только избыток жизни, плеск играющих волн на поверхности глубоких вод. Но поэт весь преображался, лишь

...божественный глагол
До слуха чуткого коснется, —

и становился «взыскательным художником», для которого

Прекрасное должно быть величаво.

И никогда в своем храме, пред алтарем, не священнодействовал он пороку как принципу, не служил умышленному холодному разврату и божественным глаголом не сеял коварно безнравственности. Напротив, все его сколько-нибудь серьезные произведения оставляют здоровый след в душе читателя. Он как художник сам творит, в той

или другой форме, суд над своими героями, и даже Онегин, многими своими сторонами вполне сочувственный Пушкину, обличен и пристыжен Татьяной, — простой, в русской деревне возросшей, умной Татьяной. Эта, бесспорно из всех героинь Пушкина им наиболее любимая и чтимая, остается, как известно, верна своему долгу. Такая простая по видимому, но в сущности трагическая нравственная завязка романа навлекла и на Пушкина, и даже на бедную Татьяну упреки некоторых русских критиков, так что со стороны Пушкина это был своего рода смелый поступок художественной правды!

При всех таких русских свойствах поэзии Пушкина можно ли толковать серьезно о каком бы то ни было влиянии на него Байрона? Не было генисов более друг другу, по природе своего творчества, противоположных. Впечатлительный Пушкин, разумеется, восхищался Байроном, мог даже увлекаться им временно и называть его властителем дум (впрочем, не лично своих, а «наших» то есть века), мог иногда заимствовать у него какую-либо внешнюю черту или форму, именно в «Бахчисарайском фонтане» (на что и сам указывает), но Пушкин же и судил его строго. Он называет Байрона «поэтом гордости», «мрачным как море». Пушкин же был поэтом дневного белого света, а личной гордости в нем нет и тени. Но уж чему он вовсе не был причастен, так это байронизму, то есть тому направлению в умах и жизни, которое было навеяно мощной, субъективной поэзией Байрона. Он обличил и осудил это направление и в лице Алеко в «Цыганах» («гордого человека», который «лишь для себя хочет воли»), и в лице самого Онегина (как я уже говорил), этого «москвича в гарольдовом плаще», вечно, по словам Пушкина же, «преданного безделью» и «томящегося душевной пустотой». Но нигде так гениально, умно, метко и притом сжато не заклеямен этот тип со всеми своими разветвлениями (долго и потом лелеянный в нашем обществе и литературе), как в следующих стихах. Онегин оставил у себя в библиотеке только

Певца Гяура и Жуана,
Да с ним еще два-три романа,
В которых отразился век,
И современный человек
Изображен довольно верно:
С его безнравственной душой,
Себялюбивой п сухой,
Мечтанью преданной безмерно,
С его озлобленным умом,
Кипящим в действии пустом!

Много и прекрасно было говорено об объективности и Пушкина, то есть об этой способности постигать предмет в нем самом, как он действительно есть, и воспроизводить его в его собственной правде. Я позволю себе только высказать мнение, что эта способность опять-таки гнездится в глубинах русского духа. Едва ли не воспитывается она в русском народе самым общинным и хоровым строем его жизни, мало благоприятствующим развитию субъективности и индивидуализма. Думаю также, что и самый наш внешний простор, ширь этого народного союза и братского чувства в объеме свыше полусотни миллионов сердец, все это не может не способствовать некоторой широте духа и многосторонности понимания. Нам легче быть объективнее, чем кому другому. Кроме того, русский человек, непричастный истории европейского Запада, поставлен в выгодное относительно его положение уже потому, что может обозревать его извне, судить о нем с той свободой и всесторонностью, которой мешают национальные междоусобные пристрастия местных западных писателей. Русское искусство и в этом отношении предварило нашу русскую науку, еще далеко не освободившуюся из своего духовно плена... Образцом такого объективного постижения являются у Пушкина все его воспроизведения европейской жизни. Возьмите, например, его «Сцены из рыцарских времен» — это мастерское творение, еще недостаточно оцененное критикой, «Скупой рыцарь», «Каменный гость», самое послание к Юсупову с блестящим очерком Европы конца прошлого века³¹, и прочее и прочее. Самые заимствования у иностранных писателей (и не у одних только европейских) и так называемые «подражания» становятся у Пушкина, опять-таки вследствие его объективной способности, вполне самостоятельными созданиями и даже выше, большей частью, подлинников или образцов. Таковы: «Пир во время чумы», стихотворение из Буньяна³², подражания Алкорану³³, «Песни западных славян», заимствованные у Мериме, и множество других.

Не могу пройти молчанием упрек, деласмый Пушкину в аристократизме или чванстве своим старинным родом, выразившемся будто бы, между прочим, в его «родословной Езерского». Упрек истинно забавный и относительно аристократизма несправедливый уже потому, что наши аристократы, к сожалению, весьма мало интересуются своими историческими предками. Пушкин действительно знал и любил своих предков. Что ж из этого? Было бы желательнее, чтоб связь преданий и чувство исторической ответственности было доступно не одному дворянству (где оно

почти и не живет), но и всем сословиям; чтобы память о предках жила и в купечестве, и в духовенстве, и у крестьян. Да и теперь между ними уважаются старинные ч е с т н ы е р о д ы. Но что в сущности давала душе Пушкина эта любовь к предкам? Давала и питала лишь живое, здоровое и с т о р и ч е с к о е чувство. Ему было приятно иметь через них, так сказать, реальную связь с родной историей, состоять как бы в историческом свойстве и с Александром Невским, и с Иоаннами, и с Годуновым. Русская летопись уже не представлялась ему чем-то отрешенным, мертвою хартиєю, но как бы и семейною хроникою. Зато уж как и умел он воспроизвести в своей поэзии простую прелесть летописного языка и самый образ русского летописца (в «Борисе Годунове»)! Он и в современности чувствовал себя всегда как в исторической рамке, в п р е д е л а х ж и в о й , п р о д о л ж а ю щ е й с я и с т о р и и. Посмотрите, как чутко отзывается он на все истинно великие русские события своей эпохи, как горячо принимает к сердцу и честь, и славу, и самое внешнее достоинство России; какой негодующий стих бросает он в ответ «Клеветникам России», скликавшим всю Европу в новый против нас крестовый поход! Пушкин был живой русский, и с т о р и ч е с к и ч у в с т в о в а в ш и й человек и не принадлежал к числу доктринеров, которые не смеют отдаться самым простым, естественным движениям русского чувства без справок с своей доктриной. Пушкин любил русский народ не отвлеченно, а вместе с той реальной исторической формой, в которую он сложился и в которой живет и действует в мире, — любил и русскую Землю и русское государство, содержа их в своей душе в том тесном любовном союзе, в каком содержит их и душа народа, вопреки всех временных ошибок и уклонений государственной власти. Но никогда не слагал он хвалебных од живым носителям этой власти, а если и «пел» их, то повинувшись лишь искреннему, прекрасному движению сердечного сочувствия и т а й н о, между ближайшими друзьями, не предназначая стихов для печати.

На лире скромной, благородной,
Земных богов я не хвалил
И силе, в гордости свободной,
Кадилом лести не кадил.
Свободу лишь умея славить,
Стихами жертвуя лишь ей,
Я не рожден царей забавить
Стыдливой музою моей.

Но в то же время он «Елисавету тайно пел». В день лицейской годовщины 19 октября 1825 г., в послании к друзьям, за кого предлагает и пьет первый кубок со сланный, у себя в деревне, поэт?

Друзья мои, простим ему гоненье:
Он взял Париж и основал Лицей!

Его стихи «Друг и Поэт»³⁴, где воспевается посещение Наполеоном чумных, были вызваны великодушным поступком государя Николая Павловича, который, узнав о появлении холеры в Москве, помчался в Москву (а холера считалась тогда наравне с чумой), куда и приехал вечером, в оцепленный город, — на что и намекается стихами:

Или Москва пустынно блещет,
Его приемля, и молчит...

Но никто не разумел этого намека, даже стихи были напечатаны без подписи Пушкина в «Телескопе». Один Погодин был посвящен Пушкиным в тайну и открыл ее печатно лишь после смерти нашего благороднейшего из поэтов. Сохраняя всегда во всем полную нравственную свободу и независимость художника, Пушкин не был певцом ни официальных торжеств, ни официального величия; был чужд и слепого, узкого национального эгоизма, Россия для него имела широкое историческое «предназначение» не только славянское, но и мировое. Он возглашает не проклятие Наполеону, виновнику памятного ему нашествия на Москву 1812 года, а хвалу:

Хвала! Он русскому народу
Высокий жребий указал
И миру вечную свободу
Из мрака ссылки завещал, —

а когда в 1829 году русские войска двинулись к Константинополю, он напоминал им, что они только «снова обрели старый, олеговский еще путь» ... Да, Пушкин был живой русский, исторически чувствовавший человек. Историческое чувство, историческое сознание!.. Да ведь это значит — уважение к своей земле, признание прав своего народа на самобытную историческую жизнь и органическое развитие; постоянная память о том, что пред нами не мертвый материал, из которого можно лепить какие угодно фигуры, а живой организм, великий, своеобразный, могучий народ русский, с его тысячелетнюю историей! Да не в том ли вся сумма наших бед и зол, что так слабо в нас во всех,

и в аристократах, и в демократах, русское историческое сознание, так мертвенно историческое чувство!

Я, конечно, не исчерпал своей задачи, но, кажется, все же несколько уяснил, в чем я вижу русскую стихию поэзии Пушкина. Это был первый истинный, великий поэт на Руси и первый истинно-русский поэт, а по тому самому и народный, в высшем значении этого слова. Он и до сих пор самый русский из всех наших поэтов. Он первый внес правду в мир русской поэзии и разрешил плен русского народного духа в доступной ему сфере искусства. Как орел парит над нами и до сих пор его поэтический гений, широко простирая крылья, никем доселе не опереженный, — вовеки гордость, слава и любовь русской земли!

Не все, конечно, стороны народной жизни и духа нашли себе выражение в созданиях Пушкина; тем не менее мы еще только теперь начинаем дорастать нашим сознанием до смысла всех тех откровений, которые таятся в глубинах его поэзии. И не одному только искусству указал он путь, но всей вообще русской мысли, во всех ее разнообразных проявлениях, в слове и в жизни.

Пусть же воздвижение ему памятника станет в самом деле событием и новой эрой в нашей общественной жизни. Пусть изваянный в меди образ этого всемирного художника и русского народного поэта неумолчно зовет чреды сменяющихся поколений к труду народного самосознания, к плодотворному служению истине на поприще правды народной, — чтобы сподобиться наконец русской «интеллигенции» стать действительным высшим выражением русского народного духа и его всемирно-исторического призвания в человечестве!

1880

О РАССКАЗЕ Л. Н. ТОЛСТОГО «ЧЕМ ЛЮДИ ЖИВЫ»³⁵

Какая прелесть — этот рассказ графа Л. Н. Толстого, помещенный в декабрьской книжке «Детского отдыха» — «Чем люди живы» (более подробный отчет о котором помещен ниже, в отделе критики и библиографии)! Что за эпическая простота, какой художественный реализм при самом идеалистическом содержании! Мы давно, по поводу одной сцены в романе «Война и мир» (встреча, взаимное прощение двух смертельно раненных соперников и чувство христианской любви, внезапно их осенившее), тогда еще высказали мнение, что если граф Толстой и реалист, то

в нем несомненно кроется способность выразить в строго реалистической форме самые неуловимые, тончайшие, самые возвышенные, именно христианские движения души, дать им, так сказать, художественную, такую же тонкую плоть и воздействовать ими на душу читателя. Много было толков о новом, якобы мистическом направлении автора, о том, что он уже погиб для искусства...³⁶ Напечатанный рассказ свидетельствует о противном. Художник-реалист не погиб в нем, но только стал художником внутренне просветленным, для которого освятилось искусство, раскрылся целый новый мир художественного творчества и нравственного служения. Говорят, что за этим рассказом последуют и еще два рассказа в том же прекрасном детском журнале. Гр. Толстой может успокоиться: его художественная деятельность вполне благотворна, — пусть только он сам не хоронит в себе божьего дара.

1881

О КОНЧИНЕ И. С. ТУРГЕНЕВА ³⁷

22 августа скончался в Буживале (поместье близ Парижа) Иван Сергеевич Тургенев. Кончина нашего знаменитого писателя не была неожиданностью. Более четверти века постоянным его местопребыванием были чужие края, и в Россию он являлся только гостем; едва ли бы даже можно было ожидать от него новых блестящих произведений, раскрывающих нашему общественному сознанию какую-нибудь новую сторону русской общественной жизни, внутренний смысл возникающих в ней явлений и направлений (как, например, в «Рудине», «Дворянском гнезде», «Отцах и детях» и т. д.). И тем не менее смерть его образует пустоту, которую заместить нечем и нечем, вызывает, — по крайней мере в литературно-общественной среде, — скорбное чувство обеднения и сиротства. Старые крупные мастера сходят в могилу или с попроща; на смену им не является или, вернее сказать, не настала еще пора явиться новым...

Тургеневым замыкается целый период нашей художественной литературы и общественного развития, запечатленный особенным *типом* — идеализмом сороковых годов, несомненно возвышенным и гуманным, но более или менее неопределенным, малосодержательным, почти бес-

почвенным, более эстетическим, чем нравственно-доблестным; почти систематически чуждавшимся русского народного и исторического духа или, по крайней мере, сильно космополитическим, ощущавшим себя на Западе Европы несравненно более дома, чем в родной стране. В родной стране, впрочем, этот идеализм (нередко в литературе называемый «западничеством») обрел себе одно определенное, реальное явление жизни, к борьбе с которым, хотя бы лишь во имя «гуманности» и «общеευропейских культурных» начал, и приложил он с полной искренностью возможные для него усилия — в общем союзе с людьми так называемого народного направления: мы разумеем здесь *крепостное право*, уничтожение которого поэт-художник Тургенев поставил, по его словам, главной задачей своей жизни. И действительно, своими «Записками охотника» — едва ли не самым лучшим из его созданий — сослужил он своему отечеству и народу поистине добрую службу, после которой, однако, то есть после освобождения крестьян, именно в 1861 г. и променял Россию на постоянное жительство за границей³⁸. Тем не менее Тургенев, как истинный художник, а по природе своей, наперекор своему воспитанию и так называемым «убеждениям», и вполне русский человек (и какой благодушный, мягкосердечный, симпатичный человек!), сам из русского же дворянского гнезда, умел воспроизводить не одни только отрицательные, но иногда, с невольным сочувствием, и некоторые положительные черты русской народной жизни. Но тонкий и умный наблюдатель, он не останавливался на этих чертах, потому что уже не в силах был высвободить свою мысль из плена, которому отдал ее смолоду — «в послушание вере», то есть своей слепой безусловной вере в «западноевропейскую цивилизацию» и «прогресс»... Судьба этого прогресса в России, в среде подрастающих поколений, постоянно привлекала его внимание и на чужбине, — и с свойственной ему чуткостью он угадал и возвел в типы многие болезненные явления нашего развития; при этом правда художника, вопреки его собственному желанию, брала верх над неправдой мыслителя.... Но не как мыслителя и гражданина, а как великого русского художника, одного из двигателей нашего общественного самосознания, как великого мастера русского слова будет поминать его вечно, с признательностью и любовью, Россия.

Лет пять или шесть назад, в один из своих приездов в Москву, Тургенев рассказал нам следующее (речь шла о современной русской поэзии): «Получаю я однажды в Париже, при письме, толстую тетрадь — вернее, целый рукописный том, русских стихотворений под общим заглавием: «Из-за решетки». Заглавие уже само давало уразуметь, от какой категории или направления молодых людей был этот том прислан: не то чтоб они все сидели за решеткой, но могли бы сидеть или, по крайней мере, числили себя в разряде гонимых. Но не в том дело. Письмом пояснено, что стихи принадлежат действительно разным молодым авторам, которым бы желалось знать мое мнение; мне сообщен был и адрес — кому и куда прислать ответ. Один вид этой рукописи уже сильно порадовал меня: я знал антиэстетические тенденции молодого поколения, — ну а ведь тут, очевидно, сказалась в них потребность художественной формы для выражения мысли!.. Можете себе представить, с какою жадностью принялся я за чтение... и вообразите мой ужас: не только никакого проблеска замечательного дарования, но совершенное невежество — в смысле художественном. Точно будто никаких у нас великих мастеров поэтического слова и не бывало, точно мы сызнова начинаем лепетать стихами, продельваем первые робкие опыты в русской поэзии!.. Стихотворения были разного, не одного только гражданского содержания... Я перечел еще раз и пришел к убеждению, что юные авторы, наверное, никогда не читали ни Пушкина, ни Лермонтова, не говоря уже о Баратынском, Тютчеве и других поэтах, кроме разве некоторых пьес Некрасова. Возвращая рукопись, я написал им письмо, в котором, конечно, постарался не оскорблять юного авторского самолюбия, однако же в самой мягкой форме спросил: так ли их, читали ли они такое-то и такое-то стихотворение Пушкина (или же иного поэта)? На подобный вопрос — пояснял я — наводит меня то соображение, что едва ли бы автор, например, вот этой стихотворной пьесы решился коснуться своей темы, если бы знал, что эту тему уже разработал Пушкин, да и как еще разработал! И так далее, я перебрал несколько пьес... И что же? Через несколько времени я получил ответ, что ведь это действительно так! Молодые авторы сознавались сами, что им лично не привелось никогда читать ни Пушкина, ни других поэтов, кроме разве стихов, помещенных в хрестоматиях!...»

Одним словом, оказалось, что целое молодое поколение (а может быть, и несколько их), попав под полосу писаревского влияния, под видом «прогресса» попятилось назад и осталось, по крайней мере в области литературного развития, духовно искалеченным и круглым невеждой. Можно ли было предположить, что журнальные бредни юности Писарева, который безостановочно тискал все, что, бывало, взбредет ему в голову, и который однажды, на упрек в противоречии собственным же его словам, сказанным за год назад, простодушно отвечал: «Я развиваюсь», — можно ли было думать, что весь этот, казалось бы, невинный бред способен будет отозваться в учащемся юношестве такими печальными явлениями? Стало быть, не встретил он и противодействия со стороны педагогов, или же слишком уже бессильны явились они против всекокрушающего авторитета такой «силы», как Писарев?! Да и как не быть им бессильными, когда они сами воспитывали юношей в суеверном благоговении к «последнему слову науки и жизни», сами веровали твердо, что в «последнем слове» именно и сидит «прогресс»? Молодежь и ловила жадно всякое напоследнее слово, не желая и знать слов предшествовавших, ни старых образцов, ни исторических опытов. Все это однако ж приводит к заключению, что журнальная болтовня вовсе не остается так, без всякого воздействия на развитие нашего юношества, тем более что журналы почти вытеснили у нас и чтение и даже издание *книг*, — и что не мешало бы нашим журнальным публицистам подобросовестнее относиться к слову да думать иногда о последствиях, к каким может привести молодых читателей всякая легкомысленная, с плеча написанная и тиснутая речь...

Ввиду необычайной печали, охватившей, по случаю кончины Тургенева, с такою гремучею страстностью русское общество и особенно наши юные поколения, можно бы предположить, что у нас действительно происходит реакция благоприятная для истинного *искусства* и что волны эстетических вожделений, поднявшись со дна, грозят смыть все то грубое, грязное, противохудожественное, что в последнее время было *по принципу* напущено в нашу «изящную» литературу. Нельзя же объяснить себе этот хмель, это почти опьянение скорби только тем, что Тургенев, по выражению «Русского курьера», «гений, пред которым преклонилась *вся Европа*», или же сочувствием к тургеневским тенденциям и героям! К чести нашего знаменитого писателя можно сказать, что тенденциозность его была чрезвычайно бледна, почему именно

и не вредила высшим условиям искусства. Что касается до героев, то никто, конечно, лучше его не воспроизвел, в ярких образах, всю духовную бескостность и дряблость или озлобленную несостоятельность российского культурного беспочвенного человека... Если же все эти демонстрации и манифестации в Петербурге в самом деле происходят из свободного, самостоятельного признания нами самими его *художественных* достоинств, из сочувствия к Тургеневу именно как к *художнику*, то можно бы только радоваться такому выражению скорби, несмотря на избыток фальши и театральности. Есть чему поучиться у Тургенева нашим молодым писателям, именно — строгому отношению его к искусству, взыскательности автора к своим собственным творениям, его изяществу и также — *опрятности*: последнему качеству тем более, что нечистоплотность все гуще и гуще завладевает нашей беллетристической. Сочувствие к Тургеневу-писателю немислимо без одновременного глубокого презрения и отвращения к так называемой *pornoграфии*, которая, изгоняемая законом из Франции, переселяется теперь к нам, грозя совсем захватить литературное поле⁴⁰ и, по свойственной нам неудержимой склонности к крайнему пределу прогресса, перерождается, под авторитетным пером автора «Торжествующей свиньи»⁴¹, просто в русское свинство.

1883

ФЕДОР ИВАНОВИЧ ТЮТЧЕВ⁴²

БИОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК

Небольшая книжка стихотворений; несколько статей по вопросам современной истории; стихотворения, из которых только очень немногим досталась на долю всеобщая известность; статьи, которые все были писаны по-французски, лет двадцать, даже тридцать тому назад, печатались где-то за границей и только недавно, вместе с переводом, стали появляться в одном из наших журналов... Вот куда все, что может русская библиография занести в свой точный *синодик* под рубрику: «Ф. И. Тютчев, род. 1803+1873 г.». Литературный послужной список не объемист; имя малознаемое в массах грамотной — и не только грамотной, даже образованной нашей публики... А между тем этим самым стихотворениям, еще с начала пятидесятых годов, отводится русской критикой место

чуть не на ряду с пушкинскими; это самое имя, в течение целой четверти века, во всех светских и литературных кругах Москвы и Петербурга читается и славится, знаменующая собою мысль, поэзию, остроумие в самом изящном соединении. Странное противоречие, не правда ли? Как объяснить этот недостаток популярности при несомненном общественном значении? эту несоразмерность внешнего объема литературной деятельности с обнаруженной автором силой дарований?.. Но и здесь еще не конец недоумениям, нередко возбуждаемым именем Тютчева. Ко всем единодушным отзывам нашей периодической печати об его уме и таланте, раздавшимся вслед за его кончиной вместе с выражениями искренней скорби, мы позволим себе прибавить еще и свой: Тютчев был не только самообытный, глубокий мыслитель, не только своеобразный, истинный художник-поэт, но и один из малого числа носителей, даже двигателей нашего русского, народного самосознания.

«Как? — скажут многие, встречавшие Тютчева на петербургских балах и раутах — этот почти — иностранец, едва ли когда говоривший иначе как по-французски; это, по-видимому, чистокровное порождение европеизма, без всякого на себе клейма какой-либо национальности, — Тютчев, в котором все, до последнего сустава и нерва, дышало прелестью высшей, всесторонней, нерусской культуры, Тютчев — один из представителей русской народности?!.. Трудно мирится такое тяжеловесное предположение с грациозным образом этого очаровательно-умного, но вполне светского собеседника. Можно ли, позволительно ли возводить его чуть не на степень серьезного общественного деятеля?..»

Он и не деятель и в общепринятом смысле этого слова. Он просто — явление, явление общественное и личное, в высшей степени замечательное и любопытное для изучения. Его деятельность почти непосредственная, сливается с самим его бытием. Вполне естественны, вполне понятны для нас все помянутые выше недоумения. Именно в виду их мы и считаем нужным представить читателям не одну общую оценку литературных останков покойного Тютчева (что отчасти уже было сделано и другими), но самую судьбу, личную и внутреннюю, этого русского таланта. Участь талантов у нас на Руси — вообще предмет высокого интереса и важности для истории русского просвещения, тем более, когда дело идет о таком богатстве даров, каким был наделен Тютчев... Проследить, по возможности, самое развитие этой многоодаренной природы, — соотно-

шение ее особенных психических условий с условиями бытовыми, общественными, историческими; ту взаимную их связь и зависимость, которая создала, определила и ограничила ее жизненный жребий — вот задача, которую мы постараемся разрешить, насколько сумеем, в нашем биографическом очерке.

Первой биографической чертой в жизни Тютчева, и очень характерной, сразу бросающейся в глаза, представляется невозможность составить его полную, подробную биографию. Для большинства писателей, — как бы умеренно они себя ни ценили, — потомство, по выражению Чичикова, все же «чувствительный предмет». Многие, еще при жизни, заранее облегчают труд своих будущих биографов подбором материалов, подготовлением объяснительных записок. Тютчев — наоборот. Он не только не хлопотал никогда о славе между потомками, но не дорожил ею и между современниками; не только не помышлял о своем будущем жизнеописании, но даже ни разу не позаботился о составлении верного списка или хотя бы перечня своих сочинений. Если стихи его увидели свет, так только благодаря случайному, постороннему вмешательству; в появлении их в печати бывали пропуски в *пять* и в *четырнадцать* лет, хотя в поэтическом его творчестве и не было перерыва. Самая известность его как поэта начинается собственно с 1854 года, то есть когда ему пошел уже шестой десяток лет, именно со времени первого издания его стихотворений редакцией журнала «Современник» при содействии И. С. Тургенева. Во сколько такое пренебрежение к своей авторской личности происходило у Тютчева от врожденной ему беспечности и лени, во столько же, если не более, от особого рода скромности, смирения и от иных нравственных причин, которые мы обстоятельно разъясним ниже. Здесь же мы только наперед заявляем о затруднениях, встречаемых его биографом именно потому, что Тютчев никогда ни сам не занимался, ни занимал и других собственной особой. Никогда ни к кому не навязывался он с чтением своих произведений, напротив, очевидно, тяготился всякой об них речью. Никогда не повествовал о себе, никогда не рассказывал сам о себе анекдотов, и даже под старость, которая так охотно отдается воспоминаниям, никогда не беседовал о своем личном прошлом. А так как с лишком двадцать два года этого прошлого проведены им были на чужбине, то большая часть самых интересных подробностей его существо-

вания для нас безвозвратно потеряна. Однако ж, несмотря на скудость внешнего биографического материала, мы все же в состоянии наметить — и наметим сейчас — те наружные биографические рамки, внутри которых совершалось самовоспитание его таланта, вообще его внутренняя духовная жизнь, а только она и заслуживает вполне серьезного, общественного внимания.

I

Федор Иванович был второй, или меньший, сын Ивана Николаевича и Екатерины Львовны Тютчевых и родился в 1803 г. 23 ноября, в родовом тютчевском имении, селе Овстуг Орловской губернии Брянского уезда. Тютчевы принадлежали к старинному русскому дворянству. Хотя в родословной и не показано, откуда «выехал» их первый родоначальник, но семейное предание выводит его из Италии, где, говорят, и поныне, именно во Флоренции, между купеческими домами встречается фамилия Dudgi. В Никонской летописи упоминается «хитрый муж» Захар Тутчев, которого Дмитрий Донской, пред началом Куликовского побоища, подсылал к Мамаю со множеством золота и двумя переводчиками для собрания нужных сведений, — что «хитрый муж» и исполнил очень удачно. В числе воевод Иоанна III, усмирявших Псков, называется также «воевода Борис Тютчев Слепой»*. С тех пор никто из Тютчевых не занимал видного места в русской истории ни на каком поприще деятельности. Напротив в половине XVIII века, если верить запискам Добрынина⁴³ брянские помещики Тютчевы славились лишь разгулом и произволом, доходившими до неистовства. Однако же отец Федора Ивановича, Иван Николаевич, не только не наследовал этих семейных свойств, но, напротив, отличался необыкновенным благодушием, мягкостью, редкой чистотой нравов и пользовался всеобщим уважением. Окончив свое образование в Петербурге, в Греческом корпусе, основанном Екатериной в ознаменование рождения великого князя Константина Павловича и под влиянием мысли о «Греческом проекте»⁴⁴, Иван Николаевич дослужился в гвардии до поручика и на 22 году жизни женился на Екатерине Львовне Толстой, которая была воспитана, как дочь, родной своей теткой, графиней Остерман. Затем Тютчевы поселились в орловской деревне, на зиму переез-

* Карамзин, т. V, прим. 65 и т. VI, прим. 37.

жали в Москву, где имели собственные дома и подмосковную, — одним словом, зажили тем известным образом жизни, которым жилось тогда так привольно и мирно почти всему русскому зажиточному, досужему дворянству, не принадлежавшему к чиповной аристократии и не озабоченному государственной службой. Не выделяясь ничем из общего типа московских боярских домов того времени, дом Тютчевых — открытый, гостеприимный, охотно посещаемый многочисленной родней и московским светом — был совершенно чужд интересам литературным, и в особенности русской литературы. Радушный и щедрый хозяин был, конечно, человек рассудительный, с спокойным, здравым взглядом на вещи, но не обладал ни ярким умом, ни талантами. Тем не менее в натуре его не было никакой узкости, и он всегда был готов признать и уважить права чужой, более даровитой природы.

Федор Иванович Тютчев и по внешнему виду (он был очень худ и малого роста), и по внутреннему духовному строю был совершенной противоположностью своему отцу; общего у них было разве одно благодушие. Зато он чрезвычайно походил на свою мать, Екатерину Львовну, женщину замечательного ума, сухощавого, нервного сложения, с склонностью к ипохондрии, с фантазией, развитой до болезненности. Отчасти по принятому тогда в светском кругу обыкновению, отчасти, может быть, благодаря воспитанию Екатерины Львовны в доме графини Остерман, в этом вполне русском, семействе Тютчевых преобладал и почти исключительно господствовал французский язык, так что не только все разговоры, но и вся переписка родителей с детьми и детей между собой, как в ту пору, так и потом, в течение всей жизни, велась не иначе как по-французски. Это господство французской речи не исключало, однако, у Екатерины Львовны приверженности к русским обычаям и удивительным образом уживалось рядом с церковнославянским чтением псалтырей, часословов, молитвенников у себя, в спальней, и вообще со всеми особенностями русского православного и дворянского быта. Явление, впрочем, очень нередкое в то время, в конце XVIII и в самом начале XIX века, когда русский литературный язык был еще делом довольно новым, еще только достоянием «любителей словесности», да и действительно не был еще достаточно приспособлен и выработан для выражения всех потребностей перенятого у Европы общежития и знания.

В этой-то семье родился Федор Иванович. С самых первых лет он оказался в ней каким-то особняком, с при-

знаками высших дарований, а потому тотчас же сделался любимцем и баловнем бабушки Остерман, матери и всех окружающих. Это баловство, без сомнения, отразилось впоследствии на образовании его характера: еще с детства стал он врагом всякого принуждения, всякого напряжения воли и тяжелой работы. К счастью, ребенок был чрезвычайно добросердечен, кроткого, ласкового нрава, чужд всяких грубых склонностей; все свойства и проявления его детской природы были скрашены какой-то особенно тонкой, изящной духовностью. Благодаря своим удивительным способностям, учился он необыкновенно успешно. Но уже и тогда нельзя было не заметить, что учение не было для него трудом, а как бы удовлетворением естественной потребности знания. В этом отношении баловницей Тютчева являлась сама его талантливость. Скажем, кстати, что ничто вообще так не балует и не губит людей в России, как именно эта талантливость, упраздняющая необходимость усилий и не дающая укорениться привычке к упорному, последовательному труду. Конечно, эта даровитость нуждается в высшем, соответственном воспитании воли, но внешние условия нашего домашнего быта и общественной среды не всегда благоприятствуют такому воспитанию; особенно же мало благоприятствовали они при той материальной обеспеченности, которая была уделом образованного класса в России во времена крепостного права. Впрочем, в настоящем случае мы имеем дело не просто с человеком талантливым, но и с исключительной натурой — натурой поэта.

Ему было почти девять лет, когда настала гроза 1812 года. Родители Тютчева провели все это тревожное время в безопасном убежище, именно в г. Ярославле; но раскаты грома были так сильны, подъем духа так повсеместен, что даже вдали от театра войны не только взрослые, но и дети, в своей мере, конечно, жили общей возбужденной жизнью. Нам никогда не случалось слышать от Тютчева никаких воспоминаний об этой године, но не могла же она не оказать сильного непосредственного действия на восприимчивую душу девятилетнего мальчика. Напротив, она-то, вероятно, и способствовала, по крайней мере в немалой степени, его преждевременному развитию, — что, впрочем, можно подметить почти во всем детском поколении той эпохи. Не эти ли впечатления детства как в Тютчеве, так и во всех его сверстниках-поэтах зажгли ту упорную, пламенную любовь к России, которая дышит в их поэзии и которую потом уже никакие житейские обстоятельства не были властны угасить?

К чести родителей Тютчева надобно сказать, что они ничего не щадили для образования своего сына и по десятому его году, немедленно «после французов», пригласили к нему воспитателем Семена Егоровича Раича. Выбор был самый удачный. Человек ученый и вместе вполне литературный, отличный знаток классической древней и иностранной словесности, Раич стал известен в нашей литературе переводами в стихах Вергилиевых «Георгик», Тассова «Освобожденного Иерусалима» и Ариостовой поэмы «Неистовый Орланд». В доме Тютчевых он пробыл семь лет; там одновременно трудился он над переводами латинских и итальянских поэтов и над воспитанием будущего русского поэта. Кроме того, он сам писал недурные стихи. В двадцатых годах,— уже после того, как Раич из дома Тютчевых перешел к Николаю Николаевичу Муравьеву, основателю знаменитого Училища колошновожатых, для воспитания меньшего его сына, известного впоследствии писателя Андрея Николаевича Муравьева⁴⁵, — сделался центром особенного литературного кружка, где собирались Одоевский, Погодин, Ознобишин, Путята и другие замечательные молодые люди⁴⁶ при содействии которых Раич и издал несколько альманахов. Позднее он же два раза принимался издавать журнал «Галатею». Это был человек в высшей степени оригинальный, бескорыстный, чистый, вечно пребывавший в мире идиллических мечтаний, сам олицетворенная буколика, соединявший солидность ученого с каким-то девственным поэтическим пылом и младенческим незлобием. Он происходил из духовного звания; известный киевский митрополит Филарет был ему родной брат.

Нечего и говорить, что Раич имел большое влияние на умственное и нравственное сложение своего питомца и утвердил в нем литературное направление. Под его руководством Тютчев превосходно овладел классиками и сохранил это знание на всю жизнь: даже в предсмертной болезни, разбитому параличом, ему случалось приводить на память целые строки из римских историков. Ученик скоро стал гордостью учителя и уже 14-ти лет перевел очень порядочными стихами послание Горация к Меценату. Раич, как член основанного в 1811 году в Москве Общества любителей российской словесности, не замедлил представить этот перевод Обществу, где, на одном из обыкновенных заседаний, он был одобрен и прочтен вслух славнейшим в то время московским критическим авторитетом — Мерзляковым. Вслед за тем, в чрезвычайном заседании 30-го марта 1818 года, Общество почтило 14-лет-

него переводчика званием «сотрудника», самый же перевод напечатало в XIV части своих «Трудов». Это было великим торжеством для семейства Тютчевых и для самого юного поэта. Едва ли, впрочем, первый литературный успех не был и последним, вызвавшим в нем чувство некоторого авторского тщеславия.

В этом же 1818 году Тютчев поступил в Московский университет, то есть стал ездить на университетские лекции и сперва — в сопровождении Раича⁴⁷, который, впрочем, вскоре, именно в начале 1819 года, расстался со своим воспитанником.

Со вступлением Тютчева в университет дом его родителей увидел у себя новых, небывалых в нем доселе посетителей. Радушно принимались и угощались стариками и знаменитый Мерзляков, и преподаватель греческой словесности в университете Оболенский, и многие другие ученые и литераторы: собеседником их был 15-летний студент, который смотрел уже совершенно «развитым» молодым человеком и с которым все охотно вступали в серьезные разговоры и прения. Так продолжалось до 1821 года.

В этом году, когда Тютчеву не было еще и 18-ти лет, он сдал отлично свой последний экзамен и получил кандидатскую степень. По всем соображениям родных и знакомых, перед ним открывалась блестящая карьера. Но честолюбивые виды отца и матери мало тревожили душу беспечного кандидата. Предоставив решение своей будущей судьбы старшим, сам он весь отдался своему настоящему. Жаркий поклонник женской красоты, он охотно посещал светское общество и пользовался там успехом. Но ничего похожего на буйство и разгул не осталось в памяти об нем у людей, знавших его в эту первую пору молодости. Да буйство и разгул и не свойственны были его природе: для него имели цену только те наслаждения, где было место искреннему чувству или страстному поэтическому увлечению. Не осталось также, за это время, никаких следов его стихотворческой деятельности: домашние знали, что он иногда забавлялся писанием остроумных стишков на разные мелкие случаи, — и только.

В 1822 году Тютчев был отправлен в Петербург, на службу в Государственную коллегия иностранных дел. Но в июне месяце того же года его родственник, знаменитый герой Кульмской битвы⁴⁸ потерявший руку на поле сражения, граф А. И. Остерман-Толстой посадил его с собой в карету и увез за границу, где и пристроил сверхштатным чиновником к русской миссии в Мюнхене. «Судьбе угодно было вооружиться последней рукой Толстого

(вспоминает Федор Иванович в одном из писем своих к брату лет 45 спустя), чтоб переселить меня на чужбину».

Это был самый решительный шаг в жизни Тютчева, определивший всю его дальнейшую участь.

II

В 1822 году переезд из России за границу значил не то, что теперь. Это просто был временный разрыв с отечеством. Железных дорог и электрических телеграфов тогда еще и в помине не было; почтовые сообщения совершались медленно; русские путешественники были редки. Отвергнутый от России в самой ранней, нежной молодости, когда ему было с небольшим 18 лет, закинутый в дальний Мюнхен, предоставленный сам себе, Тютчев один, без руководителя, переживает на чужбине весь процесс внутреннего развития, от юности до зрелого мужества, и возвращается в Россию на водворение, когда ему пошел уже пятый десяток лет: Двадцать два года лучшей поры жизни проведены Тютчевым за границей...

Представим же его себе одного, брошенного чуть не мальчиком в водоворот высшего иностранного общества, окруженного всеми соблазнами большого света, искушаемого собственными дарованиями, которые точас же, с первого его появления в этой блестящей европейской среде, доставили ему столько сочувствия и успеха, — наконец любимого, балуемого женщинами, с сердцем, падким на увлечения страстные, безоглядные... Как, казалось бы, этой 18-летней юности не поддастся обольщениям тщеславия, даже гордости? Как не растратить в этом вихре суеты, в обаянии внешней жизни сокровища жизни внутренней, высшие стремления духа? Не следовало ли ожидать, что и он, подобно многим нашим поэтам, поклонится кумиру, называемому светом, приобщится его злой пустоте и в погоне за успехами принсет немало нравственных жертв в ущерб и правде, и таланту?

Но здесь-то и поражает нас своеобразность его духовной природы. Именно к тщеславию он и был всего менее склонен. Можно сказать, что в тщеславии у Тютчева был органический недостаток. Он любит свет — это правда; но не личный успех, не утехи самолюбия влекли его к свету. Он любил его блеск и красоту; ему нравилась эта театральная, почти международная арена, воздвигнутая на общественных высотах, где в роскошной сценической обстановке выступает изящная внешность европейского

общезития со всей прелестью утонченной культуры; где,— во имя единства цивилизации, условных форм и приличий,— сходятся граждане всего образованного мира, как равноправная труппа актеров. Но, любя свет, всю жизнь вращаясь в свете, Тютчев ни в молодости не был, ни потом не стал «светским человеком». Соблюдая по возможности все внешние светские приличия, он не рабствовал перед ними душой, не покорялся условной светской «морали», хранил полную свободу мысли и чувства. Блеск и обаяние света возбуждали его нервы, и словно ключом било наружу его вдохновенное, грациозное остроумие. Но самое проявление этой способности не было у него делом тщеславного расчета: он сам тут же забывал сказанное, никогда не повторялся и охотно предоставлял другим авторские права на свои, нередко гениальные, изречения. Вообще, как в устном слове, точно так и в поэзии, его творчество только в самую минуту творения, не долее, доставляло ему авторскую отраду. Оно быстро, мгновенно вспыхивало и столь же быстро, выразившись в речи или в стихах, угасало и исчезало из памяти.

Он никогда не становился ни в какую позу, не рисовался, был всегда сам собой, каков он есть, прост, независим, произволен. Да ему было и не до себя, то есть не до самолюбивых соображений о своем личном значении и важности. Он слишком развлекался и увлекался предметами для него несравненно более занимательными: с одной стороны, блистанием света, с другой, личной, искренней жизнью сердца и затем высшими интересами знания и ума. Эти последние притягивали его к себе еще могущественнее, чем свет. Он уже и в России учился лучше, чем многие его сверстники-поэты, а германская среда была еще способнее расположить к учению, чем тогдашняя наша русская, и особенно петербургская. Переехав за границу, Тютчев очутился у самого родника европейской науки: там она была в подлиннике, а не в жалкой копии или карикатуре, у себя, в своем доме, а не в гостях, на чуждой квартире.

Окунувшись разом в атмосферу стройного и строгого немецкого мышления, Тютчев быстро отрешается от всех недостатков, которыми страдало тогда образование у нас в России, и приобретает обширные и глубокие сведения. По свидетельству одного иностранца (барона Пфелля), напечатавшего в конце прошлого года небольшую статью о нем в одной парижской газете, Тютчев ревностно изучал немецкую философию, часто водился с знаменитостями немецкой науки, между прочим с Шеллингом⁴⁹ с которым

часто спорил, доказывая ему несостоятельность его философского истолкования догматов христианской веры. Тот же Пфэффель, вспоминая эти годы молодости Тютчева в Мюнхене, выражается о нем следующим образом в одном частном письме, которое нам довелось прочесть: «*sous subissions le charme de ce merveilleux esprit* (мы находились под очарованием этого диковинного ума)». Не менее замечателен и отзыв И. В. Киреевского, который уже в 1830 году пишет из Мюнхена к своей матери в Москву про 27-летнего Тютчева: «Он уже одним своим присутствием мог бы быть полезен в России: таких европейских людей у нас перечесть по пальцам»*. Тютчев обладал способностью читать с поразительной быстротой, удерживая прочитанное в памяти до малейших подробностей, а потому и начитанность его была изумительна, — тем более изумительна, что времени для чтения, по-видимому, оставалось у него немного**. Вообще при его необыкновенной талантливости занятия наукой не мешали ему вести, по наружности, самую рассеянную жизнь и не оставляли на нем никакой пыли труда, той почтенной пыли, которую многие ученые любят выставлять напоказ и которая так способна снискивать благоговение толпы.

Могут заметить, что самая основательность приобретенной Тютчевым образованности достаточно предохраняла его от искушений того мелкого тщеславия, которое в состоянии довольствоваться поверхностными успехами в свете или дешевой популярностью в полуневежественных кругах. Но для Тютчева, при богатстве его знания и даров, существовала возможность искушений более высшего порядка. Ему естественно было пожелать для себя не только известности, но и славы. Десятой доли его сведений и талантов было бы довольно иному для того, чтоб суметь приобрести почести и значение, занять выгодную общественную позицию, стать оракулом и прогреметь, особенно в нашем отечестве. Примером может служить один из современников Тютчева, Чаадаев, страдавший именно избытком того, в чем у Тютчева был недостаток, — человек бесспорно умный и просвещенный, хотя значительно уступавший Тютчеву и в уме и в познаниях, человек, которому отведено даже место в истории нашего обще-

* Сочин. И. В. Киреевского, т. 1, биография.

** Эту привычку к чтению Тютчев перенес с собой и в Россию и сохранил ее до самой своей предсмертной болезни, читая ежедневно, рано по утрам, в постели, все вновь выходящие, сколько-нибудь замечательные книги русской и иностранной литературы, большей частью исторического и политического содержания.

ственного развития, который постоянно позировал с немалым успехом в московском обществе и с подобающей важностью принимал поклонение себе как кумиру. Но именно важности никогда и не напускал на себя Тютчев. Если бы он хоть сколько-нибудь о том постарался, молва о нем про шумела бы в России еще в первой половине его жизни и слава умного человека и поэта не осенила бы его так поздно и притом в пределах только избранных кругов русского общества. От времени до времени доходили, конечно, о нем чрез русских путешественников известия и в Россию, подобные отзыву Киреевского; но тем не менее имя его в отечестве долго оставалось неведомым, и даже Жуковский, если не ошибаемся, уже в 1841 году, встретясь с Тютчевым где-то за границей, писал о нем как о каком-то неожиданном, приятном открытии. Мы уже знаем, как хлопотал он о своей стихотворческой известности!.. Все блестящее соединение даров было у Тютчева как бы оправлено *скромностью*, но скромностью особого рода, не выставлявшейся на вид и в которой не было ни малейшей умышленности или аффектации. Эта замечательная психическая черта требует пристального рассмотрения.

Если, несмотря на все соблазны света и увлечения сердца, Тютчев даже и в молодости постоянно расширял кругозор своей мысли и свои познания, которым так дивились потом и русские, и иностранцы, — все же было бы ошибкой предполагать здесь, с его стороны, какое-либо действие воли, нравственный подвиг, победу над искушениями, и т. п. Нисколько. Ленивый, избалованный с детства, не привыкший к обязательному труду, но притом совершенно равнодушный к внешним выгодам жизни, он только свободно подчинялся влечениям своей, в высшей степени интеллектуальной природы. Он только утолял свой врожденный, всегда томивший его, умственный голод. С наслаждением вкушал он от готовой трапезы знания и разумения, но никогда не удовлетворялся ею вполне; никогда не испытывал того самодовольства сытости, которое с такой приятностью ощущают умы менее требовательные... Вообще всякое самодовольство было ненавистно его существу.

В том-то и дело, что этот человек, которого многие, даже из его друзей, признавали, а может быть признают еще и теперь, за «хорошего поэта» и сказателя острых слов, а большинство — за светского говоруна, да еще самой пустой, праздной жизни, — этот человек, рядом с метким изящным остроумием, обладал умом необычайно

строгим, прозорливым, не допускавшим никакого самообольщения. Вообще это был духовный организм, трудно дающийся пониманию: тонкий, сложный, многострунный. Его внутреннее содержание было самого серьезного качества. Самая способность Тютчева отвлекаться от себя и забывать свою личность объясняется тем, что в основе его духа жило искреннее *смирение*: однако ж не как христианская высшая добродетель, а, с одной стороны, как природное личное и отчасти *народное* свойство (он был весь добродушие и незлобие); с другой стороны, как постоянное философское сознание ограниченности человеческого разума и как постоянно же сознание своей личной нравственной немощи. Преклоняясь умом пред высшими истинами Веры, он возводил *смирение* на степень философско-нравственного исторического принципа. Поклонение человеческому *я* было вообще, по его мнению, тем лживым началом, которое легло в основание исторического развития современных народных обществ на Западе. Мы увидим, как резко изобличает он в своих политических статьях⁵⁰ это гордое самообожание разума, связывая с ним объяснение европейской революционной эры, и как, наоборот, возвеличивает он значение духовно-нравственных стихий русской народности. Понятно, что если такова была точка отправления его философского мирозерцания, то тем менее могло быть им допущено поклонение своему личному *я*. При всем том его скромность относительно своей личности не была в нем чем-то усвоенным, сознательно приобретенным. Его *я* само собой забывалось и утопало в богатстве внутреннего мира мысли, умалялось до исчезновения в виду откровения божия в истории, которое всегда могущественно приковывало к себе его умственные взоры. Вообще его ум, непрерывно питаемый и обогащаемый знанием, *постоянно* мыслил. Каждое его слово сочилось мыслью. Но так как, с тем вместе, он был поэт, то его процесс мысли не был тем отвлеченным, холодным, логическим процессом, каким он является, например, у многих мыслителей Германии: нет, он не разобщался в нем с художественно-поэтической стихией его души и весь насквозь проникался ею. При этом его уму была в сильной степени присуща *ирония*, — но не едкая ирония скептицизма и не злая насмешка отрицания, а как свойство, нередко встречаемое в умах особенно крепких, всесторонних и зорких, от которых не ускользают, рядом с важными и несомненными, комические и двусмысленные черты явлений. В иронии Тютчева не было ничего грубого, желчного и оскорбительного, она была

всегда остра, игрива, изящна и особенно тонко задевала замашки и обольщения человеческого самолюбия. Конечно, при таком свойстве ума не могли же иначе, как в ироническом свете, представляться ему и самолюбивые поползновения его собственной личности, если они только когда-нибудь возникали.

Но кроме того, его я уничтожалось и подавлялось в нем, как мы уже сказали, сознанием недостижимой высоты христианского идеала и своей неспособности к напряжению и усилию. Потому, что рядом с его, так сказать, *бескорыстной*, безличной жизнью мысли была другая область, где обретал он самого себя всецело, где он жил только для себя, всей полнотой своей личности. То была жизнь сердца, жизнь чувства, со всеми ее заблуждениями, тревожениями, муками, поэзией, драмой страсти; жизнь, которой, впрочем, он отдавался всякий раз не иначе как вследствие самого искреннего, внезапно овладевшего им увлечения, — отдавался без умысла и без борьбы. Но она была у него про себя, не была предметом похвалы и ликования, всегда обращалась для него в источник тоски и скорби и оставляла болезненный след в его душе.

Душа моя — элизиум теней,
Теней безмолвных, светлых и прекрасных,
Ни замыслам годины буйной сей,
Ни радостям, ни горю непричастных.
Душа моя — элизиум теней,
Что общего меж жизнью и тобой?..

Так высказывается он сам в своих стихах. Замыслы, радости и горе годины не переставали однако ж занимать и тревожить его ум; страстные увлечения сердца не ослабляли деятельности его философской мысли, но они тем не менее вносили тягостное раздвоение в его бытие. Ничто не могло омрачить в нем сознания правды. Немерцающий светоч ума и совести постоянно разоблачал пред ним всю тьму противоречий между признаваемым, сочувственным его душе, нравственным идеалом и жизнью; между возвышенными запросами и ответом.

О, вещая душа моя,
О, сердце, полное тревоги,
О, как ты бьешься на пороге
Как бы двойного бытия!..

Этот крик сердечной боли, как бы невольно вырвавшийся из груди поэта, разрешается через несколько строк

воплем скорби и верующего смирения в следующих стихах:

Пускай страдальческую грудь
Волнуют страсти роковые —
Душа готова, как Мария,
К ногам Христа навек прильнуть...

Самая способность смирения, этой силы очищающей, уже служит залогом высших свойств его природы. Биографу Тютчева нет затем никакой надобности входить в подробности этой стороны его существования более, чем сколько нужно для разумения его нравственного облика и сокрытых мотивов его поэзии... Но не в одной этой области томился он внутренним раздвоением и душевными муками.

Ум сильный и твердый — при слабодушии, при бессилии воли, доходившем до немощи; ум зоркий и трезвый — при чувствительности нервов самой тонкой, почти женской, — при раздражительности, воспламенности, одним словом, при творческом процессе души поэта, со всеми ее мгновенно вспыхивающими призраками и самообманом; ум деятельный, не знающий ни отдыха, ни истома — при совершенной неспособности к действию, при усвоенных с детства привычках лени, при неодолимом отвращении к внешнему труду, к какому бы то ни было принуждению; ум постоянно голодный, пытливый, серьезный, сосредоточенно проникавший во все вопросы истории, философии, знания; душа, ненасытно жаждущая наслаждений, волнений, рассеяний, страстно отдававшаяся впечатлениям текущего дня, так что к нему можно было бы применить его собственные стихи про творения природы весной:

Их жизнь, как океан безбрежный,
Вся в настоящем разлита...

Дух мыслящий, неуклонно сознающий ограниченность человеческого ума, но в котором сознание и чувство этой ограниченности не довольно восполнялись живительным началом веры; вера, признаваемая умом, призываемая сердцем, но не владевшая ими всецело, не управлявшая волей, недостаточно освещавшая жизнь, а потому не вносившая в нее ни гармонии, ни единства... В этой двойственности, в этом противоречии и заключался трагизм его существования. Он не находил ни успокоения своей мысли, ни мира своей душе. Он избегал оставаться наедине с самим собой, не выдерживал одиночества и как ни раз-

дражался «бессмертной пошлостью людской», по его собственному выражению, однако не в сплах был обойтись без людей, без общества, даже на короткое время.

Только поэтическое творчество было в нем целью: мы это увидим при подробной характеристике его как поэта. Но оно, вследствие именно этой сложности его духовной природы, не могло быть в нем продолжительно и, вслед за мгновением творческого наслаждения, он уже стоял выше своих произведений, он уже не мог довольствоваться этими неполными и потому не совсем верными, по его сознанию, отголосками его дум и ощущений; не мог признавать их за *делание* достаточно важное и ценное, достойно отвечающее требованиям его ума и таланта. А что требования эти бывали велики, тревожили иногда его собственную душу с настойчивостью и властью, что пламень таланта порою жег его самого и стремился вырваться на волю; что эти высокие призывы, остававшиеся неудовлетворенными, наводили на него припадки меланхолии и уныния, особенно в тридцатых годах его жизни, во время пребывания за границей, где впервые, вдали от отечества, зашевелились и заговорили в нем все силы его дарований, где не мог он порой не тяготиться своим одиночеством, — обо всем этом мы узнаем отчасти из сохранившихся писем его первой жены. Именно ради рассеяния и отпросился он в плавание, с дипломатическими депешами, к Ионическим островам. Об этом свидетельствуют также написанные около того же времени следующие два стихотворения, представлявшие, кроме своего высокого достоинства, психологический и биографический интерес. Первое из них то самое «Silentium», которое напечатанное в 1835 году в «Мэлве», не обратило на себя никакого внимания и в котором так хорошо выражена вся эта немощь поэта — передать точными словами, логической формулой речи внутреннюю жизнь души в ее полноте и правде:

Молчи, скрывайся и таи
И чувства, и мечты свои!
Пусть в душевной глубине
И всходят и зайдут оне,
Как звезды ясные в ночи:
Любуйся ими и молчи.

Как сердцу высказать себя?
Другому как понять тебя?
Поймет ли он, чем ты живешь?
Мысль изреченная есть ложь;
Взрывая — возмутишь ключи:
Питайся ими и молчи.

Лишь жить в самом себе умей!
Есть целый мир в душе твоей
Таинственно-волшебных дум:
Их заглушит наружный шум,
Дневные ослепят лучи, —
Внимай их пенью — и молчи.

В другом превосходном стихотворении эта тоска доходит уже до своего высшего выражения*:

Как над горячею золой
Дымится свиток и сгорает,
И огонь сокрытый и глухой
Слова и строки пожирает, —

Так грустно тлится жизнь моя
И с каждым днем уходит дымом;
Так постепенно гасну я
В однообразье нестерпимом.

О Небо! если бы хоть раз
Сей пламень развился по воле,
И не томясь, не мучась доле,
Я просиял бы — и погас!

Но и потом, гораздо позднее, нередко вслед за игривым, шутивным словом можно было подслушать как бы невольные стоны, исторгавшиеся из его груди. Его ум сверкал иронией, — его душа ныла... А между тем не было, по-видимому, человека приятнее и любезнее. Его присутствием оживлялась всякая беседа; неистощимо сыпались блестящие его чарующего остроумия; жадно подхватывались окружающими его меткие изречения, из которых каждое было в своем роде артистическим изделием самой тонкой, узорчатой, художественной чеканки; он пленял и утешал все внемлющее ему общество. Но вот, внезапно, неожиданно скрывшись, он — на обратном пути домой; или вот он, с накинутым на спину пледом, бродит долгие часы по улицам Петербурга, не замечая и удивляя прохожих... Тот ли он самый?..

Стройного, худощавого сложения, небольшого роста, с редкими, рано поседевшими волосами, небрежно осенявшими высокий, обнаженный, необыкновенной красоты лоб, всегда оттененный глубокой думой; с рассеянием во взоре, с легким намеком иронии на устах, — хилый, немощный и по наружному виду, он казался влачившим тяжкое бремя собственных дарований, страдавшим от нестерпимого блеска своей собственной, неутомимой мысли. Понятно теперь, что в этом блеске топили для него,

* Оно напечатано в «Современнике» в 1836 году.

как звезды в сиянии дня, его собственные поэтические творения. Понятны его пренебрежение к ним и так называемая авторская скромность.

Таков был этот своеобразный, высокодаровитый, смелый и смиренный мыслитель и поэт; таков был этот замечательный человек, неотразимо привлекательный изяществом всех проявлений своего духа, — самым сочетанием силы и слабости.

III

Двадцатидвухлетнее пребывание Тютчева за границей⁵¹, частое посещение всех центров умственной деятельности; постоянное вращение в высшем иностранном обществе; знакомство и беседы со всеми современными светилами науки и искусства — все это не могло не дать и действительно дало Тютчеву тот особый яркий отпечаток общеевропейской образованности, которым поражался всякий при первой с ним встрече. Но быть «человеком европейским» еще не значит быть русским. Напротив: самое двадцатидвухлетнее пребывание Тютчева в Западной Европе позволило предполагать, что из него выйдет не только «европеец», но и «европеист», то есть приверженец и проповедник теорий европеизма — иначе, поглощения русской народности западную «общечеловеческую» цивилизацию. Если сообразить всю обстановку Тютчева во время его жития за границей, то кажется судьба как бы умышленно подвергала его испытанию. Нельзя было придумать, ни сосредоточить в таком множестве более благоприятных условий для совращения русского юноши, если не в немца или француза, то *в иностранца вообще*, без народности и отечества. В самом деле, вспомним, как сильно было обаяние западного просвещения на умы в самой России пятьдесят лет тому назад, когда Тютчев в первый раз переселился из Москвы в Мюнхен. Вспомним, что с 18-летнего возраста ему пришлось воспитываться и вырабатываться совершенно одному, без всякой поддержки из России, со всех сторон объятому чужеземной стихией, под ежечасным, непосредственным, могучим воздействием европейской гражданственности. Мы уже выразились выше, что переезд Тютчева за границу равнялся совершенному разрыву с отечеством. И точно: в течение 22-х лет своего пребывания в чужих краях он только четыре раза побывал в России, большей частью на короткий срок, и все его личные заочные с ней сношения едва ли не ограничивались перепиской с своими родными, при-

том неисправной и вовсе не литературного свойства. Стихотворные вклады в русские альманахи и журналы не радовали его успехом; а в те длинные промежутки, когда прерывалось печатание его стихотворений, прекращалась и эта слабая его связь с отечеством: под конец имя его почти забывается; он как бы перестает существовать для России. Самое дипломатическое поприще, на которое он вступил, менее всего было способно воспитать в нем русского человека. «Национальность в политике» не была еще тогда тем модным, хотя подчас и мнимым девизом дипломатии, как в наше время: политические интересы понимались большей частью с их внешней, нередко случайной стороны; их представителями и защитниками от имени русского государства бывали нередко иностранцы или же такие русские, которые немного более иностранцев были знакомы с русской землей и русским языком и из которых иные, служа лет по 30 за границей, уже и вовсе не способны были разуть динувшуюся вперед Россию. Вообще, так называемый дипломатический круг, при каждом дворе, представлял в то время (может быть, представляет и теперь) такую общественную международную почву, на которой, при содействии общего условного языка и общих условных форм, всего легче стиралось в людях клеймо народности, особенно в русских чиновниках, почти всегда зараженных суеверным поклонением кумиру западной цивилизации. В такой-то общественный круг попал Тютчев с самого раннего возраста и обращался в нем без перерыва почти целую четверть века... Вспомним, наконец, что там, за границей, он женился, стал отцом семейства, овдовел, снова женился, оба раза на иностранках; там, на чужбине, прошла лучшая пора его жизни, совсем, чем дорога человеку его молодость, как он сам о том свидетельствует в следующих стихах, написанных им уже в 1846 году, когда, после смерти отца, он посетил свое родное село Овстуг, где родился и провел детские годы:

Итак, опять увиделся я с вами,
Места немыслим, хоть и родные,
Где мыслил я и чувствовал впервые
И где теперь туманными очами,
При свете вечеряющего дня,
Мой детский возраст смотрит на меня.

О, бедный призрак, немощный и смутный,
Забытого, загадочного счастья!
О, как теперь, без веры и участия,
Гляжу я на тебя, мой гость минутный!
Куда как чужд ты стал в моих глазах,
Как брат меньшей, умерший в пеленах.

Ах нет! не здесь, не этот край безлюдный
Был для души моей родимым краем;
Не здесь прошел, не здесь был величаем
Великий праздник молодости чудной!..
Ах, и не в эту землю я сложил
То, чем я жил и чем я дорожил!

Припомним, наконец, что в эти 22 года он почти не слышит русской речи, а по отъезде Хлопова⁵² и совсем лишается того немногого, хотя и благотворного соприкосновения с русской бытовой жизнью, которое доставляло ему присутствие его дядьки в Мюнхене. Его первая жена ни слова не знала по-русски, так же как и вторая, выучившаяся русскому языку уже по переселении в Россию (и собственно для того, чтоб понимать стихи своего мужа): следовательно, самый язык его домашнего быта был чуждый. С русскими путешественниками беседа происходила, по тогдашнему обычаю, всегда по-французски; по-французски же, исключительно, велась и дипломатическая корреспонденция, и его переписка с родными.

Каким же непостижимым откровением внутреннего духа далась ему та чистая, русская, сладкозвучная, мерная речь, которою мы наслаждаемся в его поэзии? Каким образом там, в иноземной среде, мог создаться в нем русский поэт — одно из лучших украшений русской словесности?.. Конечно, язык — стихия природная, и Тютчев уже перед отъездом за границу владел вполне основательным знанием родной речи. Но для того, чтобы не только сохранить это знание, а стать хозяином и творцом в языке, хотя и родном, однако изъятом из ежедневного употребления; чтобы возвести свое поэтическое, русское слово до такой степени красоты и силы, при чужезычной двадцатидвухлетней обстановке, когда поэту даже некому было и поведать своих творений... для этого нужна была такая самобытность духовной природы, которой нельзя не дивиться.

Но еще поразительнее, чем в Тютчеве-поэте, сказывается нам эта самобытность духовной природы в Тютчеве как мыслителе. Невольно недоумеваешь, каким чудом, при известных нам внешних условиях его судьбы, не только не угасло в нем русское чувство, а разгорелось в широкий, упорный пламень, — но еще, кроме того, сложился и выработался целый твердый философский строй национальных воззрений. Мы высоко ценим значение непосредственных бытовых влияний и уже указывали на их присутствие в жизни Тютчева; но нельзя же в самом деле умильной заботливости Николая Афанасьевича и благочестивым народным обычаям Екатерины Львовны присвоивать

слишком сильную нравственную власть над умственным развитием такого «европейского человека», каким считался и был наш покойный писатель. К тому же эти бытовые влияния у нас, в России, одинаково существовали для всех то есть в равной мере и для людей, которые впоследствии отнеслись к ним с презрением, пазвались «западниками» и решительно отвергли у русской народности всякое право на самостоятельность. Предания детства и домашнего быта могли, конечно, согреть душу и питать в Тютчеве природное русское чувство, — но по-видимому и только. Еще сильнее способны были заронить в нем неугасимую искру *патриотизма* воспоминания о 1812 годе и слава, венчавшая Россию по умирении Европы. Но любовь к отечеству, сама по себе, также не более как чувство, и притом присущее каждому человеческому естеству в каждом народе, — чувство не рассуждающее, не нуждающееся ни в каких отвлеченных основаниях. Непосредственная любовь к *родине* сталкивалась к тому же у Тютчева, как мы видели из приведенных выше стихов, с другими, еще более сильными влечениями; то был «милый сердцу край», в котором праздновал он праздник молодости и любви, где протекали самые золотые годы его жизни, совершенно заслонившие для него годы детства. Здесь следует заметить кстати, что 22 года, проведенные среди не поддельной, а *истой* европейской гражданственности, наложили неизгладимую печать па всю, так сказать, внешнюю сторону его существа: по своим привычкам и вкусам он был вполне «европеец», и европеец самой высшей пробы, со всеми духовными потребностями, воспитываемыми западной цивилизацией. Удобрства и средства, доставляемые заграничным бытом для удовлетворения этих потребностей, были ему, разумеется, дороги. Его не переставала также манить к себе, по возвращении в Россию, роскошная природа Южной Германии и Италии, среди которой он прожил с 18-ти до 40-летнего возраста. Так, приехав в 1844 году в Петербург на окончательное водворение, он в ноябре же месяце того года, рисуя в стихах картину Невы зимней ночью, прибавляет к этой картине следующие строфы:

Я вспомнил, грустно молчалив,
Как в тех странах, где солнце греет,
Теперь на солнце пламенест
Роскошный Генуи залив...
О Север, Север-чародей,
Иль я тобою очарован,
Иль в самом деле я прикован
К гранитной полосе твоей?
О если б мимолетный дух,

Во мгле вечерней тихо вея,
Меня унес скорей, скорее
Туда, туда, на теплый Юг!..

Та же мысль выражена и во многих других стихотворениях, например:

Давно ль, давно ль, о Юг блаженный,
Я зрел тебя лицом к лицу,
И как Эдем ты растворенный
Доступен был мне, пришлецу?
Давно ль, — хотя без восхищенья,
Но новых чувств недаром полн, —
Я там заслушивался пенья
Великих средиземных волн?

И песнь их, как во время оно,
Полна гармонии была,
Когда из их родного лона
Киприда светлая всплыла.
Они все те же и поныне,
Все так же блещут и звучат:
По их лазоревой равнине
Родные призраки скользят.

Но я... я с вами распростился,
Я вновь на Север увлечен;
Вновь надо мною опустился
Его свищовый небосклон.
Здесь воздух колет: снег обильный
На высотах и в глубине,
И холод, чародей всеильный
Одни господствует вполне...

Или вот еще отрывок:

Вновь твои я вижу очи,
И один твой нежный взгляд
Киммерийской грустной ночи
Вдруг развеял сонный хлад.
Воскресает предо мною
Край иной — родимый край,
Словно прадедов виною
Для сынов погибший рай...
Сновиденьем безобразным
Скрылся Север роковой;
Сводом легким и прекрасным
Светит небо надо мной.
Снова жадными очами
Свет живительный я пью
И под чистыми лучами
Край волшебный узнаю.

Напротив того, русская природа, русская деревня не обладали для него живой притягательной силой, хотя он понимал и высоко ценил их, так сказать, внутреннюю, ду-

ховную красоту. Он даже в течение двух недель не в состоянии был переносить пребывания в русской деревенской глуши, например в своем родовом поместье Брянского уезда, куда почти каждое лето переезжала на житье его супруга с детьми. Не получать каждое утро новых газет и новых книг, не иметь ежедневного общения с образованным кругом людей, не слышать около себя шумной общественной жизни — было для него невыносимо. Хозяйственные интересы, как легко можно поверить, для него вовсе не существовали. Ведая свою «непрактичность», он и не заглядывал в управление имением. Даже мудро себе и вообразить Тютчева в русском селе, между русскими крестьянами, в сношениях и беседах с мужиком. Так, казалось, мало было между ними общего...

А между тем Тютчев положительно пламенел любовью к России: как ни высокопарно кажется это выражение, но оно верно... И вот опять новое внутреннее противоречие — в дополнение к тому множеству противоречий, которым, как мы видели, осложнялось все его бытие!

Но если под «любовью к России» понимать то же, что обыкновенно разумеется под словом «патриотизм», то здесь почти нет и места противоречию. Потому что «патриотизм», в котором никогда в России не было недостатка, именно-то в России вовсе и не означал ни уважения, ни даже простого сочувствия к русской народности. Отстаивая с беспримерным мужеством политическое существование русского государства, патриотизм не выдерживал столкновения с нравственным натиском Западной Европы и, охраняя целостность внешних пределов, трусливо *пасовал* и поступался русской национальностью в области бытовой и духовной... Что мог, казалось, кроме *чувства* любви к отечеству, противопоставить молодой Тютчев, переехав в чужие края, враждебному к русской народности авторитету европейской цивилизации, всем этим неприязненным умственными силами во всеоружии науки, знания, крепких систем? Что способна была ему дать, чем напутствовать его в оны годы Россия?

Не кстати ли будет здесь обновить несколько в памяти тот двадцатидвухлетний период русской исторической жизни и общественного самосложения, который совершился вне всякого участия и вдали от Тютчева — и в то же время без всякого с своей стороны воздействия на развитие самого поэта?

Период с 1822 по 1844 год был важной эпохой во внутренней истории нашего отечества. В 1822 году воспоминания 12-го года и последовавших за ним славных

для России событий были еще во всей своей животрепещущей силе. Высокий жребий умиротворения Европы, выпавший на долю Александра I, превозмог в нем власть народных инстинктов. Верховного вождя русского народа перевешивал бескорыстный европеец, устроитель европейских судеб, непричастный национальному эгоизму... В обществе возбужденное войной патриотическое чувство, защитившее внешнюю независимость русской земли, еще не доросло до притязаний на ее духовную независимость. Русская мысль еще не вчинала⁵³ подвига народного самосознания. Вслед за отраженным нами «нашествием двенадцати язык», сильнее чем когда-либо повторилось на Россию нашествие с Запада: идей, теорий, доктрин — политических, философских и нравственных. Живое сближение с Европой в лице образованного слоя нашей победоносной армии дало в свою очередь победу над русскими умами обаятельным формам европейской гражданственности. В то время, как наша внешняя государственная политика приносила в жертву интересам европейского равновесия и покоя политические интересы России, отказывая в поддержке грекам и сербам, русское общество, расколыхавшись, как море от разразившейся над Россией великой исторической бури, представляло зрелище необычайного умственного брожения. Смутно чувствуя ложь своего исторического пути и всего общественного строя, оно не умело еще додуматься до настоящей причины этой лжи и, обходя или не ведая про свой народ и свою народность, искало разрешения томившим его задачам в чужой исторической жизни. Под влиянием иностранных образцов это брожение принимало формы то тугендбупдов⁵⁴, то иных подобных союзов, пока наконец не превратилось в политический заговор. Событие 14-го декабря снесло с русской земли цвет высшего образованного общества. Началось новое царствование и с ним новый период внутреннего развития. Русский кабинет по-прежнему пекся об Европе, но уже без «галантерейного обращения» александровской эпохи: новый царь держал имя России грозно. Мятеж декабристов обличил историческую несостоятельность политических иностранных идеалов, насильственно переносимых на русскую почву; фальшивые призраки будущего переустройства России на европейский фасон, которыми тешилось незрелое, порвавшее с народными преданиями русское общество, были разбиты. Давление сверху, стеснив всякую внешнюю общественную деятельность, вогнало русскую мысль внутрь...

Действительно, мы видим, что русская словес-

ность, — в которой при отъезде Тютчева за границу еще господствовали французские литературные авторитеты вместе с самыми жалкими и детскими эстетическими теориями, — мало-помалу пробует освобождаться и наконец освобождается совсем из оков псевдоклассицизма и подражательности. Гений Пушкина ищет содержания в народной жизни. Настает Гоголь: неумолимо разоблачена духовная скудость и нравственная пошлость нашего общественного строя; все лживо-важное, ходульное, напыщенное в литературном изображении и разумении нашей русской действительности исчезает, как снег весной, от одного явления этого громадного таланта. В художественном воспроизведении жизни водворяется требование простоты и правды (переходящее впоследствии у большинства писателей в голое обличение и отрицание). Критика в лице Белинского (в лучшую пору его деятельности) окончательно сокрушает фальшивые литературные кумиры и остатки старых эстетических теорий.

В 1826 году выходит последний том «Истории государства Российского» Карамзина. Его монументальный, хотя и не оконченный труд, при всем своем несовершенстве, пролагает путь к ближайшему знакомству с историческим ростом России, к внимательнейшему исследованию ее прошлых судеб. Обнародование актов, грамот, летописей и других памятников древней русской письменности, вообще издания Археографической комиссии создают новую эпоху в изучении русской истории и самым могущественным образом движут вперед наше историческое сознание. В области отвлеченного умственного движения, совершающегося преимущественно в Москве, влияние французских мыслителей и вообще философии XVIII века сменяется более благотворным, хотя иногда и очень поверхностным воздействием на русские умы германской науки и философии. Русская мысль трезвеет и крепнет в строгой школе приемов немецкого мышления и также пытается стать в сознательное, философское отношение к русской народности. С одной стороны, вырабатывается целая стройная доктрина, как продукт высших просвещенных соображений, — что спасение для России заключается в полнейшем отречении от всех народных, исторических, бытовых и религиозных преданий; во главе этого направления стоит Чаадаев. С другой, сначала одиноко и большей частью еще в стихах, раздается протест Хомякова; к нему примыкает постепенно целая дружина молодых людей — из последователей Гегелевой философии, а потом и несколько самостоятельных мыслителей, как Киреевские и

другие. Общество распадается на два стана: «западников» и «восточников»; за последними утверждается прозвище «славянофилов», данное им в насмешку петербургской журналистикой. Завязывается сильная, запальчивая борьба в печати, в рукописи, в устных беседах, в частных домах, на общественных сборищах и университетских кафедрах. Славянофилы устремляются к изучению русской народности во всех ее проявлениях, к раскрытию ее внутреннего содержания, к наследованию ее коренных духовных и гражданских стихий. Они, по выражению Хомякова, «допрашивают духа жизни», сокрытого в нашем *былом* и хранящегося еще в настоящем, то есть в простом русском народе. Они усматривают в нем, в этом «духе жизни», и в православном вероисповедании новые просветительные начала для человечества, указывают на новые своеобразные основания для социального и политического строя. Протестуя против деспотизма петровского переворота и против всяческого насилия над народной жизнью, они требуют для русской земли свободы органического развития, признания прав самой жизни, уважения к русской народности и к народу (не к народу *вообще*, чем пробавлялись многие наши демократы, отворачиваясь от русского мужика или стараясь обманом и силой уподобить его заграничным демократическим образцам, а именно к русскому народу и его бытовым основам). Вместе с тем, обвиняя русское образованное общество в разрыве с историческими народными преданиями, в нравственной измене своей стране, обличая скудость и непроизводительность перенятого им, в духе рабства и подражания, западного просвещения, — славянофилы проповедуют необходимость, право и обязанность для русской народности самостоятельного труда и вклада в общечеловеческую науку, искусство и знание. С увлечением превозносят они историческое и духовное призвание России, как представительницы православного Востока и славянского племени, и предвещают ей великое мировое будущее. Между тем западничество, найдя себе опору в Белинском, переселившемся в Петербург, господствует в журналистике и, как теория, разделяет потом судьбу самой германской философии, переходящей постепенно, в дальнейшем своем развитии, из идеализма в материализм, позитивизм и в другие системы нефилософского свойства и преимущественно французского происхождения. В первой половине сороковых годов, то есть ко времени возвращения Тютчева в Петербург, борьба между обоими лагерями была в самом разгаре.

Мы распространились о славянофильстве несколько подробнее потому, что собственное мирозозерцание Тютчева находится с ним если не в прямой связи, то в соотношении. Заметим еще, что лично славянофилы как в сороковых годах, так и впоследствии никогда не пользовались большим успехом и стояли в обществе особняком, малым отрядом. О них много шумели и кричали, издевались над ними в стихах и прозе, выставляли их на сцене, обвиняли в обскурантизме, возводили умышленно и неумышленно разные небылицы, — но никто никогда не мог отрицать их гражданской независимости, откровенности их речей и действий, высоконравственного характера их учения. Самое это учение, в своем целом объеме, как учение, никогда не было популярным, да и не было вполне формулировано или выражено в виде точного кодекса; славянофильские издания расходились вообще в малом количестве; их журналы имели, сравнительно, очень немного подписчиков; непосредственного действия на массы читающего люда они не оказывали, — но действие их на своих противников, на так называемую интеллигенцию, было неотразимо, — хотя и не быстро. Противники, наконец, догадались что почва у них из-под ног постепенно уходит, враждебные газеты и журналы стали сдаваться и принимать одно за другим разные славянофильские положения, — правда, видоизменяя, «очищая» их по-своему и выдавая за собственные измышления, но все-таки сходясь с славянофильством хоть в некоторых существенных основаниях. Не как учение, воспринимаемое в полном объеме послушными адептами, а как направление, освобождающее русскую мысль из духовного рабства перед Западом и призывающее русскую народность стать на степень самостоятельного просветительного органа в человечестве, славянофильство, можно сказать, уже одержало победу, то есть заставило даже и врагов своих признать себя весьма важным моментом в ходе русской общественной мысли. Мы со своей стороны думаем, что оно не только исторический момент уже отжитый, но и пребывает и будет в истории нашего и дальнейшего умственного развития — как предъявленный неумолкающий запрос, как постоянный двигатель и указатель. Самое прозвище «славянофильство» может быть покинуто и забыто; может потеряться из виду преемственная духовная связь между первыми деятелями и новейшими; многое, совершающееся под общим воздействием славянофильских мнений, но совершающееся в данную, известную пору, при известных, исторических условиях, будет даже уклоняться, по-видимому, от чистоты

и строгости некоторых славянофильских идеалов. Без сомнения, отжиты также те крайние увлечения, которые органически, так сказать, были связаны с личным характером первых проповедников или вызывались страстью борьбы; некоторые слишком поспешно определенные формулы, в которых представлялось иным славянофилам будущее историческое осуществление их любимых мыслей и надежд, оказались или окажутся ошибочными, и история осуществит, может быть, те же начала, но совсем в иных формах и совсем иными, неисповедимыми своими путями... Но тем не менее раз возбужденное народное самосознание уже не может ни исчезнуть, ни прервать начатой работы, и оправдает, конечно, со временем многие высказанные славянофильством положения, кажущиеся теперь мечтательными. Сделав это небольшое, но необходимое, впрочем, отступление, возвращаемся к нашему очерку.

Россия 1822 и Россия 1844 года — какой длинный путь пройден русской мыслью! какое полное видоизменение в умственном строе русского общества! Во всем этом движении, этой борьбе Тютчев не имел ни заслуги, ни участия. Он оставался совершенно в стороне, и, к сожалению, у нас нет ни малейших данных, которые бы позволили судить, как отозвались в нем и внешние события, например 14-е декабря и т. п., и явления духовной общественной жизни, отголосок которых все же мог иногда доходить и до Мюнхена. Уехав из России, когда еще не завершилось издание «Истории» Карамзина, только что раздались звуки поэзии Пушкина, обаяние Франции было еще все-таки и о духовных правах русской народности почти не было и речи, Тютчев возвращается в Россию, когда замолк и Пушкин, и другие его спутники-поэты, когда Гоголь уже издал «Мертвые души», когда нравственное владычество Франции было почти совсем свергнуто благодаря немцам и толки о народности, борьба не одних литературных, но и жизненных общественных направлений, занимала все умы... Что же выработал за границей его ум, так долго и одиноко созревавший в германской среде? Явился ли он «отсталым» для России, но передовым представителем европейской мысли? Какое последнее слово западного просвещения принесет он с собой?

Он и действительно явился представителем европейского просвещения. Но велико же было удивление русского общества, и особенно тогдашних наших западников, когда оказалось, что результатом этого просвещения, так полно усвоенного Тютчевым, было не только утверждение

в нем естественной любви к своему отечеству, но и высшее разумное ее оправдание; не только верование в великое политическое будущее России, но и убеждение в высшем мировом призвании русского народа и вообще духовных стихий русской народности. Тютчев как бы перескочил через все стадии русского общественного двадцатидвухлетнего движения и, возвратясь из-за границы с зрелой, самостоятельно выношенной им на чужбине думой, очутился в России как раз на той ступени, на которой стояли тогда передовые славянофилы с Хомяковым во главе. А между тем Тютчев вовсе не знал их прежде да и потом никогда не был с ними в особенно тесных сношениях. Правда, он всегда говаривал, что ни с кем встреча не была так плодотворна для его мысли, как именно с Хомяковым и его друзьями, — и это понятно: он нашел то, чего не ожидал, — почти полное подтверждение его собственных, одиноко выработанных воззрений, почти тождественную с его мнениями систему, опирающуюся на ближайшем изучении русской истории и народного быта, — а этого изучения ему именно и недоставало. Силой собственного труда, идя путем совершенно самостоятельным, своеобразным и независимым, без сочувствия и поддержки, без помощи тех непосредственных откровений, которые каждый, неведомо для себя, почерпывает у себя дома, в отечестве, из окружающих его стихий церкви и быта, — напротив: наперекор окружавшей его среде и могучим влияниям, — Тютчев не только пришел к выводам, совершенно сходным с основными славянофильскими положениями, но и к их чаяниям и гаданиям, — а в некоторых политических своих соображениях явился еще более *крайним*. Мы не имеем возможности проследить постепенный ход его мысли за границей, но можем отметить, даже в начале его заграничного пребывания, замечательную самобытность его ума в отношении к авторитетам западной науки.

Вообще Тютчев, как можно заключать по некоторым данным, хотя и жадно воспринимал в себя сокровища западного знания, но не только без благоговения и подобострастия, а с полной свободой и независимостью. Он с самого начала как бы *судил* Запад. Тот же иностранец приводит слова Тютчева по поводу борьбы Карла X с народным представительством во Франции, разразившейся Июльской революцией... Тютчев даже и тогда проводил различие между революцией как отпором незаконной власти и революцией как теорией, революцией, возведенной в право, в принцип. Он обличал в этой революции

присутствие целого нового культа, целого революционного вероисповедания, которое, по мнению Тютчева, связывалось с общим историческим ходом философской и религиозной мысли на Западе. Потому Тютчев еще в 1830 году предсказывал последовательный ряд революций, — неминутное наступление для Европы революционной эры. Такой взгляд в молодом человеке и в ту именно пору, когда события Июльских дней кружили голову всей молодежи и приветствовались ею с энтузиазмом, а учреждение Июльской конституционной монархии во Франции казалось, даже и более зрелым головам, чуть не разрешением всех политических задач, прочным залогом народного благоденствия, высшей нормой общественного бытия и прочее, такой взгляд, конечно, обнаруживал редкую самостоятельность.

Не менее поразительным является и написанное им в 1841 году послание к Ганке⁵⁵. В России, собственно говоря в Москве, в то время только что начинали завязываться непосредственные сношения с славянскими племенами Австрии и Турции; вернее сказать, эти сношения с передовыми людьми славянства существовали и раньше, но только у очень немногих русских ученых, филологов, археологов и историков; почин в этом деле принадлежал М. П. Погодину. Только в начале сороковых годов это стремление к теснейшему сближению с славянским миром стало принимать у нас характер общественный, и значение духовной и племенной связи России с славянами начало постепенно входить в наше историческое самосознание. Но носителем и представителем такого самосознания был еще очень небольшой кружок, тогда еще и не прозванный «славянофильским». Это Московское движение оставалось в то время еще совершенно чуждым и едва ли даже ведомым Тютчеву, и хотя идея панславизма уже бродила тогда между западными славянами, однако же мало была известна немцам, среди которых жил Тютчев. Таким образом то отношение, в которое Тютчев мыслью и сердцем стал к славянскому вопросу в 1841 году, было его личным делом; его послание к Ганке написано не с чужого голоса, а есть самостоятельный голос. Он лично посетил Прагу. Вот несколько строк из этого послания:

Всковать ли нам в разлуке?
Не пора ль очутиться нам
И подать друг другу руки,
Нашим братьям и друзьям?
Веки мы слепцами были,
И как жалкие слепцы,

Мы блуждали, мы бродили,
Разбрелись во все концы...

И вражды безумной семя
Плод сторичный принесло:
Не одно погибло племя
Иль в чужбину отошло.
Иноверец, иноземец
Нас раздвинул, разломил:
Тех обезьязычил немец,
Этих турок осрамил...

Вот среди сей ночи темной
Здесь, на Пражских высотах,
Доблий муж рукою скромной
Засветил маяк впотьмах.
О, какими вдруг лучами
Осветились все края!..
Обличилась перед нами
Вся Славянская земля!

Рассветает над Варшавой,
Киев очи отворил,
И с Москвой золотоглавой
Вышеград заговорил.

И наречий братских звуки
Вновь понятны стали нам, —
Наяву увидят внуки
То, что спилося отцам!

М. П. Погодин в своей статье по поводу кончины Тютчева⁵⁶ также свидетельствует, что когда он, после 20 лет разлуки с Тютчевым, «увидался с ним и услышал его в первый раз, после всех странствий, заговорившего о славянском вопросе, то не верил ушам своим», хотя, прибавляет Погодин, «этот вопрос давно уже был предметом моих занятий и коротко мне знаком».

В том же 1841 году написано Тютчевым в Мюнхене стихотворение по случаю перенесения праха Наполеона с острова Святой Елены в Париж. Это событие вдохновило и в России многих наших поэтов, в том числе и Хомякова в Москве. Но замечательно то, что стихотворения как мюнхенского старожилы и дипломата, так и москвича-славянофила сходны между собой в основных, существенных мотивах, которых не затронули другие поэты. И Тютчева и Хомякова воспоминание о Наполеоне приводит к мысли, что сила этого гордого гения сокрушилась не о вещественную мощь России, а о нравственную силу русского народа, — его смирение и веру. Наконец оба по поводу завершения, так сказать, Наполеонова эпоса обращают свои взоры к пробуждающемуся Востоку.

Вот отрывки из стихотворения Тютчева о Наполеоне:

Два демона ему служили,
Две силы чудно в нем слились:
В его главе орлы парили,
В его груди змеи вились...
Но освящающая сила,
Непосгижимая уму,
Его души не озарила
И не приблизилась к нему.
Он был земной, не божий пламень,
Он гордо плыл, смиритель волн;
Но о подводный веры камень
В щепы разбился утлый чели.

И ты стоял — перед тобой Россия!
И вещий волхв, в предчувствии борьбы,
Ты сам слова промолвил роковые:
«Да сбудутся се судьбы!..»
Года прошли, и вот из ссылки тесной
На родину вернувшийся мертвец,
На берегах реки тебе любезной,
Тревожный дух, почил ты наконец,
Но чуток сон и, по ночам тоскуя,
Порою встав, ты смотришь на Восток...

У Хомякова:

И в те дни своей гордыни
Он пришёл к Москве святой,
Но спалил огонь святыни
Силу гордости земной...

И потом:

Скатилась звезда с омраченных небес,
Величье змное во прахе!..
Скажите, не утро ль с Востока встает?
Не новая ль жатва пад прахом растет? *и проч.*

В статье «Россия и Германия», написанной и напечатанной им за границей в 1844 году, уже намечаются автором, еще слегка и неполно, черты его политической и исторической думы, которой полное выражение мы находим в его позднейших статьях, стихах и письмах. В этом письме своем к д-ру Кольбу⁵⁷ он прямо противопоставляет Западной Европе — «Европу Восточную», то есть Россию; он называет Россию «целым миром, единым в своем основном духовном начале», «более искренне-христианским, чем Запад», «империю Востока, для которой первая империя византийских кесарей служила лишь слабым и неполным предначертанием и которой остается

лишь окончательно сложиться, — что неминуемо, в чем и заключается так называемый Восточный вопрос». Не подлежит сомнению, что подобное политическое вероисповедание не было в то время еще никем заявлено в русской литературе, особенно так прямо и положительно, и нельзя не удивляться спокойной смелости, с которой Тютчев решился высказать его пред лицом Европы. Конечно, как мы и выразились, мысль его в этой статье очерчена только слегка, но этот очерк как бы уже намекает на целый строй вполне выработанных, проверенных и усвоенных себе автором политических убеждений.

Мы с намерением перечислили здесь все документальные данные, свидетельствующие о том, что еще за границей, вполне самостоятельно и своеобразно, сложилось у Тютчева то русское мирозерцание, которое одновременно вырабатывалось и проповедовалось в Москве Хомяковым и его друзьями, которое навлекло на них столько насмешек и прозвищ (между прочим, «славянофилов» и «квасных патриотов»), столько упреков и обвинений (между прочим, в ретроградности и в обскурантизме) и приводило в такое негодование наших русских поклонников западноевропейской цивилизации. Ко всему этому следует присоединить воспоминание Ю. Ф. Самарина о том, что в начале сороковых годов, еще до переселения Тютчева в Россию, на одном из тех московских вечеров, где, по тогдашнему обыкновению, происходили жаркие прения между «Западом» и «Востоком», присутствовал недавно приехавший из Мюнхена князь Иван Гагарин и, слушая Хомякова, невольно воскликнул: «Je crois entendre parler Tutcheff! Le malheureux, comme il va donner la dedans!»*. Почти никто из присутствовавших не знал имени Тютчева, и это восклицание не обратило тогда на себя никакого внимания. Наконец Тютчев — в России, знакомится с петербургским и московским обществом и, не обинуясь⁵⁸ на чистейшем французском диалекте, надевая ни мурмолки, ни святославки⁵⁹, а являясь вполне европеем и светским человеком, проповедует, на основании своей собственной аргументации, учение почти одинаково *дикое*, как и учение Хомякова, К. С. Аксакова и им подобных. Рассказывают, что особенно забавно бывало видеть Чаадаева и Тютчева вместе и слушать их споры. Чаадаев не мог не ценить ума и дарований Тютчева, не мог не любить его, не мог не признавать в Тютчеве чело-

* Кажется, я слышу Тютчева! Несчастный, как он влестится во все это!».

века вполне европейского, более европейского, чем он сам, Чаадаев; пред ним был уже не последователь, не поклонник западной цивилизации, а сама эта цивилизация, сам Запад в лице Тютчева, который к тому же и во французском языке был таким хозяином, как никто в России, и редкие из французов... Чаадаев глубоко огорчился и даже раздражался таким неприличным, непостижимым именно в Тютчеве заблуждением, *аберрацией*⁶⁰ русоманиею ума, просветившегося знанием и наукою у самого источника света, непосредственно от самой Европы. Чаадаев утверждал, что русские в Европе как бы незаконнорожденные (*une nation bâtarde* *); Тютчев доказывал, что Россия особый мир, с высшим политическим и духовным призванием, пред которым должен со временем преклониться Запад. Чаадаев настаивал на том историческом вреде, который нанесло будто бы России принятие ею христианства от Византии и отделение от церковного единства с Римом; Тютчев напротив, именно в православии видел высшее просветительное начало, залог будущности для России и всего славянского мира и полагал, что духовное обновление возможно для Запада только в возвращении к древнему вселенскому преданию и древнему церковному единству. Эту мысль свою он исповедует гласно, пред всем миром, в статье, напечатанной в парижском журнале («*La Papauté et la Question Romaine*» ** — «*Revue des Deux Mondes*», 1850 г.) и если не убедившей, то поразившей европейскую публику необычной, даже для нее, талантливостью, глубиной, смелостью мысли и мастерством изложения. Чаадаев и его друзья-«западники» признавали западноевропейскую цивилизацию единственным идеалом в России и прогресс этой цивилизации — высшей целью высших стремлений человеческого духа; Тютчев обличал в этой цивилизации оскудение духовного начала и пророчил, что, уклонясь от оснований веры, объязычившись и проникнувшись принципом материализма, она дойдет до самоотрицания и до самозаклания. «Западникам», наконец, будущее Западной Европы представлялось в самом розовом цвете, и в ее революционных сотрясениях они усматривали поступательное движение вперед, сулили в грядущем благо всему человечеству; Тютчев объявлял начало революционной эре в Европе началом ее падения, принципом разрушительным, а не созидательным, основанным на насилии, на отрицании, на самообожании человеческого

* Незаконная папия (франц.). — Ред.

** «Папство и римский вопрос» (франц.). — Ред.

разума, и высказывал свои воззрения во всеуслышание всей Европы в статье: «Là Russie et la Révolution»*, напечатанной в Париже, статье, которая произвела за границей сильное впечатление, которая в извлечениях была два раза перепечатываема (с промежутком шести лет) в «Revue des Mondes», — не забыта даже и теперь. «Западники», даже и демократы, с презрением и глумлением относились к русскому простому народу; а Тютчев сам, несомненно, питомец гордого и красивого Запада — вот что способен был говорить про этот русский народ:

Эти бедные селенья,
Эта скудная природа —
Край родной долготерпенья,
Край ты русского народа.

Не поймет и не заметит
Гордый взор иноплеменный,
Что сквозит и тайно светит
В наготе твоей смиренной.

Удрученный ношей крестной,
Всю тебя, земля родная,
В рабском виде Царь небесный
Исходил благославляя...

И вот чего чаял он в будущем этому краю смирения и долготерпения, вот с какими стихами обращался поэт к России во время последней Восточной войны⁶¹, когда почти вся христианская Западная Европа в союзе с мусульманами и во имя цивилизации домогалась нашего уничтожения и гибели:

...Ложь воплотилась в булат, —
Каким-то божьим попущеньем,
Не целый мир, но целый ад
Тебе грозит ниспроверженьем.

Все богохульные умы,
Все богомерзкие народы
Со дня воздвиглись царства тьмы —
Во имя света и свободы!

Тебе они готовят плен,
Тебе пророчат посрамленье,
Ты — лучших будущих времен
Глагол, и жизнь, и просвещение!

Россия — глагол, просвещение, жизнь человечества лучших будущих времен... Так вот к какому чаянию привело Тютчева двадцатидвухлетнее воспитание в европей-

* «Россия и революция» (франц.). — Ред.

ской умственной школе! Так вот на что послужили ему все дары западного просвещения!.. Только на удобрение почвы для взращивания русской самостоятельной мысли, только на оправдание и укрепление врожденного чувства любви к России!.. Здесь опять нельзя не поразиться совпадением стихов Тютчева в основных тонах с стихами Хомякова — двух поэтов, так мало сходных своей личной судьбой. Припомним стихи Хомякова:

И другой стране смиренной,
Полной веры и чудес,
Бог отдаст судьбу вселенной,
Меч земли и гром небес!

Или:

И вот за то, что ты смиренна,
Что в чувстве детской простоты,
В молчанье сердца сокровенна
Глагол Творца прияла ты,
Тебе он дал свое призванье,
Тебе он светлый дал удел.

Далее:

Твое все то, чем дух святится,
В чем сердцу слышен глас небес,
В чем жизнь грядущих дней танцется,
Начало славы и чудес!
О, вспомни свой удел высокий,
Былое в сердце воскреси,
И в нем сокрытого глубоко
Ты духа жизни допроси.

Внимай ему — и все народы
Обняв любовию своей,
Скажи им таинство свободы,
Сиянье веры им пролей.
И станешь в славе ты чудесной
Превыше всех земных сынов,
Как этот синий свод небесный,
Прозрачный Вышнего покров!

Но если в Хомякове, человеке, *жившем в церкви*, по выражению Ю. Ф. Самарина (в его предисловии к богословским сочинениям Хомякова), такое отношение к христианским свойствам русского народа и к хранимой народом истине веры вполне понятно, то тем труднее объяснить подобное явление в Тютчеве, жившем, по-видимому, совершенно вне церкви, во всяком случае, вне церковной бытовой русской стихии, развившемся умственно и нравственно в чуждой, враждебной России, европейской среде. Особенно странным кажется это теплое сочувствие к той нравственной стороне русской народности, которая менее всего ценится, и особенно мало ценилась в то время, людь-

ми западноевропейского образования, склонными чувствовать красивую гордость и нарядный героизм, но уже никак не «смирненпе»... Но в Тютчеве оно объясняется отчасти психологически: мы уже постарались выше охарактеризовать его внутренний душевный строй и указали на присутствие в нем самом смирения и скромности не как сознательно усвоенной добродетели, а как личного, врожденного и как общего *народного* свойства. Мы видели также, что поклонение *своему я* было ему ненавистно, а *поклонение человеческому я вообще* представлялось ему обоготворением ограниченности человеческого разума, добровольным отречением от высшей, недостижимой уму, абсолютной истины, от высших надземных стремлений, — возведением человеческой личности на степень кумира, началом материалистическим, гибельным для судьбы человеческих обществ, воспринявших это начало в жизнь и в душу. Этот взгляд проведен им как философское убеждение во всех его блестящих французских статьях, о которых мы упомянули выше, — и он же как нравственный мотив, как Grundton* звучит и во всей его поэзии. Вот эта-то психическая особенность Тютчева, признанная и оправданная его глубоким умом, наукой, знанием, она-то и оградила его духовную самобытность и не только сохранила в нем русского человека, но еще дала ему возможность уразуметь русские народные нравственные идеалы, вынести и пронести их в себе на чужбине, без всякого непосредственного на него воздействия русского быта, из самого котла европейской цивилизации, сквозь все обольщения западной жизни, сквозь всю одуряющую суету светской среды, сквозь все блуждания личного нравственного бытия... Он не изменил им ни мыслью, ни сердцем в течение всей остальной половины своего существования. Вся его умственная деятельность в России была только дальнейшим развитием и исповеданием тех начал и взглядов, которые мы очертили и которые в главных своих основаниях выработались у него за границей. Ничто не раздражало его в такой мере, как скудость национального понимания в высших сферах, правительственных и общественных, как высокомерное, невежественное пренебрежение к правам и интересам русской народности. Его пропия, обыкновенно необидная, становилась едкой; он сыпал сарказмами в речах и стихах:

Напрасный труд! Нет, их не вразумишь! —

* Основной тон (нем.). — Ред.

так гласила одна его напечатанная импровизация:

Чем либеральней, тем они пошлее!
Ц и в и л и з а ц и я — для них фетиш,
Но недоступна им ее идея.
Как перед ней ни гнитесь, госнода,
Вам не снискать признанья от Европы:
В ее глазах вы будете всегда
Не слуги просвещения, а холопы!

И сколько таких импровизаций ненапечатанных и неудобопечатных!..

Мы не станем излагать в подробности всей его довольно тщательно разработанной философско-исторической системы: ниже, в особом отделе, читатели найдут полный разбор его статей, напечатанных и рукописных⁶². Нам только было нужно здесь же, в дополнение к нравственной характеристике Тютчева, выяснить самостоятельность его духовной природы, указать размах его русской мысли и чувства, а вместе с тем новый вид того раздвоения и противоречия, которым удручила его судьба...

В самом деле, не странно ли, что при всей резкости народного направления мысли в Тютчеве наш высший свет, high-life*, не только не отвергал Тютчева и не подвергал равному с славянофилами осмеянию и гонению, но всегда признавал его своим, — по крайней мере интеллигентный слой этого света. Конечно, этому причиной было то обаяние всесторонней культуры, которое у Тютчева было так нераздельно с его существом и влекло к нему всех, даже несогласных с его политическими убеждениями. Эти убеждения признавались достойными сожаления крайностями, оригинальностью, капризом, парадоксальностью сильного ума и охотно прощались Тютчеву ради его блестящего остроумия, общительности, приветливости, ради утонченно-изящного европеизма всей его внешности. К тому же все «национальные идеи» Тютчева представлялись обществу чем-то *отвлеченным* (чем, по видимому, они в нем и были отчасти), делом *мнения* (une opinion comme une autre!), а не делом жизни. Действительно, они не вносили в отношения Тютчева к людям ни исключительности, ни нетерпимости; он не принадлежал ни к какому литературному лагерю и был в общении с людьми всех кругов и станов; они не видоизменяли его

* Высшее общество, аристократия (англ.). — Ред.

привычек, не пересоздавали его частного быта, не налагали на него никакого клейма ни партии, ни национальности... Но точно ли весь этот русский элемент в Тютчеве был только отвлеченной мыслью, только делом одного мнения? Нет: любовь к России, вера в ее будущее, убеждение в ее верховном историческом призвании владели Тютчевым могущественно, упорно, безраздельно, с самых ранних лет и до последнего вздыхания. Они жили в нем на степени какой-то стихийной силы, более властительной, чем всякое иное, личное чувство. Россия была для него высшим интересом жизни: к ней устремлялись его мысли на смертном одре... А между тем странно в самом деле подумать, что стихотворение по случаю посещения русской деревни (*ах нет, не здесь, не этот край безлюдный был для души моей родимым краем*) и стихотворение: «Эти бедные селенья, эта скудная природа» написаны одним и тем же поэтом; что эта любовь к русскому народу не выносила жизни с ним лицом к лицу и уживалась только с петербургской, высшей общественной, почти европейской средой? Но такое противоречие создано было Тютчеву самой судьбой. Что же делать, если всю молодость, лучшие 22 года, он провел за границей; если он был связан с чуждой землей всеми дорогими воспоминаниями сердца, долголетними привычками быта, самым воспитанием своего ума? Подобно тому как за границей, в его германском или итальянском далеке, Россия представлялась ему не в подробностях и частностях, а в своем целом объеме, в своем общем значении, — не с точки зрения нынешнего дня, а с точки зрения мировой истории: подобно тому продолжал он смотреть на Россию и в России, не смущаясь злобой дня, не нуждаясь в более тесном соприкосновении с русской действительностью. Не следует забывать, что он был поэт, а поэтические представления довлеют поэту более, чем грубая реальность. Но тем не менее в области этого идеального представления и убеждение, и чувство его были сильны, страстны, истинны и не отвлеченны, а реальны.

Нет сомнения, что явление, подобное Тютчеву, должно казаться аномалией, но такими аномалиями полна история нашего русского общественного роста. На французском языке пришлось и Хомякову высказать свои заветнейшие убеждения о православии — это драгоценнейшее творение русской мысли, русского верующего духа; на французском языке выражает и Тютчев русское историческое самосознание... Читая его, зная все обстоятельства его жизни, только дивишься силе, упругости русского

чувства и русского гения и еще более веришь в великое мировое предназначение России.

Обратимся теперь к Тютчеву — как стихотворцу и как публицисту.

IV

Тютчев принадлежал, бесспорно, к так называемой пушкинской плеяде поэтов. Не потому только, что он был им всем почти сверстником по летам, но особенно потому, что на его стихах лежит тот же исторический признак, которым отличается и определяется поэзия этой эпохи. Он родился, как мы уже сказали, в 1803 году, следовательно, в один год с поэтом Языковым, за несколько месяцев до Хомякова, за два года до Веневитинова, пять лет спустя после Дельвига, четыре года после Пушкина, три после Баратынского, — одним словом, в той замечательной на Руси полосе времени, которая была так обильна поэтами. Нельзя же, конечно, полагать, что такой период поэтического творчества настал совершенно случайно. Мы со своей стороны видим в нем необходимую историческую ступень в прогрессивном ходе русского просвещения. Известно, что вообще в истории человеческих обществ художественное откровение предвещает медленный рост сознательной мысли; творческая деятельность искусств, требуя еще не раздробленной цельности духа, предшествует аналитической работе ума. Нечто подобное видим мы и в поэзии, и особенно у нас, — разумея здесь поэзию не как психическое начало, нераздельное с человеческой душой, и не как поэзию на степени народной песни, а как особый, высший вид искусства — искусство в слове, выражающееся в мерной речи или стихотворной форме. По особым условиям нашей исторической судьбы за последние полтора века на долю литературной поэзии, при слабом воздействии у нас науки, досталось высокое призвание быть почти единственной воспитательницей русского общества в течение довольно долгой поры. Сдвинутое реформой Петра с своих исторических духовных основ в водоворот чуждой духовной жизни, русское общество, как и понятно, утратило равновесие духа, «затопилось жить и чувствовать» (по выражению князя Вяземского), не выжидая, пока обучится, и рвалось обогнать тугой, по необходимости, рост своего просвещения. Можно сказать, что пламя поэзии вспыхнуло у нас от самых первых, слабых искр европейского знания, пользуясь готовой чужой стихотворной формой, и что даже первый свет

сознательной деятельности в области науки возжегся нам рукой поэта: ибо поэтическое вдохновение окрылило в Ломоносове труды ученого. Затем ход самостоятельного нашего познания замедляется, но поэтический дух продолжает свою творческую работу в одиноком лице Державина. Однако и после него поэзия была только еще в начале своего поприща; еще не был даже покорен искусству самый его материал — слово. Раздались звуки поэзии Жуковского, Батюшкова и некоторых других, но не они были призваны к тому могучему и плодотворному властительству над умами, которое было суждено русской поэзии. Ей предстояло, силой высших художественных наслаждений, совершить в русском обществе тот духовный подъем, который был еще не под силу нашей школьной несамостоятельной науке, и ускорить процесс нашего народного самосознания. Ей, наконец, выпала историческая задача проявить, в данной стихотворной форме, все разнообразие, всю силу и красоту русского языка, возделав его до гибкости и прозрачности, способной выражать нантончайшие оттенки мысли и чувства. Разработка слова в стихотворной форме имела, несомненно, свою великую важность. В этом отношении труды даже второстепенных, мелких наших стихотворцев не лишены исторического значения и заслуги. Можно возразить, что то же делали и прозаики... Конечно, так, но особенность поэзии и преимущество ее над прозой в том именно и состоят, что ей раскрывается тайна гармонии языка, что только поэзия властна из самых недр его извлечь тот музыкальный элемент (необходимо присущий каждому языку), который досказывает, дополняет внешний смысл выражений, передает неуловимо речью то, что лишь чувствуется и ощущается, и то же в слове, что запах в цветах.

Таким образом, стихотворческой деятельности в России надлежало достигнуть до крайнего своего напряжения, развиться до апогея. Для этого необходимым был высший поэтический гений и целый сонм поэтических дарований. Станным может показаться, почему складывать речь известным размером и замыкать ее созвучиями становится, в данную эпоху, у некоторых лиц неудержимым влечением с самого детства. Ответ на это дает, по аналогии, история всех искусств. Когда, вообще, в духовном организме народа наступает потребность в проявлении какой-либо специальной силы, тогда, для служения ей, неисповедимыми путями порождаются на свет божий люди с одним общим призванием, однако ж со всем разнообразием человеческой личности, с сохранением ее свобо-

ды и всей видимой, внешней случайности бытия. Поэтическому творчеству в новой у нас мерной речи суждено было стать в России на историческую чреду, — и вот, в урочный час, словно таинственной рукой раскидываются по воздуху семена нужного таланта, и падут они, как придется, то на Молчановке в Москве на голову сына гвардии капитан-поручика Пушкина⁶⁴, который уже так и родится с неестественной, по-видимому, склонностью к рифмам, хорям и ямба, то в тамбовском селе Маре на голову какого-нибудь Баратынского, то в брянском захолустье на Тютчева, которого отец и мать никогда и не пробовали услаждать своего слуха звуками русской поэзии.

Очевидно, что в этих, равно и в других, им современных, поэтах стихотворство, бессознательно для них самих, было исполнением не только *их личного*, но и *исторического* призвания эпохи. В самых мелких своих проявлениях оно уже имеет у них вид какого-то священнодействия. Вот почему оно и отличается от поэтической деятельности позднейшего периода совершенно особым характером поэзии, — как самостоятельного явления духа, поэзии бескорыстной, самой для себя, свободной, чистой, не обращенной в средство для достижения посторонней цели, — поэзии, не знающей тенденций. Их стихотворная форма дышит такой свежестью, которой уже нет и быть не может в стихотворениях позднейшей поры; на ней еще лежит недавний след победы, одержанной над материалом слова; слышится торжество и радость художественного обладания. Их поэзия и самое их отношение к ней запечатлены *искренностью*, — такой искренностью, которой лишена поэзия нашего времени: это как бы еще *вера* в искусство, хотя бы и несознанная. Такой период искренности, по нашему крайнему разумению, повториться едва ли может. Вот уже триста пятьдесят лет сряду сотни художников чуть не ежедневно изучают «манеру» Рафаэля; краски усовершенствованы, технические приемы облегчены; но, несмотря на даровитость и горячее усердие этих художников, все их усилия перенять его манеру тщетны и будут тщетны; невозможно им усвоить себе ту искренность, то *простодушие* творчества, которыми веет от созданий Рафаэля, подобно тому, как невозможно человеку XIX века стать человеком XVI... Это не значит, чтоб мы отвергли всякую будущность для искусства. Бесконечное развитие человеческого духа может явить еще новые, неизвестные его стороны; может возникнуть новое, высшее единство духа, обретется новая цельность, аналитический

процесс мысли разрешится, быть может, в синтезе; наконец, новые народы принесут с собой новые виды художеств. Всего этого мы, конечно, не отрицаем; но мы разумеем здесь известное *историческое* проявление искусства, и никто не станет спорить, что, например, греческое искусство, оставаясь, по своему значению, бессмертным мировым двигателем в истории человеческого просвещения, тем не менее отжило свой век, как отжила его и сама Эллада. Но возвратимся к судьбе русской поэзии.

Стихотворная форма, сделавшись впоследствии общим достоянием, явилась и богаче и разнообразнее в техническом отношении. Можно привести тысячи новейших стихов несравненно сильнее и звучнее, например, стихов «Евгения Онегина»; но преимущество прелести, — прелести, неуловимой никаким анализом, независимой от содержания, — вечно пребудет за любимыми стихами Пушкина и других некоторых поэтов этого поэтического периода: от них никогда не отыметса свежесть формы и искренность творчества, как их историческая печать. Пушкин имел полное право сказать в следующих прекрасных стихах, столько осмеянных новейшей петербургской критикой *позитивистской* школы ⁶⁵:

Не для житейского волненья,
Не для корысти, не для битв:
Мы рождены для вдохновенья,
Для звуков сладких и молитв.

Эти «сладкие звуки» были нужны, были серьезным, *необходимым, историческим*, а потому в высшей степени полезным делом. Вот чего, в своей близорукости, и не понимает эта критика, неспособная стать на историческую точку зрения, прилагающая к нашим великим поэтам прошлой эпохи мерило злобы нынешнего дня и осуждающая их именно за то, что они были только поэты, художники, а не политические и социальные деятели в духе новейших, быстро меняющихся доктрин и теорий.

На рубеже этого периода искренности нашей поэзии стоит Лермонтов. По непосредственной силе таланта он примыкает ко всему этому блестящему созвездию поэтов, однако же стоит особняком. Его поэзия резко отделяется от них отрицательным характером содержания. Нечто похожее (хотя мы и не думаем их сравнивать) видим мы в Гейне, замкнувшем собой цикл поэтов Германии. От отрицательного направления до тенденциозного, где поэзия обращается в средство и отодвигается на задний план, один только шаг. Едва ли он уже не пройден. На стихот-

ворениях нашего времени уже не лежит, кажется нам, печати этой *исторической необходимости* и искренности, потому что самая историческая миссия стихотворства, как мы думаем, завершилась. Они могут быть, они и действительно более или менее талантливы, но или звучат как отголоски знакомого прошлого, уже лишенные прежнего обаяния, или же преисполнены внешних, чуждых искусству тенденций.

Впрочем, при ненормальном ходе русского общественного развития, в виду того, что наше просвещение далеко не выражает жизни нашего народного духа, что не все струны народной души прозвучали, что самая стихотворная наша форма была и есть заемная, — может быть, для русской поэзии еще настанет период возрождения в новой, неведомой доселе; своеобразной, более народной форме. *Может быть*: это не несомненная надежда, а только гадание.

Стихи Тютчева представляют тот же характер внутренней искренности и необходимости, в котором мы видим исторический признак прежней поэтической эпохи. Вот почему он и должен быть причислен к пушкинскому периоду, хотя, по особенной случайности, его стихи проникли в русскую печать уже тогда, когда почти отзвучали песни Пушкина и прочих наших поэтов, когда время владычества поэзии над умами уже миновало. Десятками лет пережил Тютчев и Пушкина, и весь его поэтический период, но оставался верен себе и своему таланту. Не переставая быть «современнейшим из современников» по своему горячему сочувствию к совершающейся кругом его жизни, он, среди диссонансов новейшей поэзии, продолжал дарить нас гармонией старинного, но никогда не стареющего, поэтического строя. Он был среди нас подобно мастеру какой-либо старой живописной школы, еще живущей и творящей в его лице, но не допускающей ни повторения, ни подражания.

Отметив эту общую историческую черту его поэзии, перейдем теперь к особенностям его таланта.

Стихи Тютчева отличаются такой *непосредственностью творчества*, которая, в равной степени по крайней мере, едва ли встречается у кого-либо из поэтов. Поэзия не была для него сознанный специальностью, своего рода литературным Fach *, как выражаются немцы, общественным, официальным положением или же такой обязанностью, которую и сам поэт невольно признает за собой,

* Специальность, профессия, область занятий (нем.). — Ред.

признают и другие за ним; напротив, до 1836 года, как уже было сказано, никто в нем и не признает поэта, то есть до той поры, как служивший в Мюнхене князь Иван Гагарин, собрав целую тетрадь его стихотворений, привез ее к Пушкину, и Пушкин дал им место в своем «Современнике», хотя и без подписи полного имени Тютчева. С 1840 года его стихи снова перестают появляться в печати, и такое воздержание от печатной гласности продолжается четырнадцать лет, в течение которых Тютчев не напечатал ни строчки, хотя и не переставал писать. Но как писать? На вопрос: «Над чем вы теперь работаете?» — он не мог бы отвечать, подобно другим: «Пишу стихи: вчера кончил стихотворение к Аглае, сегодня доделаю Огнедышащую гору; имею намерение обработать в стихах такой-то сюжет». Он был поэт по призванию, которое было могущественнее его самого, но не по *профессии*. Он священнодействовал, как поэт, но не замечая, не сознавая сам своего священнодействия, не облакаясь в жреческую хламиду, не исполняясь некоторого благоговения к себе и своему жречеству. Его ум и его сердце были, по-видимому, постоянно заняты: ум витал в области отвлеченных, философских или исторических помыслов; сердце искало живых ощущений и тревожений; но прежде всего и во всем он был поэт, хотя собственно стихов он оставил по себе сравнительно и не очень много. Стихи у него не были плодом *труда*, хотя бы и вдохновенного, но все же труда, подчас даже усидчивого у иных поэтов. Когда он их писал, то писал невольно, удовлетворяя настоятельной, неотвязчивой потребности, потому что он не мог их не написать: вернее сказать, он их не писал, а только *записывал*. Они не *сочинялись*, а *творились*. Они сами собой складывались в его голове, и он только *ронял* их на бумагу, на первый попавшийся лоскуток. Если же некому было припрятать к месту оброненное, подобрать эти лоскутки, то они нередко и пропадали. Эти-то лоскутки и постарался подобрать князь И. Гагарин, когда вздумал показать стихи Тютчева Пушкину; но очень может быть, что многое пропало и истребилось безвозвратно. К Тютчеву именно применяются слова гетевского певца:

Ich singe wie der Vogel singt,
Der in den Zweigen wohnt;

* В русском переводе К. С. Аксакова:
Пою, как птица волен, я,
Что по ветвям летает,
И песнь свободная моя
Богато награждает.

Das Lied, das aus der Kehle dringt,
Ist Lohn, der reichlich lohnet *

В самом деле, в чем же состояла *награда*, Lohn, певца-Тютчева, во время его 22-х летнего пребывания за границей, как не в самой спетой песне, никем, кроме его, не слышимой? Условием всякого преуспевания таланта считается сочувственная среда, живой обмен впечатлений. А Тютчеву четверть века приходилось петь как бы в безвоздушном пространстве. Когда читаешь, например, его стихи, писанные к первой жене и к другим иностранкам, ни слова не знавшим по-русски, да едва ли подозревавшим в нем поэта, невольно спрашиваешь себя: для чего же и для кого он писал? Уже гораздо позднее, в России, когда подросли его дочери и вторая его супруга выучилась по-русски, стали тщательно наблюдать за ним и подбирать лоскутки с его стихами, а иногда и записывать стихи прямо под его диктовку. Так однажды, в осенний дождливый вечер, возвратясь домой на извозчичьих дрожках, почти весь промокший, он сказал встретившей его дочери: «J'ai fait quelques rimes» *, и пока его раздевали, продиктовал ей следующее прелестное стихотворение:

Слезы людские, о слезы людские,
Льетесь вы ранней и поздней порой,
Льетесь безвестные, льетесь незримые,
Неистожимые, неисчислимые,
Льетесь, как льются струи дождевые,
В осень глухую, порою ночной...

Здесь почти нагляден для нас тот истинно-поэтический процесс, которым внешнее ощущение капель частого осеннего дождя, лившего на поэта, пройдя сквозь его душу, претворяется в ощущение слез и облекается в звуки, которые, сколько словами, столько же самой музыкальностью своей, воспроизводят в нас и впечатление дождливой осени, и образ плачущего людского горя... И все это в шести строчках!

Еще более объяснится нам характер его поэтического творчества, когда мы припомним, что этот человек, по его собственному признанию, тверже выражал свою мысль по-французски, нежели по-русски, свои письма и статьи писал исключительно на французском языке и, конечно, на девять десятых более говорил в своей жизни по-французски, чем по-русски. А между тем стихи у Тютчева

* Я сочинил несколько стихов (франц.). — Ред.

творились *только по-русски*⁶⁶. Значит, из глубочайшей глубины его духа была ключом у него поэзия, из глубины, недостижимой даже для его собственной воли; из тех тайников, где живет наша первообразная природная стихия, где обитает самая правда человека... Здесь кстати привести то, что сам Тютчев высказал уже в 1861 году, в стихах на юбилей князя Вяземского, по поводу «музы» этого замечательного в своем роде поэта:

Давайте ж, князь, поднимем в честь богини
Ваш полный пенный фнал,
Богине в честь, хранившей благородно
Залог всего что свято для души,
Родную речь...

Тютчев мог еще с большим основанием обратиться к своему воззванию к своей собственной музе.

Само собой разумеется, что при подобном процессе творчества Тютчев не способен был ничего творить в обширном размере. Поэтому самые лучшие его стихотворения — короткие; они цельны, словно отлиты из одного куска чистого золота. В его таланте, как уже и замечено было нашими критиками, нет никаких эпических или драматических начал. Его поэзия, как выразились бы немецкие эстетики, вполне *субъективна*; ее повод — всегда в личном ощущении, впечатлении и мысли; она не способна отрешаться от личности поэта и гостить в области вымысла, в мире внешнем, отвлеченном, чуждом его личной жизни. Он ничего не выдумывал, а только *выражался*. Он не был тем *maestro*, тем художником-хозяином в поэзии, каким, например, является Пушкин, этот полновластный распорядитель звуков и форм, разнообразно направлявший силы своего гения по указанию своей свободной поэтической воли, умевший творить не одним мгновенным наитием вдохновения, но и медленным вдохновенным трудом. Да и у всех поэтов, рядом с непосредственным творчеством, слышится *делание*, обработка. У Тютчева деланного нет ничего: все творится. Оттого нередко в его стихах видна какая-то внешняя небрежность: попадают слова устарелые, вышедшие из употребления, встречаются неправильные рифмы, которые, при малейшей наружной отделке, легко могли бы быть заменены другими.

Этим определяется и отчасти ограничивается его значение как поэта. Но это же придает его поэзии какую-то особенную прелесть задушевности и личной искренности. Хомяков — сам лирический стихотворец — говорил и, по нашему мнению, справедливо, что не знает других стихов,

кроме тютчевских, которые бы служили лучшим образом *чистейшей* поэзии, которые бы в такой мере, насквозь, *durch und durch*, были проникнуты поэзией*.

Мы разумеем здесь, конечно, лучшие произведения Тютчева, те, которыми характеризуется его стихотворчество, а не те, которые, уже в позднейшее время, он иногда заставлял писать себя на известные случаи вследствие обращенных к нему требований и ожиданий. Замечательно, что в стихотворениях его самой ранней молодости нет почти вовсе той свободы творчества, которой мы так любуемся в его поэзии. Это особенно видно в тех пьесах, которые, хотя и были напечатаны в двадцатых годах, однако же не включены в полное собрание его стихотворений. В них встречаются условные приемы, обороты и выражения тогдашней псевдоклассической школы, например:

И мне ль, друзья, сей гимн вселый
Мне ль петь на лире онемелой? и т. д —

одним словом — что-то тяжелое, принужденное, совершенно чуждое позднейшим свойствам его поэзии. Вероятно, Тютчев еще находился тогда под некоторым влиянием или подражал приемам своих недавних учителей, Раича и Мерзлякова. Но через несколько лет по переезде за границу он как будто стряхнул с себя путы русской эстетики того времени и сбросил навязанное ему звание «певца». Он перестает сочинять и печатать, отказывается от притязаний на авторство, но тут-то и является, внезапно, поэтом: его творчество обрело свободу, он стал самим собою.

Стихи Тютчева не выдаются особенно бойкостью, наружной красотью, силой и звучностью; но взамен этих качеств они отличаются совершенно своеобразной фактурой; их мелодичность не похожа на музыкальный строй, если не одинаковый, то довольно общий у прочих наших

* Вот, между прочим, что писал Хомяков из Москвы в Петербург, Александру Николаевичу Понову, в 1850 году: «Видите ли Ф. И. Тютчева? Разумеется, видите. Скажите ему мой поклон и досаду многих за его стихи. Все в восторге от них и в негодовании на него. Не стыдно ли молчать, когда бог дал такой голос? Если он вздумает оправдываться и ссылаться, пожалуй, на меня, скажите ему, что это не дело. Без притворного смирения, я знаю про себя, что мои стихи, когда хороши, держатся мыслью, т. е. прозаиком везде проглядывает и, следовательно, должен наконец задушить стихотворца. Он же насквозь поэт (*durch und durch*), у него не может иссякнуть источник поэтический. В нем, как в Пушкине, как в Языкове, натура античная в отношении к искусству...

поэтов. Что особенно пленяет в поэзии Тютчева, это ее необыкновенная грация, не только внешняя, но еще более внутренняя. Все жесткое, резкое и яркое чуждо его стихам; на всем художественная мера; все извне и изнутри, так сказать, обвеяно изяществом. Самое вещество слова как бы теряет свою вещественность, которой именно так любят играть и щеголять некоторые поэты, которая составляет своего рода специальную красоту в стихах, например, Языкова. Вещество слова у Тютчева как-то одухотворяется, становится прозрачным. Мыслью и чувством трепещет вся его поэзия. Его музыкальность не в одном внешнем гармоническом сочетании звуков и рифм, но еще более в гармоническом соответствии формы и содержания.

Почти все стихотворения Тютчева равно грациозны и музыкальны, но приведем теперь для примера хоть некоторые из них, где это свойство его поэзии, при относительной незначительности содержания, выступает, так сказать, на первый план.

Вот, например, одно из самых молодых стихотворений, уже упомянутое нами, написанное, может быть, лет 45 тому назад и внушенное ему 16-летней красавицей за границей:

Я помню время золотое,
Я помню сердцу милый край,
День вечерел, мы были двое;
Внизу, в тени, шумел Дунай.

И на холму, там, где белся
Руина замка вдаль глядит,
Стояла ты, младая фея,
На мшистый опершись гранит,

Ногой младенческой касаясь
Обломков груды вековой...
И солнце медлило, прощаясь
С холмом, и с замком, и с тобой.

Ты беззаботно вдаль глядела.
Край неба дымно гас в лучах.
День догорал; звучнее псла
Река в померкших берегах.

И ты с веселостью беспечной
Счастливым провожала день,
И сладко жизни быстротечной
Над нами пролетала тень.

Как грациозна эта картина летнего вечера и молодой девушки у развалин старого замка, озаренной догорающими лучами солнца, — какая мягкость тонов и нежность

колорита! С трудом верится, что это стихотворение, — написанное, если не ошибаемся, в ранней молодости, — принадлежит поэту, который еще незадолго перед тем, под влиянием образцов так называемой русской классической поэзии, считал себя обязанным петь в важном и напыщенном тоне и добровольно сковывал свое творчество, пока не махнул рукой на «сочинительство», на печать и на всякую авторскую славу. А вот другое, из позднейшей поры, написанное уже в шестидесятых годах; вот в каком легком и изящном образе выражено им нравственное изнеможение:

О, этот Юг, о, эта Ницца,
О, как их блеск меня тревожит!
Мысль, как подстреленная птица,
Подняться хочет и не может;
Нет ни полета, ни размаху,
Висят подломанные крылья,
И вся дрожит, прижавшись к праху,
В сознании грустного бессилья...

Впрочем, трудно выбрать стихотворение, которое служило бы примером только одной грациозности. Это свойство его поэзии неразлучно с каждым проявлением его поэтического творчества, как увидит далее и сам читатель.

Но где Тютчев является совершенным мастером, мало имеющим себе подобных, это в изображении картин природы. Нет, конечно, *сюжета* более избитого стихотворцами всего мира. К счастью, сам сюжет, то есть сама природа, от этого нисколько не опошливается, и ее действие на дух человеческий не менее неотразимо. Сколько бы тысяч писателей ни пыталось передать нам ее язык, — всегда и вечно он будет звучать свежо и ново, как только душа поэта станет в прямое общение с душой природы. Оттого и картины Тютчева исполнены такой же бессмертной красоты, как бессмертна красота самой природы. Вообще, верность изображения не только того, что зовется «природой», но и всякого предмета, явления и даже ощущения заключается вовсе не в обилии подробностей, вовсе не в *аккуратной* передаче всякой, даже самой мелкой черты, вовсе не в той фотографической точности, которой так хвалятся *художники-реалисты* позднейшего времени. Многие из наших новейших писателей любят кокетничать наблюдательностью и, думая изобразить чью-либо физиономию, перечисляют углы и изгибы рта, губ, носа, чуть не каждую бородавку на лице; если же рисуют быт, то с неумолимой отчетливостью передают каждую нич-

тожную частность, иногда совершенно случайную, зыбкую, вовсе не типичную... Они только утомляют читателя и нисколько не уловляют внутренней правды. Истинный художник, напротив того, изо всех подробностей выберет одну, но самую характерную; его взор тотчас угадывает черты, которыми определяется весь внешний и внутренний смысл предмета и определяется так полно, что остальные черты и подробности сами уже собой досказываются в воображении читателя. Воспринимая впечатление от наружности ли человеческой, от иных ли внешних явлений, мы прежде всего воспринимаем это впечатление непосредственно, еще без анализа, еще не успевая, да иногда и не задаваясь трудом изучить и разобрать все соотношения линий и всю игру мускулов в физиономии или же все формы и движения частей, составляющих, например, картину природы. Следовательно, художественная задача — не в том, чтоб сделать рабский снимок с натуры (что даже и невозможно), а *в воспроизведении того же именно впечатления*, какое произвела бы на нас сама живая натура. Это умение передавать несколькими чертами всю целостность впечатления, всю реальность образа требует художественного таланта высшей пробы и принадлежит Тютчеву вполне, особенно в изображениях природы. Кроме Пушкина, мы даже не можем и указать кого-либо из прочих наших поэтов, который бы владел этой способностью *в равной мере* с Тютчевым. Описания природы у Жуковского, Баратынского, Хомякова, Языкова иногда прекрасны, звучны и даже верны, — но это именно *описание*, а не *воспроизведение*. У некоторых, впрочем, позднейших поэтов, у Фета и у Полонского, местами попадаются истинно художественные черты в картинах природы, но только местами. Вообще же, в своих описаниях, большая часть стихотворцев ходит *возле* да *около*; редко-редко удается им схватить самый существенный признак явлений. Приведем в доказательство следующее стихотворение Тютчева:

Есть в осени первоначальной
Короткая, но дивная пора:
Весь день стоит как бы хрустальный
И лучезарны вечера.

Где бодрый серп ходил и падал колос,
Теперь уж пусто все: простор везде, —
Лишь паутины тонкий волос
Блестит на праздной борозде.

Пустеет воздух, птиц не слышно боле,
Но далеко еще до первых зимних бурь,

И льется чистая и тихая лазурь
На отдыхающее поле.

Здесь нельзя уже ничего прибавить; всякая новая черта была бы излишня. Достаточно одного этого «тонкого волоса паутины», чтоб одним этим признаком воскресить в памяти читателя былое ощущение подобных осенних дней во всей его полноте.

Или вот это стихотворение, — другая сторона осени:

Есть в светлости осенних вечеров
Умильная, таинственная прелесть:
Зловещий блеск и пестрота дерев,
Багряных листьев томный, легкий шелест,
Туманная и тихая лазурь
Над грустно-сиротеющей землею,
И как предчувствие осенних бурь,
Порывистый, холодный восток порою.
Ущерб, изнеможенье, и на всем
Та кроткая улыбка увяданья,
Что в существе разумном мы зовем
Возвышенной стыдливостью страданья...

Не говоря уже о прекрасном грациозном образе «стыдливового страданья», — образе, в который претворилось у Тютчева ощущение осеннего вечера, самый этот вечер воспроизведен такими точными, хоть и немногими чертами, что будто сам ощущаешь и переживаешь всю его жуткую прелесть.

Этот мотив повторен Тютчевым и в другой пьесе, но образ осени умильнее, нежнее и сочувственнее:

Обвевая вещью дремотой,
Полураздетый лес грустит;
Из летних листьев разве сотый,
Блестя осенней позолотой,
Еще на ветке шелестит.

Гляжу с участием умиленным,
Когда, пробившись из-за туч,
Вдруг по деревьям испещренным
Молниевидный брызнет луч...

Как увядающее мило,
Какая прелесть в нем для нас,
Когда что так цвело и жило,
Теперь так немощно и хило
В последний улыбнется раз.

Нам особенно нравятся первые пять стихов, нравятся именно своей простотою («из летних листьев разве сотый») и правдою.

Такая же истина и в этой картине осени:

· · · · ·
Так иногда осеннею порой,
Когда поля уж пусты, рощи голы,
Бледнее небо, пасмурнее доли, —
Вдруг ветер подует, теплый и сырой,
Онавший лист погонит пред собою,
И душу вам обдаст как бы весною...

Именно *теплый* и *сырой* ветер. Это именно то, что *нужно*. Кажется, какие незатейливые слова, но в этом-то и достоинство, в этом-то и прелесть: они просты, как сама правда.

Здесь кстати заметить, что точность и меткость качественных выражений или эпитетов — важное, необходимое условие художественной красоты в поэзии. Пушкин, как истинный художник, выше всего ценил эту точность и не успокаивался, пока не найдет выражения самого соответственного, и потому самого простого. В этом отношении нет ему равных. В письмах Пушкина к князю Вяземскому (в «Русском архиве» 1874 года) есть его разбор стихотворения князя «Водопад». Этот разбор может служить образцом художнической требовательности Пушкина. На вопрос: что думает он о «Думах» и поэмах, вообще обо всем множестве стихов Рылеева, Пушкин, еще в начале двадцатых годов, отвечает только: «Там есть у него палач с *засученными руками*, за которого я бы дорого дал». Ему понравилась меткость этой характеристичной подробности и живописная простота выражения. Уменье уловить самую существенную черту явления или предмета, — о чем мы говорили выше, — тесно связывается, конечно, с уменьем выбрать, из массы качественных слов в языке, самое определительное, бьющее прямо в цель, сразу овладевающее предметом, захватывающее его живьем. Чем эпитеты точнее, тем они проще. Казалось бы, это и не так трудно, — а между тем для этого потребна и особенная художественная зоркость, и особенная чуткость в отношении к языку. Кроме Пушкина, — как мы уже сказали, — только поэзия Тютчева и отчасти Лермонтова обладает этим даром точных эпитетов в высокой степени; у других наших поэтов он замечается лишь местами, довольно редко. Их эпитеты более описательного, чем определительного свойства; или слишком фигурны, вычурны и нарядны, или же являются каким-то внешним щегольством языка, радующим самого автора, а не простой, необходимой, спокойной принадлежностью самого пред-

мета*. К тому же у Тютчева эта меткость качественных определений простирается не на одни предметы внешнего мира, как и увидим ниже.

Вот еще несколько примеров изображения природы у Тютчева; мы поставили курсивом те именно выражения, которые нам кажутся художественно-точными и простыми:

Полдень

Лениво дышит полдень *мглистый*,
Лениво катится река,
И в тверди пламенной и чистой
Лениво тают облака.
И всю природу, как туман,
Дремота жаркая объемлет,
И сам течерь великий Пан
В чертоге нимф спокойно дремлет.

Здесь это одно «лениво тают» сто́ит всякого длинного подробного описания.

Или вот это выражение:

Не остывшая от зисю
Ночь июльская блистала...

Один из критиков поэзии Тютчева, поэт Некрасов, в статье, напечатанной еще в 1850 году⁶⁹ любуясь простой и краткостью следующего стихотворения, сравнивает его с однородным стихотворением Лермонтова. Вот стихи Тютчева:

Песок сыпучий по колени;
Мы едем; поздно; меркнет день,
И сосен по дороге тени
Уже в одну слилися тень.

Черней и чаще лес глубокий...
Какие грустные места!
Ночь хмурая, как зверь стоокий,
Глядит из каждого куста.

У Лермонтова:

И миллионом темных глаз
Смотрела ночи темнота
Сквозь ветви каждого куста.

* О тех же стихотворцах, которые ради точности прибегают чуть не к технической терминологии (например, Бенедиктов в описании Кавказских гор), мы не считаем здесь нужным и упоминать.

«Кто не согласится, — говорит г. Некрасов, и мы с ним совершенно согласны, — что эти похожие строки Лермонтова значительно теряют в своей оригинальности и выразительности».

Вот картина летней бури:

Как весел грохот летних бурь,
Когда взмывая прах летучий,
Гроза нахлынувшая тучей
Смутит небесную лазурь,
И опрометчиво-безумно
Вдруг на дубраву набешит,
И вся дубрава задрожит
Широколиственно и шумно.

И сквозь внезапную тревогу
Немолчно слышен птичий свист,
И кой-где первый желтый лист,
Крутясь, слетает на дорогу.

Ради простоты и точности очертаний приведем еще два отрывка:

Дорога из Кенигсберга в Петербург

Родной ландшафт под дымчатым навесом
Огромной тучи снеговой;
Синест даль с ее угрюмым лесом,
Окутанным осенней мглой.
Все голо так, и пусто, необъятно
В однообразии немом;
Местами лишь просвечивают пятна
Стоячих вод, покрытых первым льдом...
Ни звуков здесь, ни красок, ни движенья,
Жизнь отошла, и, покорясь судьбе,
В каком-то забытьи изнеможенья,
Здесь человек лишь снится сам себе...

Здесь не только внешняя верность образа, но и вся полнота внутреннего ощущения.

Радуга

Как неожиданно и ярко
По влажной неба синеве
Воздушная воздвиглась арка
В своем минутном торжестве.
Один конец в леса вонзила,
Другим за облака ушла;
Она полнота обхватила
И в высоте изнемогла...

Изнемогла! Выражение не только глубоко верное, но и смелое. Едва ли не впервые употреблено оно в нашей

литературе в таком именно смысле. А между тем нельзя лучше выразить этот внешний процесс постепенного таяния, ослабления, исчезновения радуги. Еще г. Тургенев заметил, что «язык Тютчева часто поражает смелостью и красотой своих оборотов». Нам кажется, что, независимо от таланта, эта смелость может быть объяснена отчасти и обстоятельствами его личной жизни. Русская речь служила Тютчеву, как мы уже упомянули, только для стихов, никогда для прозы, редко для разговоров, так что самый материал искусства — русский язык — сохранился для него в более целостном виде, не искаженном через частое употребление. Многие, что могло бы другим показаться смелым, ему самому казалось только простым и естественным. Конечно, от такого отношения к русской речи случались подчас синтаксические неправильности, вставлялись выражения, уже успешные выйти из употребления; но зато иногда, силой именно поэтической чуткости, добывал он из затаенной в нем сокровищницы родного языка совершенно новый, неожиданный, но вполне удачный и верный оборот или же открывал в слове новый, еще не подмеченный оттенок смысла.

Трудно расстаться с картинами природы в поэзии Тютчева, не выписав еще несколько примеров. Вот его «Весенние воды», — но сначала для сравнения приведем «Весну» Баратынского, в которой встречаются стихи очень схожие. Баратынский:

Весна, весна! Как воздух чист,
Как ясен небосклон;
Своей лазурию живой
Слепит мне очи он.

Весна, весна! как высоко
На крыльях вестерка,
Ласкаясь к солнечным лучам,
Летают облака.

Шумят ручьи! блестят ручьи!
Взревев, река несет
На торжествующем хребте
Поднятый сю лед!

Под солнце самое взвился
И в яркой вышине
Незримый жавронок пост
Заздравный гимн весне.

Что с нею, что с моей душой?
С ручьем опа ручей,
И с птичкой птичка! С ним журчит,
Летает в небе с ней.

Далее следуют еще две строфы совершенно отвлеченного содержания — о душе, и стихи довольно тяжелые.

Тютчев:

Еще в полях белсет снег,
А воды уж весной шумят,
Бегут и будят сонный брег,
Бегут и блещут и гласят, —

Они гласят во все концы:
«Весна идет! Весна идет!
Мы молодой весны гонцы,
Она нас выслала вперед!»

Весна идет, весна идет!
И тихих, теплых майских дней
Румяный, светлый хоровод
Толпится весело за ней...

Эти стихи так и обдают чувством весны, молодым, добрым, веселым. Они и короче, и живее стихов Баратынского*. Вот отрывок из другого стихотворения, которое можно бы назвать: «Пред грозю».

В душном воздухе молчанье,
Как предчувствие грозы;
Жарче роз благоуханье,
Звонче голос стрекозы.

Чу! за белой душей тучей
Прокатился глухо гром,
Небо молнией летучей
Опясалось кругом.

Жизни некий прензбыток
В знойном воздухе разлит,
Как божественный напиток
В жилах млеет и дрожит!..

Заклучим этот отдел поэзии Тютчева одним из самых молодых его стихотворений: «Весенняя гроза».

Люблю грозу в начале мая,
Когда весенний, первый гром,
Как бы резвяся и играя,
Грохочет в небе голубом.

* Г. Некрасов в своей статье («Современник», 1850 года) приводит для сравнения с этим стихотворением Тютчева «Весну» г. Фета:

Уж верба вся пушистая и проч., —

и приводит именно с тем, чтоб показать степень различия в мастерстве изображения. У г. Фета указывает он много прекрасных стихов, но рядом с ними, как и у Баратынского, много фигурного, отвлеченного или ненужного рассуждения. Вообще стихотворение очень длинно.

Гремят раскаты молодые,
Вот дождик брызнул, пыль летит:
Повисли перлы дождевыс,
И солнце нити золотит.

С горы бежит поток проворный,
В лесу не молкнет птичий гам,
И гам лесной, и шум нагорный,
Все вторит весело громам.

Ты скажешь: ветреная Геба,
Кормя Зевсова орла,
Громокипящий кубок с неба,
Смесь, на землю пролила.

Так и видится молодая, смеющаяся вверху Геба, а кругом влажный блеск, веселье природы и вся эта майская грозовая потеха. Это стихотворение было напечатано в «Галатее» еще в 1829 году, но такова странная судьба поэзии Тютчева, что оно не обратило тогда на себя ни малейшего внимания.

В ответных своих стихах к известному нашему поэту, г. Фету, Тютчев говорит:

Иным достался от природы
Инстинкт пророчески слепой:
Они им чувят, слышат воды
И в темной глубине земной...

Великой матерью любимый,
Стократ завидней твой удел:
Не раз под оболочкой зримой
Ты самое се узрел.

Этот последний стих справедливее отнести к самому Тютчеву; про него именно можно сказать, что ему было дано не раз видеть природу не во внешней только оболочке, но её самоё, обнаженной, без покровов.

Если бы — предположим — кто-нибудь, умеющий живо и тонко чувствовать художественные красоты в поэзии, стал читать в первый раз творения, — конечно, не Пушкина и даже не Лермонтова, а прочих наших поэтов, даже не зная их имен, — он, без сомнения, усладился бы вполне «пленительной сладостью» Жуковского; он хоть на миг, может быть, воспламенился бы духом к высоким нравственным подвигам благодаря мужественному лиризму стихов Хомякова; ему бы доставили, конечно, утеху бодрые, звучные песни Языкова, где столько праздника, столько молодости, шири и удали; его душу проняла бы, вероятно, и страждущая тоска поэтических дум Баратын-

ского; он нашел бы себе отраду и во многих других наших поэтах... Но если бы он, перелистывая эту сотню-другую тысяч стихов, вдруг случайно попал на любое из вышеприведенных стихотворений, вроде «Осени первоначальной» с ее «тонким волосом паутины», или «Весенних вод», или хоть «Радуги, *изнемогшей* в небе», — он невольно бы остановился; он по одному этому выражению, по одной этой мелкой, по-видимому, черте опознал бы тотчас настоящего *художника* и сказал бы вместе с Хомяковым: «Чистейшая поэзия — вот где». Такого рода художественной красоты, простоты и правды нельзя достигнуть ни умом, ни восторженностью духа, ни опытом, ни искусством: здесь уже явное, так сказать, голое поэтическое откровение, непосредственное творчество таланта.

Обратимся теперь к другой особенности стихотворений Тютчева: мы разумеем самое содержание поэзии, внутренний поэтической строй. Но здесь нам придется сделать небольшое отступление.

Воспитание почти всех наших поэтов, особенно поэтов пушкинской плеяды, к несчастью, характеризуется совершенно верно собственными стихами Пушкина:

Мы все учились понемногу,
Чему-нибудь и как-нибудь.

Все они (кроме Хомякова, конечно, который совершенно выделяется из этого сонма поэтов), при поверхностном образовании, возросли под сильным умственным и нравственным воздействием французской литературы и философии XVIII века. Но ошибочно было бы думать, что эта философия в самом деле породила у нас философов и вообще серьезных мыслителей; господствовала не сама философия, как свободно пытливая работа ума, а просто quasi-философское «вольномыслие», в самом обиходном и пошлом смысле этого слова; не философия как наука, а ее так называемый *дух*, то есть самое легкомысленное отрицание религиозных верований и идеалов, самое ветреное обращение с важнейшими вопросами жизни, упразднение не только строгости, но даже всякой серьезности в сфере нравственных отношений и понятий. Конечно, уже тогда начинало группироваться небольшое число очень молодых людей (например, Кирсевские и другие) ⁷⁰ с иными запросами духа, с потребностью основательного знания; но их значение сказалось гораздо позднее. Мы уже отчасти характеризовали выше эпоху двадцатых годов, но почти не коснулись стороны общественного воспи-

тания. Мы и теперь не намерены рассматривать ее подробно, — тем более что школа, через которую первоначально проходили наши поэты пушкинского периода, относится не к двадцатым годам, а к началу и первым двум десяткам лет нашего столетия. Но так как многие черты у обеих эпох одинаковы, то читателю нетрудно представить себе, какова была эта школа, если он постарается припомнить все рассказанное нами выше о времени отъезда Тютчева за границу. Считаем нужным только добавить, что хотя французское влияние вторглось к нам еще при Екатерине, во второй половине ее царствования, однако же на литературе, равно и на умственном движении ее времени лежит печать все-таки большей серьезности и важности, чем в позднейшую пору; люди екатерининских времен были грубее, но крепче, строже, ближе к русской народности; самый их разврат был крупен, но довольно односторонен и внешен, — менее легкомыслен, менее растлевающего свойства. С царствованием Александра I начинается более полное отчуждение от народа и более полное господство иностранной моды — и уже не в нарядах только, но в мыслях и воззрениях. Все становится изящнее, деликатнее, галантерейнее и как-то пошлее, если позволено будет так выразиться. Печать оригинальности на произведениях умственного творчества исчезает. События 12 года встрясли несколько общественный дух, но и после 12 года, и гораздо позднее состояние мысли философско-отвлеченной, направление литературное и эстетические воззрения представляются в виде истинно-жалком. Еще в 1819 году можно было в торжественных речах на торжественных литературных собраниях, из уст ученых авторитетов, слышать такие рассуждения: «Почтенные мужи! Пусть на цветущем поле нашей словесности резвятся, в разнovidных группах, Амуры, Зефиры и *Фавны*... Птичка, свивающая гнездо на ближнем дереве, научила человека строить скромные сени из ветвей, она же научила его радоваться и воспевать свою радость. Отсюда происхождение — Музыки и Поэзии»*. Правда, в то время уже началась реакция, и «господин Боало, честный Лафонтен, гений Корнеля и Сиды, сии вечные образцы искусства»**, как выражались еще тогда с кафедры ученые наши авторитеты, одним словом, вся эта псевдоклассическая теория поэзии не тяготела более над умами наших

* См. «Труды Общества Любителей Российской Словесности», 1819 г. Речь на торжественном публичном заседании Мерзлякова.

** Там же, статья одного из членов.

юных поэтов, которые все были пылкими приверженцами так называемой «романтической школы». Но взамен господина Боало с компанией образцами для молодых певцов служили все же французские писатели: отчасти только Шенье, но предпочтительно Парни⁷¹, пресловутый Парни, и другие представители эротической поэзии. Впоследствии Парни уступил было место Байрону, но Байрон был понят только с внешней своей стороны; да и мудрено было этому своеобразному историческому продукту английской нравственной, общественной почвы акклиматизироваться на русской. Нельзя не скорбеть душой при мысли, какова была та духовно-нравственная атмосфера, в которой приходилось распускаться и творить нашим поэтическим дарованиям. Стоит только заглянуть в новейшие биографические труды и исследования о детстве и молодости Пушкина... Можно было бы, кажется, задохнуться в этой гнилой атмосфере, если б ее несколько не освежали своим присутствием: Карамзин — этот «целомудренно-свободный дух», по выражению Тютчева, и Жуковский с «голубиной чистотой» своей поэзии. Какие-то нанесенные ветром обрывки чужих, преимущественно французских доктрин, вкусов и нравов, при недостатке сколько-нибудь строгой науки, при отсутствии воспитательного начала гражданской общественной жизни, при разрыве с своими собственными народными и бытовыми преданиями: ни убеждений твердых, ни крепких нравственных основ — вот чем была, по крайней мере в значительной части, русская общественная среда. Велика заслуга наших поэтов уже в том, что они не только не погибли в этой растлевающей обстановке, но еще умели и сами вознестись над нею, — даровать и обществу силу подъема, и орудие воспитания в художественной красоте своих произведений. Конечно, при этом немало было растрчено даром богатства души, свежести чувства, времени... Нелегко было из «питомцев Эпикура», «певцов пиров и сладострастья» — как они сами себя величали — выбраться целым на путь высшего поэтического творчества: для этого надобно было родиться Пушкиным. Приходится поистине изумляться упругости и мощи этого гения, который — не благодаря, а вопреки всем внешним условиям — успел в короткий срок своего поприща дойти до той художественной трезвости и полноты, какую явил он в позднейших своих творениях. Но то ли еще способен был дать нам этот великий художник, если б его воспитание было иное, если б сама окружающая жизнь могла сообщить его духу иное содержание? Как бы то ни было, но что вообще неприятно пора-

жает в поэтах этой плеяды, рядом с яркой красотой форм, звуков и образов, особенно в первой половине их поэтической деятельности (у иных во второй) — это не только напускной цинизм и хвастовство разгульной праздностью, не только нравственное легкомыслие, суетность, фривольность (*frivolité*), но некоторая, притом очевидная, скудность образования и бедность мысли, одним словом, пустота содержания.

Судьба Тютчева, как мы уже узнаем, была иная. Благодаря 22-летнему пребыванию в Германии он не испытал влияния ни французского философского материализма, ни русской тлетворной общественной среды. Впрочем, в нем не видать было и немца, а видна была лишь печать глубокой всесторонней образованности и замечательной возделанности ума и вкуса. Та же печать лежит и на его стихотворениях, — чем и выделяются они из произведений других русских поэтов.

Прежде всего, что бросается в глаза в поэзии Тютчева и резко отличает ее от поэзии ее современников в России — это совершенное отсутствие грубого эротического содержания. Она не знает их «разымчивого хмеля», не воспекает ни «цыганок» или «наложниц», ни ночных оргий, ни чувственных восторгов, ни даже нагих женских прелестей; в сравнении с другими поэтами одного с ним цикла, его муза может назваться не только скромной, но как бы стыдливой. И это не потому, чтобы психический элемент — «любовь» — не давал никакого содержания его поэзии. Напротив. Мы уже знаем, какое важное значение в его судьбе, параллельно с жизнью ума и высшими призывами души, должно быть отведено внутренней жизни сердца, — и эта жизнь не могла не отразиться в его стихах. Но она отразилась в них только той стороной, которая одна и имела для него цену, — стороной чувства, всегда искреннего, со всеми своими последствиями: заблуждением, борьбой, скорбью, раскаянием, душевной мукой. Ни тени цинического ликования, нескромного торжества, ветреной радости: что-то глубоко-задушевное, тоскливо-неможное звучит в этом отделе его поэзии. Мы уже довольно говорили об этом выше, очерчивая его личный нравственный образ, и привели несколько его стихов. Чтобы еще точнее определить мотив любви в его поэзии, приведем еще некоторые наиболее характеристические пьесы, хоть в отрывках. Вот, например:

Не верь, не верь поэту, дева;
Его своим ты не зови —

И пуще пламенного гнева
Страшись поэтовой любви.

Его ты сердца не усвоишь
Своей младенческой душой,
Огня палящего не скроешь
Под легкой девственной фатой.

Поэт всемогущ, как стихия,
Не властен лишь в себе самом...
Невольно кудри молодые
Он обожжет своим венцом.

Вотще поносит или хвалит
Поэта суетный народ:
Он не стрелою сердце жалит,
А как пчела его сосет.

Твоей святыни не нарушит
Поэта чистая рука,
Но мимоходом жизнь задушит
Иль унесет за облака.

В другом стихотворении он говорит:

О, как убийственно мы любим,
Как в буйной слепоте страстей
Мы то всего вернее губим,
Что сердцу нашему милей!

Давно ль, гордясь своей победой,
Ты говорил: она моя...
Год не прошел, спроси и сведай,
Что уцелело от нея?..

И что ж от долгого мученья
Как пепл сберечь ей удалось?
Боль, злую боль ожесточенья,
Боль без отрады и без слез!

О, как убийственно мы любим, *и пр.*

Или вот следующее стихотворение:

Любовь, любовь — гласит преданье —
Союз души с душой родной,
Их съединенье, сочетанье,
И роковое их слиянье,
И поединок роковой.
И чем одно из них печнее
В борьбе неравной двух сердец,
Тем неизбежней и вернее,
Любя, страдая, грустно млея,
Оно изнает наконец...

Укажем еще на пьесы: «С какою негою, с какой тоской влюбленной», «Последняя любовь», «Я очи знал, о эти очи», «О не тревожь меня укорой справедливой» и т. д. Если мы вспомним затем следующие стихи, которыми, будто заключительным аккордом, поворачивается весь этот отдел стихотворений «не властного в себе самом» поэта, именно:

Пускай страдальческую грудь
Волнуют страсти роковые;
Душа готова, как Мария,
К ногам Христа навек прильнуть⁹⁹, —

то мы будем иметь полное понятие об этом мотиве его поэзии.

Но самое важное отличие и преимущество Тютчева — это всегда неразлучный с его поэзией элемент мысли. Мыслью, как тончайшим эфиром, обвеяно и проникнуто почти каждое его стихотворение. Большой частью мысль и образ у него нераздельны. Мыслительный процесс этого сильного ума, свободно проникавшего во все глубины знания и философских соображений, в высшей степени замечателен. Он, так сказать, *мыслил образами*. Это доказывается не только его поэзией, но даже его статьями, а также и его изречениями или так называемыми *mots* или *bons mots* *, которыми он прославился в свете едва ли не более, чем стихами. Все эти *mots* были не что иное, как ироническая, тонкая, нередко глубокая мысль, отлившаяся в соответственном художественном образе. Мысль в его стихотворениях вовсе не то, что у Хомякова или у Баратынского. Поэтические произведения Хомякова — это как бы отрывки целой, глубоко обдуманной, исторически-философской или нравственно-богословской системы. Искренность убеждения, возвышенность духовного строя, жар одушевления придают многим его стихотворениям силу увлекательную. Но если мысль его способна восходить до лиризма, все же она, втиснутая в рифмы и размер, в рамки стихотворения, не вмещается в них, перевешивает художественную форму в ущерб себе и ей; художественная форма ее теснит и сама насилуется. Читая его стихи, вы забываете о художнике и имеете в виду высоко нравственного мыслителя и проповедника. Впрочем, это сознавал и сам Хомяков, как мы видели из вышеприведенного его письма к А. Н. Попову о Тютчеве. Что же касается до Баратынского, этого замечательного оригинального таланта, то его стихи бесспорно умны, но, — так нам кажется,

* Остроты (франц.). — Ред.

по крайней мере, — это ум — *остуживающий* поэзию. В нем немало грации, но холодной. Его стихи согреваются только искренностью тоски и разочарования. Пушкин недаром назвал его Гамлетом; у Баратынского чувство всегда мыслит и рассуждает. Там же, где мысль является отдельно как мысль, она, именно по недостатку цельности чувства, по недостатку жара в творческом горниле поэта, редко сплавляется в цельный поэтический образ. Он трудно ладит с внешней художественной формой; мысль иногда торчит сквозь нее голая, и рядом с прекрасными стихами попадают стихи нестерпимо тяжелые и прозаические (например, его «Смерть»). Исключение составляют три-четыре истинно превосходных стихотворения.

У Тютчева, наоборот, поэзия была той психической средой, сквозь которую преломлялись сами собой лучи его мысли и проникали на свет божий уже в виде поэтического представления. У него не то что *мыслящая поэзия*, — а поэтическая мысль; не чувство рассуждающее, мыслящее, — а мысль чувствующая и живая. От этого внешняя художественная форма не является у него надетой на мысль, как перчатка на руку, а срослась с нею, как покров кожи с телом, сотворена вместе и одновременно, одним процессом: это сама плоть мысли. Мы уже отчасти объяснили этот процесс, приводя выше стихотворение «Слезы». Вот еще пример:

Пошли, господь, свою отраду
Тому, кто в летний жар и зной,
Как бедный нищий мимо саду,
Бредет по жаркой мостовой.

Кто смотрит вскользь через ограду
На тень деревьев, злак долин,
На недоступную прохладу
Роскошных, светлых луговин.

Не для него гостеприимной
Деревья сенью разрослись;
Не для него, как облак дымный,
Фонтан на воздухе повис.

Лазурный грот, как из тумана,
Напрасно взор его манит,
И пыль росистая фонтана
Его главы не освежит.

Пошли, господь, свою отраду
Тому, кто жизненной тропой,
Как бедный нищий мимо саду,
Бредет по знойной мостовой.

Здесь мысль стихотворения вся в аналогии этого образа нищего, смотрящего в жаркий летний день сквозь решетку роскошного прохладного сада, — с жизненным жребием людей-тружеников. Но эта аналогия почти не высказана, обозначена слегка, намеком, в двух словах в последней строфе, почти не замечаемых: *жизненной тропой*, а между тем она чувствуется с первого стиха. Образ нищего, вероятно, в самом деле встреченного Тютчевым, мгновенно осенил поэта сочувствием и — мыслью об этом сходстве. Мысль, вместе с чувством, проняла насквозь самый образ нищего, так что поэту достаточно было только воспроизвести в словах один этот внешний образ: он явился уже весь озаренный тем внутренним значением, которое ему дала душа поэта, и творит на читателя то же действие, которое испытал сам автор. Но если мысль здесь только чувствуется, а в некоторых стихотворениях как бы несколько заслоняется выдающеюся художественностью формы и самостоятельной красотой внешнего образа, то можно указать на другие стихотворения, где мысль не теряет своего самостоятельного значения и высказывается и в художественной форме и как мысль. Начнем опять с картин природы:

Святая ночь на небосклон взошла,
И день отрадный, день любезный,
Как золотой ковер она свила,
Ковер, накиннутый над бездной.
И как виденье, внешний мир ушел,
И человек, как сирота бездомный,
Стоит теперь и сумрачен и гол,
Лицом к лицу пред этой бездной темной.
И чудится давно минувшим сном
Теперь ему все светлое живое,
И в чуждом, неразгаданном ночном
Он узнает наследье роковос.

Нельзя лучше передать и осмыслить ощущение, производимое ночной тьмой. Та же мысль выразилась и в другом стихотворении:

На мир таинственный духов,
Над этой бездной безымянной,
Покров наброшен златотканый
Высокой волею богов.
День — сей блистательный покров,
День — земнородных оживленье,
Души болящей исцеленье,
Друг человеков и богов!

Но меркнет день; настала ночь,
Пришла — и с мира рокового
Ткань благодатную покрова
Собрав, отбрасывает прочь.
И бездна нам обнажена
С своими страхами и мглами,
И нет преград меж ей и нами:
Вот отчего нам ночь страшна.

Но нам особенно нравятся следующие стихи:

О чем ты воешь, ветер ночной?
О чем так сестушь безумно?
Что значит странный голос твой,
То глухо-жалобный, то шумной?
Понятным сердцу языком
Твердишь о непонятной муке,
И поешь, и взрываешь в нем
Порой неистовые звуки!

О, страшных песен сих не пой
Про древний хаос, про родимый!
Как жадно мир души ночной
Внимает повести любимой!
Из смертной рвется он груди
И с беспредельным жаждет слиться...
О, бурь уснувших не буди:
Под ними хаос шевелится!

Кажется, прочитав однажды это стихотворение, трудно будет не припомнить его всякой раз, как услышишь завыванье ночного ветра.

Сколько глубокой мысли в его «Весне»!.. Выпишем несколько строф:

Весна — она о вас не знает,
О вас, о горе и о зле.
Бессмертьем взор ее сияет
И ни морщины на челе!
Своим законам лишь послушна,
В условный час слетает к нам
Светла, блаженно-равнодушна,
Как подобает божествам!

.

Не о былом вздыхают розы,
И соловей в тени пост, —
Благоухающие слезы
Не о былом Аврора льет,
И страх кончины неизбежный
Не свет с древа ни листа:
Их жизнь, как океан безбрежный,
Вся в настоящем разлита,
Игра и жертва жизни частной,

Приди ж, отвергни чувств обман
И ринься, бодрый, самовластный,
В сей животворный океан.
Приди — струей его эфирной
Омой страдальческую грудь
И жизни божески-всемирной
Хотя на миг причастен будь!

Приведем еще стихотворение: «Сон на море» — замечательное красотой формы и смелостью образов, которые могли быть созданы фантазией только мыслителя-художника.

И море и буря качали наш челн;
Я сонный был предан всей прихоти волн,
И две беспредельности были во мнe,
И мной своенравно играли оне.
Кругом, как кимвалы, звучали скалы,
И встры свистели, и пели валы.
Я в хаосе звуков летал оглушен,
Над хаосом звуков носился мой сон:
Болезненно-яркий, волшебнo-немой,
Он веял легко над гремящю тьмой.
В лучах огневицы развил он свой мир:
Земля зелснела, свстился эфир,
Сады, лабиринты, чертоги, столпы,
И чудился шорох несметной толпы.
Я много узнал мне неведомых лиц,
Зрел тварей волшебных, таинственных птиц,
По высям творенья я гордо шагал,
И мир подо мною недвижно сиял.
Сквозь слезы, как дикий волшебника вой,
Лишь слышался грохот пучины морской,
И в тихую область видений и снов
Врывалася пена ревущих валов.

Таинственный мир снов часто приковывает к себе мысль поэта. Вот строфы, где самая стихия сна воплощается в образ почти так же неопределенный, как она сама, но сильно охватывающий душу:

Как оксан объемлет шар земной,
Земная жизнь кругом объята снами;
Настанет ночь, и звучными волнами
Стихия бьет о берег свой.

То глас ее: он нудит нас и просит.
Уж в пристани волшебный ожил челн...
Прилив растет и быстро нас уносит
В неизмеримость темных волн.

Небесный свод, горящий славой звездной,
Таинственно глядит из глубины,
И мы плывем — пылающею бездной
Со всех сторон окружены.

Но мы должны остановиться, — выписывать пришлось бы слишком много. Перейдем теперь к стихотворениям, где раскрывается для нас нравственно-философское созерцание поэта. Припомним сказанное нами выше, что его мыслящий дух никогда не отрешался от сознания своей человеческой ограниченности, но всегда отвергал самообожание человеческого я. Вот как это сознание выразилось в следующих двух стихотворениях:

Фонтан

Смотри, как облаком живым
Фонтан сияющий клубится,
Как пламенеет, как дробится
Его на солнце влажный дым.
Лучом поднявшись к небу, он
Коснулся высоты заветной,
И снова пылью огнecветной
Ниспасть на землю осужден.

О, нашей мысли водомет,
О, водомет неистощимый,
Какой закон непостижимый
Тебя стремится, тебя мятет?
Как жадно к небу рвешься ты!
Но длань незримо-роковая,
Твой луч упорный преломляя,
Свергает в брызгах с высоты!

А вот и другое:

Смотри, как на речном просторе,
По склону вновь оживших вод,
Во вссобиъемлющее море
За льдиной льдина вслед плывет.

На солнце ль радужно блистая,
Иль ночью, в поздней темноте,
Но все, неудержимо тая,
Они плывут к одной мете.

Все вместе, малые, большие,
Утратив прежний образ свой,
Все, безразличны, как стихия,
Сольются с бездной роковой.

О, нашей мысли оболщенье,
Ты, человеческое я,
Не таково ль твое значенье,
Не такова ль судьба твоя?

Нельзя не подивиться поэтическому процессу, умеющему воплощать в такие реальные, художественные образы мысль самого отвлеченного свойства.

В приведенных нами сейчас стихотворениях Тютчева, как и во всех, где выражается его внутренняя дума, не слышно торжественных, укрепляющих душу звуков. Напротив, в них слышится ноющая тоска, какая-то скорбная ирония. Но это тоска, хотя и подбитая скорбной иронией, вовсе не походила ни на хандру Евгения Онегина, оставшего, пресыщенного удовольствиями «повесы», как называет его сам Пушкин; ни на байроновское *отрицание* идеалов; ни на *разочарование* человека, обманутого жизнью, как у Баратынского; ни на доходившее до трагизма *безочарование* Лермонтова (по прекрасному выражению Гоголя): поэзия Лермонтова — это тоска души, болюющей от своей неспособности к очарованию, от своей собственной пустоты вследствие безверия и отсутствия идеалов. Напротив, тоска у Тютчева происходила именно от присутствия этих идеалов в его душе — при разладе с ними всей окружающей его действительности и при собственной личной немоши возвыситься до гармонического примирения воли с мыслью и до освещения разума верой: его ирония вызывается сознанием собственного своего и вообще человеческого бессилия, — несостоятельности горделивых попыток человеческого разума... Но от этих стихотворений, все же отрицательного характера, перейдем к тем, где задушевные нравственные убеждения поэта высказываются в положительной форме, где открываются нам его положительные духовные идеалы. Так, в его стихах «На смерть Жуковского» мы видим, как высоко ценит поэт целый гармонический строй верующей души, побеждающий внутреннее раздвоение:

На смерть Жуковского

Я видел вечер твой; он был прекрасен,
Последний раз прощаясь с тобой,
Я любовался им: и тих, и ясен,
И весь насквозь проникнут теплотой.
О, как они и грели, и сияли
Твои, поэт, прощальные лучи!..
А между тем заметно выступали
Уж звезды первые в его ночи.
В нем не было ни лжи, ни раздвоенья;
Он все в себе мирил и совмещал.
С каким радушием благоволенья
Он были мне Омировы читал, —
Цветущие и радужные были
Младенческих, первоначальных лет!
А звезды между тем на них сводили
Таинственный и сумрачный свой свет.
Поистине, как голубь, чист и цел
Он духом был; — хоть мудрости змешной

Не презирал, понять ее умел, —
Но веял в нем дух чисто-голубиный.
И этою духовной чистотою
Он возмужал, окреп и просветлел;
Душа его возвысилась до строя:
Он стройно жил, он стройно пел.

И этот-то души высокий строй,
Создавший жизнь его, проникший лиру,
Как лучший плод, как лучший подвиг свой,
Он завещал взволнованному миру.
Поймет ли мир оценит ли его?
Достойны ль мы священного залога?
Иль не про нас сказало божество:
«Лишь сердцем чистые — те узрят бога?»

Следующее стихотворение есть уже истинный вопль души, разумеющей болезнь и тоску века, — оно в то же время и исповедь самого поэта:

Наш век

Не плоть, а дух растлился в наши дни,
И человек отчаянно тоскует.
Он к свету рвется из ночной тени —
И, свет обретши, ропщет и бунтует.

Безверием палим и иссушен,
Невыносимое он днесь выносит...
И сознает свою погибель он,
И жаждет веры... но о ней не просит.

Не скажет век с молитвой и слезой,
Как ни скорбит пред замкнутою дверью:
«Впусти меня! Я верю, боже мой!
Приди на помощь моему безверью!..»

Вот те *основные* нравственные тоны, которые слышатся у Тютчева сквозь все его философские, исторические, политические и поэтические думы. Они не благоприобретенное размышлением, не нажитое горьким опытом достояние; таясь в глубине его духа, они не только пережили искус долгого заграничного пребывания, но сильнее всего оградили независимость и самостоятельность его мышления в чужеземной среде, поддержали пламя беспредельной любви к России, сохранили духовную связь с родной землей и, как мы уже видели, воспитали в нем способность сочувственного разумения тех высоких нравственных сторон русской народности, которые в самой России постигались и ценились очень немногими. Стихотворения: «На смерть Жуковского» и «Наш век» объясняют нам уже приведенные прежде стихотворения: «Эти бедные селенья», «Тебе они готовят плен», равно и некоторые

другие, — и взаимно объясняются ими. Мы, впрочем, не станем здесь ни выписывать, ни разбирать тех его поэтических произведений, которые посвящены России или выражают его политические убеждения и мечтания. Они отчасти уже нашли себе место в предшествовавшем отделе нашего очерка, где мы именно старались показать читателям рост и силу русской народной стихии в Тютчеве-европейце, — а некоторые будут помещены нами ниже, в пояснение его политических статей⁷². Хотя этих стихотворений довольно много и иные высокого поэтического достоинства, однако же не ими определяется значение Тютчева поэта с точки зрения эстетической критики. Скажем здесь несколько слов только об общем характере этих патриотических и политических стихотворений: в них (за исключением двух-трех) менее всего слышится его внутреннее, духовное раздвоение, его ирония, обращенная на самого себя, его нравственная тоска, а также и тот особенный личный процесс поэтического творчества, который налагает такую оригинальную печать на его поэзию и дает ей такую своеобразную прелесть. Его политическое миросозерцание, его убеждения относительно исторической будущности русского народа были, как мы уже знаем, тверды, цельны — до односторонности, до страстности, а потому только в этом отделе стихотворений и доходит он до торжественных, почти «героических» звуков, столько вообще чуждых его поэзии. Для примера укажем на следующие два стихотворения: «Море и утес» и «Рассвет», которые оба блещут поэтическими красотами, особенно последнее, но красотами несколько иного рода, выделяющими обе пьесы из общего строя его поэтических творений.

Пьеса «Море и утес» написана в 1848 году, после Февральской революции и, очевидно, изображает Россию, ее твердыню, среди разъяренных волн западноевропейских народов, которые, вместе с всеобщим мятежом, были внезапно объаты и неистовою злобою на Россию. Ничто так не раздражало Тютчева, как угрозы и хулы на Русь со стороны иностранцев. Не знаем, обратили ли эти стихи внимание на себя в свое время и были ли поняты в смысле, нами объясненном (в 1848 году Тютчев еще продолжал ничего не печатать); но трудно сомневаться в их настоящем значении, особенно ввиду статьи «Россия и революция»:

И бунтует и клокочет,
Плещет, свищет и ревет,
И до звезд допрыгнуть хочет,

До незыблемых высот!
Ад ли, адская ли сила,
Под клокочущим котлом,
Огнь геенский разложила,
И пучину взворотила,
И поставила вверх дном?

Волн неистовых прибоем
Беспрерывно вал морской
С ревом, свистом, визгом, воем
Бьет в утес береговой...
Но спокойный и надменный,
Дурью волн не обуян,
Неподвижный, неизменный,
Мирозданью современный,
Ты стоишь, наш великан!

И озлобленные боем,
Как на приступ роковой,
Снова волны лезут с воем
На гранит громадный твой.
Но о камень неизменный
Бурный натиск преломив,
Вал отбрызнул сокрушенный,
И клубится мутной пеной
Обессиленный порыв.

Стой же ты, утес могучий,
Обожди лишь час-другой;
Надоест волне гремячей
Воевать с твоей пятой!
Утомясь потехой злою,
Присмирееет вновь она.
И без вою, и без бою,
Под гигантскою пятою
Вновь уляжется волна.

Относительно стремительности, силы, *красивости* стиха и богатства созвучий у Тютчева нет другого подобного стихотворения. Оно превосходно, но не в тютчевском роде. Оно свидетельствует только, что Тютчев мог бы, если бы хотел, щеголять и такими красивыми произведениями; но если бы его книжка стихов ограничивалась только такими пьесами, бесспорно сильными и звучными, то Тютчев как поэт лишился бы оригинальности и не занял бы того особого места, которые создала ему в нашей литературе менее громкая и торжественная его поэзия. Впрочем, даже самый выбор того или другого направления в поэзии был для него невозможен, потому что он не гонялся за успехом, а писал стихи ради удовлетворения внутренней личной потребности почти произвольно; тем не менее самый талант его был способен, как оказывается, к разнообразному стихотворному строю.

Следующее стихотворение «Рассвет» написано 18 лет спустя и, несмотря на свой аллегорический характер, менее выделяется из поэзии Тютчева, чем «Море и утес», — отчего в «Рассвете» и более истинной художественной красоты. Здесь под образом восходящего солнца подразумевается пробуждение Востока, — чего Тютчев именно чаял в 1866 году, по случаю восстания кандитов⁷³; однако образ сам по себе так самостоятельно хорош, что, очевидно, если не перевесил аллегорию в душе поэта, то и не подчинился ей, а вылился свободно и независимо. Тем не менее и это стихотворение отличается от всех прочих произведений Тютчева своим положительно-торжественным внутренним строем:

Молчит сомнительно Восток,
Повсюду чуткое молчанье...
Что это? Сон иль ожиданье,
И близок день или далек?
Чуть-чуть блеснет темя гор,
Еще в тумане лес и доли,
Спят города и дремлют селы,
Но к небу подымите взор.

Смотрите: полоса видна,
И словно скрытой страстью рдея,
Она все ярче, все живее —
Вся разгорается она.
Еще минута — и во всей
Неизмеримости эфирной
Раздастся благовест всемирный
Победных солнечных лучей!

Сведем же все указанные нами черты поэзии Тютчева, характеризующие его как поэта. Он отличается прежде всего особенным процессом поэтического творчества, до такой степени непосредственным и быстрым, что поэтические его творения являются на свет божий, еще не успев остыть, еще сохраняя на себе теплый след рождения, еще трепеща внутренней жизнью души поэта. Оттого эта особенная, как бы не вещественная, как бы не отвердевшая красота наружной формы, насквозь проникнута мыслью и чувством; оттого эта искренность, эта неумышленная, но тем более привлекательная грация. Художественная зоркость и воздержанность в изображениях — особенно природы; пушкинская трезвость, точность и меткость эпитетов и вообще качественных определений; соразмерность внешнего гармонического строя с содержанием стихотворения; постоянная правда чувства и потому постоянная же некая серьезность основного звучащего тона;

во всем и всюду дыхание мысли, глубокой, тонкой, оригинальной, по существу своему нередко отвлеченной, но всегда согретой сердцем и поэтически воплощенной в цельный, соответственный образ; такая же тонкость оттенков и переливов в области нравственных ощущений, — вообще тонкость резьбы, узорчатость чеканки — при совершенной простоте, естественности, свободе и, так сказать, произвольности поэтической работы. На всем печать изящного вкуса, многосторонней образованности, ума, возделанного знанием и размышлением, — легкая, игривая ирония, как улыбка, рядом с важностью дум, — и при всем том что-то скромное, нежное, смиренно-человечное, без малейшего отзвука тщеславия, гордости, жестокости, суетности, щегольства; ничего напоказ, ничего для виду, ничего предвзятого, заданного, деланного, сочиненного. Конечно, содержание его поэзии дается только его личным внутренним миром, не выходит из заветного круга близких, дорогих его сердцу вопросов, интересов, образов и впечатлений; он почти не имеет власти над своим вдохновением, почти не способен искусственно устремлять силы своего таланта по произволу, на предметы, чуждые его душе, — неспособен к художественному продолжительному труду, а потому не создал и не мог создать ни поэмы, ни драмы; он не проповедник, он не учит, он лишь выражает себя самого; его лиризм не укрепит и не вознесет духа... Но его стихи, хотя бы даже устарела их внешняя форма, не перестанут чаровать нестареющей прелестью поэзии и мысли; они плодотворно питают ум, захватывают все струны сердца, будят и просветляют Русское чувство. Они — неиссякаемый источник духовно-изящных наслаждений. В истории русской словесности Тютчев останется всегда одним из самых блестящих и своеобразных проявлений русского поэтического гения; его значение не померкнет.

Заклучим нашу характеристику следующими прекрасными строками из статьи о Тютчеве И. С. Тургенева, напечатанной двадцать лет тому назад, но нисколько не утратившей достоинства современности:

«Талант Тютчева, по самому свойству своему, не обращен к толпе и не от нее ждет отзыва и одобрения; для того, чтобы вполне оценить его, надо самому читателю быть одаренным некоторой тонкостью понимания, некоторой гибкостью мысли, не остававшейся слишком долго праздною. Фиалка своим запахом не разит на двадцать шагов кругом; надо приблизиться к ней, чтоб почувствовать ее благовоние. Мы не предсказываем популярности Тютчеву, но мы предсказываем ему глубокое и теплое со-

чувствие всех тех, кому дорога русская поэзия; а некоторые его стихотворения пройдут из конца в конец всю Россию и переживут многое в современной литературе, что теперь кажется долговечным и пользуется шумным успехом. Тютчев может (мог бы!) сказать себе, что он, по выражению одного поэта, создал речи, которым не суждено умереть, — а для истинного художника выше подобного сознания награды нет».

ОЧЕРК СЕМЕЙНОГО БЫТА АКСАКОВЫХ ⁷⁴

В 1816 году, женившись в Москве на дочери екатеринского генерала, Ольге Семеновне Заплатиной, Сергей Тимофеевич Аксаков, через несколько недель после свадьбы, происходившей 2-го июня в церкви Симеона Столпника на Поварской, поехал, по тогдашнему обычаю, на долгих, вместе с молодой женой в заволжскую вотчину своего отца, Тимофея Степановича. Эта заволжская вотчина хорошо известна всем читателям «Семейной хроники», под названием Нового Багрова. Настоящее же имя ее — село Знаменское или Ново-Аксаково.

Бросив службу в Петербурге, к которой не имел особенного расположения, и будучи еще не отделен от родителей по имению, Сергей Тимофеевич Аксаков поселился с женой в Новом Аксакове, вместе с отцом, матерью Марьей Николаевной (по «Семейной хронике» Софьей Николаевной Багровой), незамужней сестрой Сергея Тимофеевича и меньшим братом Аркадием Тимофеевичем. Там в 1817 году 29-го марта родился у него сын Константин.

Сочинения Сергея Тимофеевича Аксакова составляют почти полную его автобиографию, и кто знаком с ними, тот имеет достаточное понятие о нравственном его характере, о наклонностях и вкусах именно в эту пору его развития. Со своею страстной натурой, он страстно отдался чувству отца и почти буквально заменял для своего сына-первенца няньку. Ребенок засыпал не иначе, как под его баюканье.

Таким образом влияние отца окружило Константина Сергеевича с детства, сопровождало всю жизнь, и едва ли можно себе представить связь более тесную той, которая соединяла отца с сыном. Со своего рождения до самой кончины Сергея Тимофеевича Аксакова в 1859 году Константин Сергеевич расстался со своим отцом только однажды и то всего на четыре месяца. По смерти отца, он буквально зачах и, будучи от природы геркулесовского сложе-

ния, умер чахоткой в 1860 году, декабря 7-го, пережив его только 19-ю месяцами.

И при всем том в натуре Константина Сергеевича Аксакова не было ничего схожего с натурой Сергея Тимофеевича. Он, как говорится, *весь был в мать*. Весь нравственный строй его существа, возвышенность помыслов и стремлений, суровость в отношении к себе, строгость требований, элемент доблести и героизма — все это заложено было в него матерью; все это было в Константине Сергеевиче, как и в его матери, не в виде правила, руководящего в жизни, но составляло в нем и в ней природную стихию. Сергей Тимофеевич любил жизнь, любил наслаждение, он был художник в душе и ко всякому наслаждению относился художественно. Страстный актер, страстный охотник, страстный игрок в карты, он был артистом, во всех своих увлечениях, — и в поле с собакой и ружьем, и за карточным столом. Он был подвержен всем слабостям страстного человека, забывал нередко весь мир в припадке своего увлечения; уже женатый проводил он целые дни за охотой, целые ночи за картами; но зная за собой эти слабости, он был смиренного о себе мнения, был чужд гордости к ближнему, напротив отличался постоянной снисходительностью. Это-то качество и дало ему возможность развить в себе ту теплую объективность, которая составляет такую прелесть «Семейной хроники», которая чуждается всякой экзакерации (преувеличений), резкости, полна любви и благоволения к людям и отводит место каждому явлению, доброму и дурному в человеческой жизни. Радужный и добрый от природы, он обладал умом чрезвычайно ясным и трезвым. Эта ясность омрачалась пылкостью и страстностью. Но когда годы и болезни умили пыл и обуздали страсти, — ум его, освободясь из-под гнета, достиг той степени спокойного, объективного отношения к жизни, которое так поражает читателей в его сочинениях. Ум переходил в мудрость. Пишущий эти строки говаривал не раз Сергею Тимофеевичу, что если бы он вздумал писать «Семейную хронику» лет сорока или сорока пяти, а не шестидесяти, то она вышла бы несравненно хуже: краски были бы слишком яркие. Сергей Тимофеевич Аксаков был чужд гражданских интересов, относился к ним индифферентно: природа и литература были главные его интересы. Даже 1812-й год, когда Сергею Тимофеевичу Аксакову был уже 22-й год, не оставил в нем особенных воспоминаний. Правда, он с отцом своим записался в милицию, — но и только. 12-й год он прожил в деревне. Будучи вполне Русским, он никогда не был «патриотом» даже в

духе своего времени. Политикой он не занимался вовсе и никогда не предъявлял никаких притязаний на героизм. Хотя нет сомнения, что в нужных случаях он проявил бы настоящую твердость; он даже любил рассказывать о себе как о трусе (к великому огорчению своего старшего сына). Итак, совершенное отсутствие претензий, простота, радушие вместе с пылким и нежным сердцем, трезвость и ясность ума при возможности страстных порывов, честность, бескорыстие, беспечность относительно материальных выгод, тонкое художественное чувство, верность суда, — вот отличительные свойства Сергея Тимофеевича, которые привлекали к нему почти всех, кто его знал. Не будучи не только ученым, но и не обладая достаточной образованностью, чуждый науки, — он тем не менее был каким-то нравственным авторитетом для своих приятелей, из которых многие были знаменитые ученые. Если надобно было кого рассудить в споре, обращались к Сергею Тимофеевичу (он разбирал Погодина с Венелиным, Погодина с Киреевским и проч.). Он вполне понимал жизнь и все движения человеческой души, все человеческие слабости.

Мать Константина Сергеевича была, напротив того, исполнена самых героических и патриотических стремлений, которые она и внушала своим сыновьям с детства. Она предпочитала сыновей дочерям. Имея в жизни своей 14 детей, из коих шесть сыновей, она жалела, что остальные были дочери. Ее отец, небогатый помещик Курской губернии, был человек замечательных достоинств. Он служил в военной службе, участвовал во всех походах Суворова, — в Польше, в Турции, был при осаде Очакова, имел георгиевский крест; при Павле командовал полком своего имени и вышел в отставку генерал-майором. При Александре, во время войны с Наполеоном, он командовал ополчением. Вся жизнь его проходила в походах и в провинции. Его жена и мать Ольги Семеновны была турчанка, Игель-Сюма, взятая 12-ти лет, при осаде Очакова. Она была из рода Эмиров, как известно, производящих себя от Магомета и пользующихся правом носить зеленую чалму. Немного рассказов сохранилось о ее детстве. Когда русские пошли на штурм, отец ее, схватив саблю, побежал к стенам, а тетка (матери у нее в живых не было), взяв ее и других детей, присоединилась к толпе других женщин. Все они побежали по мосту, которого перила обвалились, и тетка Игель-Сюмы упала в ров.

Войны с Турцией при Екатерине были за обычай в России; пленные турки и турчанки размещались по обывателям. Игель-Сюма попала в семейство генерала Вошнова.

Ее скоро окрестили и выучили читать и писать по-русски. При Екатерине даже было издано учебное руководство для пленных турок: с одной стороны текст турецкий, с другой русский. Необыкновенная красавица она привлекла к себе сердце молодого Заплатаина, который и женился на ней. По окончании войны, когда разрешен был размен пленных, родственники в Турции требовали ее возврата. Рассказывают даже, что один из них нарочно приезжал в Россию, чтобы разыскать ее, и изъездил всю Курскую губернию, — но напрасно. Мария — так звали теперь Игель-Сюму — была скрыта.

Она жила недолго — умерла тридцати лет с небольшим. Отенок грусти лежал на всем ее существовании. Войны с Турцией возобновлялись, и вид пленных турок, которых прогоняли через Обоянь, всегда волновал ее сильно. Она приезжала не раз в Москву с мужем и детьми, ездила в собрание, но все же никогда не могла освоиться с европейской жизнью. В семействе долго сохранялись ее турецкая шаль, ее чалма и также русская азбука с турецким текстом, изданная при Екатерине. У нее было четверо детей, из которых двое умерли еще в детстве. Она сопровождала Семена Григорьевича в его походах — и там, на походе в Польшу, в 1792 году родилась у нее дочь Ольга, впоследствии жена Сергея Тимофеевича и мать Константина и Ивана Сергеевичей.

Овдовев и поселившись в деревне Обоянского уезда, Семен Григорьевич взял свою старшую дочь из пансиона, — и она стала его товарищем, секретарем и другом. В обществе старого воина-отца она почерпнула тот дух доблести, которым так резко отличалась от других женщин. Она постоянно читала отцу своему исторические сочинения в русском переводе, — например, историю Роллена в переводе Тредьяковского, описания военных походов, реляции сражений, газеты. Старик внимательно следил за политикой.

Благодарение и Тредьяковскому и Сумарокову и всем деятелям на пользу русского просвещения! Любопытно видеть всходы семян, разбросанных ими. В деревенской глуши, в отдаленной провинции, в стороне от большой дороги, без всех тех средств, которые дает богатство и общественное положение, зреет оно, это семя, и растит плод.

Вот в какой школе воспиталась Ольга Семеновна. Немолчимость долга, целомудренность, поразительная в женщине, имевшей столько детей, отвращение от всего грязного, сального, нечистого, суровое пренебрежение ко всякому комфорту, правдивость, доходившая до того, что она

не могла позволить сказать, что ее нет дома, когда она дома, презрение к удовольствиям и забавам, чистосердечие, строгость к себе и ко всякой человеческой слабости, негодование, резкость суда, при этом пылкость и живость души, любовь к поэзии, стремление ко всему возвышенному, отсутствие всякой пошлости, всякой претензии, — вот отличительные свойства этой замечательной женщины. Но все эти свойства составляли ее стихию, а не были чем-то надуманным. Напротив, в ней не было того, что называется житейской мудростью; в свете она казалась наивной по своей неспособности к лицемерию и двоедушию. Она не могла скрыть ни своих симпатий, ни антипатий. Благоговейно покорялась она мужней воле, но когда дело шло для нее о нравственном начале, муж должен был склоняться перед нею: не то чтобы она только *не хотела*, но она *не могла* действовать вопреки своему убеждению. У нее не было никакой эластичности, а сойти со своей точки зрения и стать на чужую, отрешиться от своей личности, чтобы понять чужую, ей было трудно, почти невозможно.

Мать Гракхов, Муций Сцевола и были ее героями.

При этом она вся принадлежала русскому быту. Русские обычаи, особенно церковные, русская кухня, русская природа — все это было ей родное. Гостеприимная и общительная, она не только не отдаляла гостей от мужа, но придавала еще более привлекательности его собраниям.

Хотя Сергей Тимофеевич вовсе не разделял ригоризма своей жены, но он именно умел ценить людей вне своей личной природы. Он уважал высоко свою жену и все ее нравственные требования, хотя в личной своей жизни шел нередко им наперекор.

Вот под каким двойным влиянием возрос Константин Сергеевич, внук турчанки Игель-Сюмы и Софьи Николаевны Багровой. Натура матери, страстно любимый отцом и еще страстнее любящий его, Константин Сергеевич совмещал с нравственными свойствами матери эстетический вкус и любовь к литературе своего отца. Стихи Державина и русская деревня вспленили его, так сказать, с детства. Четырех лет он выучился читать у матери, и первой его книгою для чтения была «История Трои», издания 1747 года, с буквами З, А и т. д., переложение «Илиады» на русский и, надобно признаться, варварский язык. Гектор, Диомед, Ахилл стали его любимыми героями. По свойству своей натуры несмеленно воплощать в паружных явлениях внутреннее чувство (свойство, не покидавшее его в течение всей его жизни), он вырезывал из карт фигуры с

копьями и щитами, присваивал им названия своих любимцев и вел войну между греками и троянами.

Пять лет прожил безвыездно Сергей Тимофеевич Аксаков в доме родителей. Семья ежегодно прибавлялась, помещение было в высшей степени тесно и неудобно и в материальном, и в нравственном отношении. Особенно тяготилась этим Ольга Семеновна. Быт заволжского среднего дворянства представлялся ей гораздо грубее южнорусского. Неопрятность, нелюбовь к цветам и зелени, совершенное равнодушие к интересам общественным томили ее. Невогда блистательная, страстная Мария Николаевна превратилась в старую, болезненную, мнительную и ревнивую женщину, до конца жизни мучимую сознанием ничтожества своего супруга и в то же время ревновавшую, ибо она чувствовала, что он только ее боится, но что она утратила его сердце. Страстно любимый Сережа был разлюблен ею, как скоро он женился. Оба старика чувствовали, что Сереженька вышел из их среды. В доме все боялись только Марии Николаевны. Главою дома была она.

В 1821 году Тимофей Степанович согласился наконец выделить сына Сергея, у которого уже было тогда четверо детей, и назначил ему в вотчину село Надежино в Белебейском уезде, Оренбургской губернии. Это то самое село, которое в «Семейной хронике» названо Парашиным, место злодейского подвига Куролесова или Куроедова, заключения Надежды Ивановны и мучительной кончины изверга. Оно отстояло верст на сто от Нового Аксакова. Прежде чем переехать туда, Сергей Тимофеевич отправился с женою и детьми в Москву, где и провел зиму 1821 года.

В Москве он тотчас возобновил знакомства с приятелями, весь отдался жизни общественной, литературе, искусству, театру, и мигом окружился множеством друзей и приятелей. В тесной его квартире, на Сенной, Смоленской площади (где у него весной 1822 года родилась еще дочь), толпились с утра до вечера гости, производились чтения, твердились роли, играли в карты. Его тогдашними посетителями были: А. И. Писарев, Верховцев, Загоскин, Дмитриев, Н. Ф. Павлов, еще воспитанник театрального училища, Шаховской, иногда Кокошкин и др.

Летом 1822 года он опять отправился с семейством в Оренбургскую губернию — ради экономии, и прожил там безвыездно до осени 1826 года.

В Надежинс, освеженный новыми знакомствами и посещением Москвы, Сергей Тимофеевич, будучи человеком экспансивным, невольно приобщил своего малютку-сына своим литературным интересам. «Евгений Онегин» присы-

лался тетрадами. Все это читалось вслух, громко, с каким-то увлечением. Все это не мешало ни охоте, ни картам. Но охота сопровождалась наблюдениями. Хозяйство не повезло Сергею Тимофеевичу, да и край был далеко не так хорош, как описанные им места его родины и детства. Изредка ездил Сергей Тимофеевич *обедать* к своей матери (на подставных) за сто верст. Скоро сгорел у него дом от неосторожности; второй ребенок его простудился и умер; скончалось еще двое детей (два сына), за то и родилось четверо, (между ними сын Иван 26 сентября в 1823 году).

Между тем Константин Сергеевич рос, упражнялся в чтении, а это чтение были все произведения тогдашней классической литературы, начиная с Хераскова. Едва ли не один из всех своих сверстников знал Константин Сергеевич Хераскова, Княжнина, Ломоносова и т. д. Когда ему минуло восемь лет, отец подарил ему в богатом переплете том стихотворений Ивана Ивановича Дмитриева. По этой книге, которую Константин Сергеевич скоро знал наизусть, Ольга Семеновна учила читать детей своих:

«Москва, России дочь любима,
Где равную тебе сыскать!»

Или:

«Мои сыны, питомцы славы,
Красивы, горды, величавы».

Вот на каком героическом чтении воспитывала Ольга Семеновна своих детей.

Константин Сергеевич любил вспоминать (он вообще с нежностью относился к своим детским годам) свое пребывание в Надежине и чем с ранних лет воспитывалось в нем русское чувство. Прежде всего он отказался звать отца иностранным словом папаша, а называл его уменьшительным от слова отец — отсцинька, отссинька, и так сохранилось до кончины. Вообще Константин Сергеевич утверждал всегда, что не ощущает резкого различия во внутреннем своем существе с ходом лет. Между детскими годами и зрелым возрастом почти у всех лежит целая пропасть. У него, напротив, не было никакого разрыва с младенчеством в душе и сердце. Ум вызрел, обогатился познаниями,— но в нравственном отношении не произошло перемены, не явилось никакой *порчи*: та же чистота души и тела, та же вера в людей. Этому много способствовало и то, что он до последнего года жизни жил при отце и матери и никогда с ними не разлучался. Он не стыдился ни младенческих движений, ни отношений дитяти к родителям. Вообще он не знал *fausse honte*. Хотя бы гостиная была полна гостей, он точно так же целовал руки у

отца и ласкался к нему, как бывало в детстве. Вообще в нем не было никакого ложного страха. Он не мог допустить в себе никакого движения, которое бы не мог совершить при всех, которое бы требовало скрытности: это было мерилом для его поступков.

Еще в Надежине, ребенком, он видел сон — Красную площадь и Минина в цепях, что впоследствии он и рассказал в стихах:

Нет, мечта не приснилась,
и проч.

Любовь к Москве, как непосредственное чувство, заглясь в нем еще в те годы.

К этому же времени принадлежит его первая литературная попытка: он написал сцены: «Ловля бабочек».

Занятие хозяйством не удалось Сергею Тимофеевичу. Самые выгодные, по-видимому, спекуляции кончались ничем. Вспомнил Сергей Тимофеевич завет своего отца, который всегда говаривал: никакие спекуляции не удавались и не удадутся никогда Аксаковым: одно святое дело — земледелие. Несмотря на все выгоды, которые представляло учреждение винокуренного завода, выгоды, доказывавшиеся примерами соседей, Тимофей Степанович никогда не соглашался завести подобный завод. Деревня надоела окончательно Сергею Тимофеевичу, дети подрастали, их надо было учить, в Москве можно было искать должность, и в августе 1826 года Сергей Тимофеевич простился с деревней — и навсегда. С тех пор по год кончины в 1859 году, следовательно в течение тридцати трех лет, он был в Надежине только наездом, всего три раза.

В сентябре 1826 года Сергей Тимофеевич, вместе с женою и шестью детьми (из которых 4 сына), приехал в Москву, где скоро получил место цензора по покровительству А. С. Шишкова, тогдашнего министра народного просвещения.

Дом его был открыт для всех друзей и знакомых. Театр, участие в издании «Московского вестника» Погодина, служба, карты и клуб охватили Сергея Тимофеевича. По экспансивности его, вся семья принимала участие в его интересах. Дети знали, например, что так-то была принята публикой такая-то пьеса, такой-то остроумный куплет сочинен был Писаревым, над тем работает Верховцев и т. д. Много возни бывало с «Вадимом», либретто которого, взятое из известной поэмы Жуковского, сочинено было, если не ошибаюсь, Шевыревым. Новый водевиль Писарева производил волнение. Другим живым интересом была поле-

мика с Полевым. Полевой, человек бесспорно даровитый, не пользовался уважением по своему нравственному характеру, по своей наглости и дерзости. Другое содержание эта борьба едва ли и имела. Кроме того, Сергей Тимофеевич перевел Мольерову «Школу мужей» и «Скупого». М. С. Щепкин был частым гостем. Помню я Мочалова и других актеров, которые приходили иногда к Сергею Тимофеевичу советоваться насчет своих ролей.

Круг знакомых Сергея Тимофеевича расширился. Новыми и преданными его друзьями были М. П. Погодин, Ю. И. Венелин, профессора П. С. Щепкин, М. Г. Павлов, потом Н. И. Надеждин. День, назначенный для сбора, были субботы, — обедали и оставались до поздней ночи.

Константин Сергеевич между тем с одной стороны принимал живое участие во всех интересах отца (вообще у Сергея Тимофеевича дети не были отдаляемы от родителей; гости принимались всею семьею), с другой стороны учился у Венелина латинскому языку, у Долгомостьева греческому языку, у Фролова географии. Он много читал и в особенности любил чтение русской истории. Но как у Сергея Тимофеевича не было ни малейшего поползновения к пропаганде, так, напротив, склонность к ней была заметна у Константина Сергеевича с самого начала. Будучи старшим в многочисленной семье, Константин Сергеевич, конечно, давал направление всем своим братьям и сестрам. Прочитав Карамзина, он тотчас же собирал в своей комнате наверху своих сестер и братьев и заставлял их слушать его историю. Она воспламеняла в нем патриотическое чувство. Не знаю, почему именно в особенности возбудил его восторг эпизод о некоем князе Вячко, который, сражаясь с немцами при осаде Куксгавена, не захотел им сдаться и, выбросившись из башни, погиб. Оттого ли, что имя этого героя предано совершенному забвению, тогда как имена прочих доблестных подвижников сохраняются в людской памяти, — не знаю, только Константин Сергеевич, будучи лет 12-ти, установил праздник Вячки 30-го ноября. В этот день, вечером, наряжался Константин Сергеевич с братьями в железные латы, шлемы и проч., маленькие сестры в сарафаны, — и все вместе водили хоровод и пели песню, сочиненную Константином Сергеевичем для этого случая. Песня была длинная и рассказывала подробно подвиг Вячки. Она, я помню, начиналась так:

Запоемте, братцы, песню славную,
Песню славную старинную,
Как бывало храбрый Вячко наш

и проч.

Затем следовало угощение, — непременно русское, — пился мед, елись пряники, орехи и смоквы.

Замечательно, что увлекаясь чтением рыцарских романов, Константин Сергеевич и здесь выразил свою самостоятельность. Он учредил дружину из воинов; главным начальником был, разумеется, он, воинами — его братья и некоторые знакомые мальчишки. Исключение из воинов было самым жестоким наказанием. Вооружение приготавлилось дома: покупались железные листы и кроились латы, просверливались гвоздями, шнуровались; кажется, делались и ножовки (на голень); щлемы делались отчасти из картона, отчасти из железа; модели доставались, благодаря связям отца, из театрального гардероба. Помогал тут много домашний крепостной столяр Андрей, который делал и деревянные мечи, а дети сами их окрашивали синькой. Были и копья. К. Ф. Калайдович, помню, подарил даже Константину Сергеевичу копьё железное метательное, с железными перьями на одном конце, вырытое где-то на полях и почтёму-то называвшееся копьём Изяслава. Старинные палаши из солинггенской стали, найденные в амбарах Нового Аксакова, составляли украшение комнатки Константина Сергеевича. В довершение всего этого, Константин Сергеевич писал повесть о приключениях дружины молодых людей, «любивших древнее русское вооружение». По мере написания, повесть прочитывалась вслух и поражала умы аудитории разнообразием и загадочностью приключений. Несмотря на то, что она постепенно достигла объёма целого тома, она никогда не была кончена.

Следует упомянуть также о других играх, измышленных Константином Сергеевичем. Из сахарной бумаги, белой и синей, складывались по известному способу корабли разных размеров в довольно большом количестве и разделялись на два флота: один русский, другой английский, или французский, или иной — *вражий*. Они расставлялись друг против друга на обоих концах залы (все это происходило в Старой Конюшенной, в приходе Афанасия и Кирилла, в доме Слепцова). С каждой стороны кто-нибудь ложился на пол и катил мяч по полу, целя в корабль. Сочинены были и правила для игры: если мяч отодвинет корабль за черную полосу, которой обыкновенно обводились около стен крашенные полы, то это значило, что корабль сел на мель; если попадал внутрь, в середину, — корабль пошел ко дну и т. д. Даже велся список сражений; добыто было раскрашенное изображение морских флагов всех наций, и часть бумажного корабля расписывалась сообразно национальности корабля. Никаких же других игр, ни лошадок, ни

кукол, ни игрушек, не знал Константин Сергеевич, да почти и никто в доме Аксаковых. Разыгрывались иногда по выбору и по инициативе самого Константина Сергеевича сцены из «Чудаков» Княжнина, из «Трисотин» Дмитриева и некоторые другие.

Нельзя не рассказать и еще об одной затее, характеризовавшей будущего славянофила. Употребление французского языка в разговоре резко осуждалось Константином Сергеевичем, — да и вообще великосветскость была предметом постоянной его насмешки. Конечно, кроме искреннего уважения к родному языку и негодования, возбуждаемого пренебрежением к нему, много значило и то, что в доме Сергея Тимофеевича Аксакова французский язык не употреблялся вовсе, и сам Константин Сергеевич не имел привычки говорить на нем. Большой свет как бы не существовал для этого семейства. Как бы то ни было, но некоторые дамы, знакомые Ольги Семеновны, писали иногда ей на французском языке; записки эти уносились наверх, и там все братья, имея во главе Константина Сергеевича, прокалывали эти записки ножами, взятыми из буфета, потом торжественно сжигали и пели хором песню, нарочно сочиненную Константином Сергеевичем:

Заклубился, дым проклятья,
и проч.

Впрочем, оттого ли, что Сергей Тимофеевич, узнав об этом, выразился, что это глупо, или оттого, что какая-то дама, случайно проведав о том, что ее имя предадут проклятию, чрезвычайно разобиделась, только этой затее был скоро положен конец.

Одаренный счастливыми способностями, энтузиаст, исполненный самых чистых и возвышенных стремлений и в то же время непосредственной любви к России, русскому народу и Москве, в мире интересов литературы и искусства возрастал Константин Сергеевич, удивляя приятелей отца своими дарованиями...

КОММЕНТАРИИ

¹ Подробнее о Е. И. Барановском см. в книге: Г. Ф. Гудков, З. И. Гудкова «С. Т. Аксаков. Краеведческие очерки». Уфа, 1981.

² Посылая брату его стихотворение, написанное в Астрахани, И. С. Аксаков в письме к родным замечал: «Вы пишете мне, что Костя, свалив с плеч диссертацию, выезжает в общество беспрестанно... Мне жалко, мне грустно, мне досадно видеть человека, как он, унижающегося до светской толпы, страшной своей пустотой; мало того, не чувствуя к себе бессмысленным похвалам, часто нехотя, невпопад высказываемым! Человека, добровольно профанирующего высокие мысли и подбирающего чутко будто бы лестные слова тупоумных жещин и близоруких светских судей! Посылаю ему стихи, которые, я надеюсь, он примет в настоящем их смысле, т. е. как излияние дружеского, негодующего сердца».

³ Ответ на послание поэта Н. М. Языкова «И. С. Аксакову», в котором были такие строки:

Беги ты далече от шумного света,
Не знай вавилонских работ и забот;
Живи ты свободною жизнью поэта
И пой, как дубравная птица поет
На воле...

⁴ Смирнова Александра Осиповна, урожденная Росетти (1810—1880) — в молодости фрейлина двора императрицы, в бытность И. С. Аксакова в Калуге — жена калужского губернатора, была знакома с Пушкиным, Лермонтовым, Гоголем, Жуковским...

⁵ В автографе есть карандашная приписка: «Написано после ареста Самарина».

⁶ Вежды — глазные веки (устар.)

7 Я. П. Полонскому на его стихи к И. С. Аксакову:

Когда мне в сердце бьет, звеня как меч тяжелый,
Твой жесткий, беспощадный стих,
С невольным трепетом я внемлю невеселой,
Холодной правде слов твоих...

В негодование души твоей вникая,
Собрат, пойму ли я тебя?
На смелый голос твой откликнуться желая,
Каким стихом откликнусь я?

Не внемля шепоту соблазна, строгий гений
Ведет тебя иным путем —
Туда — где нет уже ни жарких увлечений,
Ни примирения со злом.

Но если ты блуждал, с тобой мы врозь блуждали:
Я силы сердца не щадил,
Ты не щадил труда и — оба мы страдали:
Ты больше мыслил, я — любил.

Общественного зла ты корень изучая,
Стоял над ним с ножом как врач:
Я выжал сок его — пил, душу отравляя
И заглушая сердца плач.

К чему оно влеклось, кого оно согрело?
Зачем измучено борьбой?
О, брат! пойму ли я при звуках лиры, смело,
Законно поднятой тобой.

Быть может, знак добра — не значит зла не видеть,
Любить — не значит тосковать...
Что искренне нельзя и тьмы возненавидеть,
Тому, кто сам не мог сиять.

Вот почему, когда звенит, как меч тяжелый,
Твой жесткий, беспощадный стих,
С невольным трепетом я внемлю невеселой,
Холодной правде слов твоих.

⁸ Чижов Федор Васильевич (1811—1877) — общественный деятель, литератор. С конца пятидесятых годов преимущественно занимался в области промышленности, железнодорожного строительства.

⁹ После знаменитого выступления на заседании Московского

славянского комитета И. С. Аксакову по настоянию австрийского правительства от имени Александра II было предложено покинуть Москву. Местом своей ссылки он избрал село Варварино Юрьевского уезда Владимирской губернии — имение сестры его жены, фрейлины Екатерины Федоровны Тютчевой, которой и посвящено стихотворение.

О с. Варварино см. «Владимирские проселки» Владимира Солоухина.

¹⁰ Посвящено жене поэта Аксаковой Анне Федоровне (1829—1889) — дочери Ф. И. Тютчева. Известны ее воспоминания «При дворе двух императоров».

¹¹ В конце ноября 1878 года И. С. Аксакову было разрешено вернуться в Москву. Стихотворение написано по этому поводу.

¹² В те времена в России ремесленники делились на «коренных» или «вечно цеховых», пользующихся «правом и выгодами мещанства», и не записанных в цех лишь на какое-то время. Без записи в цех ремесленники не имели права открывать мастерские и иметь вывески.

¹³ Судебные писцы.

¹⁴ То есть член присутствия, заседатель.

¹⁵ Годовой праздник царской семьи.

¹⁶ Фухтель — удар по спине плашмя обнаженной шпагой, саблей.

¹⁷ «Выбранные места из переписки с друзьями».

¹⁸ Цитируется стихотворение П. А. Вяземского «На новый 1828 год». Курсив И. С. Аксакова.

¹⁹ Русины — так называли славян, преимущественно украинцев Галиции, Закарпатья, Буковины, находящихся в то время под властью Австрии.

²⁰ Речь произнесена 25 февраля 1873 года на заседании Общества любителей российской словесности при Московском университете. И. С. Аксаков был председателем этого общества с 3 января 1872 г. по 9 ноября 1874 г.

²¹ Здесь, видимо опечатка. А. Ф. Гильфердинг умер 20 июня (2 июля).

²² Имсеется в виду книга К. И. Невоструева «Описание рукописей Московской Синодальной библиотеки», т. 1—5. М., 1855—1869.

²³ А. Ф. Гильфердинг в 1856—1859 гг. был русским послом в Герцеговине и Боснии.

²⁴ А. С. Хомяков был председателем Общества после возобновления его деятельности в 1859 г. Он был одним из инициаторов его возрождения. Был его председателем до конца своей жизни — до 23 сентября 1860 г.

²⁵ Первый том собрания сочинений К. С. Аксакова вышел в Москве в 1861 г. (содержал его исторические труды), второй — в 1875, третий — в 1880 г. Дальше издание не было продолжено. Первый том его художественных произведений был издан в 1915 г. Дальше издание также не было продолжено.

²⁶ Полное название: «Прасковья Ивановна графиня Шереметьева. Ее народная песня и родное ее Кусково. Биографический очерк с портретом». М., 1872.

²⁷ Речь произнесена 7 июня 1880 г. на заседании Общества любителей русской словесности при Московском университете, посвященном открытию памятника А. С. Пушкину в Москве. Перед И. С. Аксаковым выступил со своей знаменитой речью Ф. И. Достоевский. По свидетельству Д. А. Олсуфьева в 1926 г. в газете «Возрождение» (Париж), «следующий по порядку оратор И. С. Аксаков отказывался от слова, объясняя, что все уже сказано Достоевским и более нечего добавить».

²⁸ И. С. Аксаков имеет в виду произведение «Марьяна роща. Старинное сказание».

²⁹ Имеется в виду «Сказка о попе и работнике его Балде», впервые она увидела свет под заглавием «Сказка о купце Остолоне и работнике его Балде».

³⁰ А н т и д о т (греч.) — противоядие.

³¹ Имеется в виду стихотворение «К вельможе».

³² Речь идет о стихотворении «Странник», в котором использован сюжет «Путешествия пилигрима английского писателя и проповедника Дж. Беньяна».

³³ Имеется в виду цикл стихотворений «Подражание Корану».

³⁴ Речь идет о стихотворении «Герой».

³⁵ Опубликовано в газете «Русь» 19 декабря 1881 года.

³⁶ Речь идет о философско-религиозных исканиях Л. Н. Толстого, его переводах и комментарии Евангелия.

³⁷ Опубликована в газете «Русь» 1 сентября 1883 года. Заглавие дано А. С. Куриловым в издании «К. С. Аксаков. И. С. Аксаков. Литературная критика». М., «Современник», 1981.

³⁸ Тургенев жил за границей начиная с июля 1856 г.

³⁹ Опубликована в газете «Русь» 1 октября 1883 года. Озаглавлено А. С. Куриловым.

⁴⁰ Имеется в виду французский натурализм, представленный прежде всего творчеством Э. Золя.

⁴¹ Автором памфлета «Торжествующая свинья, или Разговор свиньи с правдою» был М. Е. Салтыков-Щедрин. И. С. Аксаков был несогласен с высокой оценкой, которую дал великий сатирик творчеству Э. Золя.

⁴² Очерк написан в 1873—1874 годах. Вышел отдельным изданием в 1874 году в Москве, там же в 1886 году вышел вторым изданием. Публикуется в некотором сокращении.

⁴³ «Истинное повествование, или Жизнь Гавриила Добрынина, им самим написанное» было опубликовано в журнале «Русская беседа» в 1871 году.

⁴⁴ Правительство Екатерины II вынашивало план восстановления

греческой монархии, относится ко времени русско-турецкой войны 1787—1791 годов.

⁴⁵ Муравьев Н. Н. — математик, Муравьев А. Н. — правовед, очеркист, сотрудничал в пушкинском «Современнике».

⁴⁶ Имеется в виду Общество молодых любителей литературы, которое было создано Ранчем в 1822 году, когда он был преподавателем Московского университетского паиснона.

⁴⁷ Тютчев и Ранч вместе ходили слушать одни и те же лекции в университете.

⁴⁸ Кульм (ныне Хлумец) — местечко в Чехии, около которого русско-пруско-австрийские войска 17—18 августа разгромили корпус наполеоновского генерала Д. Вандама, после чего французские войска вынуждены были отойти к Лейпцигу, где позднее произошла знаменитая «битва народов».

⁴⁹ Немецкий философ-идеалист.

⁵⁰ Ф. И. Тютчевым были написаны статьи: «Россия и Германия», «Россия и революция», «Папство и римский вопрос».

⁵¹ Ф. И. Тютчев вернулся на родину в сентябре 1844 года.

⁵² Хлопов Николай Афанасьевич — дядька молодого Тютчева, находился с Тютчевым и в его первые годы за границей.

⁵³ Вчинать — начинать, зачинать.

⁵⁴ Тугенбунд (нем.) — «Союз добродетели». Так называлось тайное общество, основанное в Кенигсберге в 1908 году. Целью ставило освобождение Пруссии от власти наполеоновской Франции.

⁵⁵ Имеется в виду стихотворение «К Ганке». Вацлав Ганка — чешский писатель и ученый, сторонник национального возрождения Чехии и сближения ее с Россией.

⁵⁶ Имеются в виду «Воспоминания о Ф. И. Тютчеве», опубликованные в «Московских ведомостях» 23 июня 1873 года.

⁵⁷ Статья «Россия и Германия» была написана в форме письма редактору газеты «*Allegemeine Zeitung*» Густаву Кольбу.

⁵⁸ Обиноваться — колебаться, сомневаться.

⁵⁹ Имеется в виду один из эпизодов борьбы славянофилов за самобытные начала русской жизни, связанный с отказом от западноевропейских фасонов одежды и демонстративным ношением национального платья. Царским правительством был даже издан специальный циркуляр, запрещающий дворянам носить бороды, а следовательно и национальные русские одежды. С К. С. и С. Т. Аксаковых даже были взяты персональные расписки, что они обязуются строго выполнять предписания этого циркуляра. Мурмолка — древнерусский головной убор, известный еще в домонгольский период, имел форму невысокого колпака из ткани с меховой опушкой или отворотами из меха. Отвороты могли быть также из другой узорной ткани, в новое время такого типа шапки носили стрельцы. Святославка — так Аксаковы называли верхнее платье, которое было пошито по их заказу, покроем оно напоминало старинный зипун.

⁶⁰ Аберрация — в данном случае: ошибка в ходе мысли, случайное заблуждение.

⁶¹ Подразумевается Крымская война 1853—1856 годов.

⁶² Эта часть биографического очерка в данной публикации пропущена. Полностью см. Аксаков И. «Биография Федора Ивановича Тютчева». М., 1886.

⁶³ Перефразированы строки из стихотворения П. Вяземского: «И жить торопится и чувствовать спешит...»

⁶⁴ Оговорка: А. С. Пушкин родился на Немецкой слободе (ныне улица Баумана).

⁶⁵ Подразумевается статья Д. И. Писарева «Белинский и Пушкин. Лирика Пушкина».

⁶⁶ Ф. И. Тютчев писал стихи и на французском языке.

⁶⁷ У Тютчева «Где быстрый серп гулял...»

⁶⁸ Седьмая строка у Тютчева: «И как предчувствие сходящих бурь...»

⁶⁹ Имеется в виду статья Н. А. Некрасова «Русские второстепенные поэты».

⁷⁰ Имются в виду славянофилы.

⁷¹ Шенье А., Парни Э. — французские поэты.

⁷² Этот раздел в данной публикации опущен.

⁷³ Восстание киприотов против Турции в 1866—1869 годах. Кандия — так назывался Кипр до захвата его Турцией в XVII веке.

⁷⁴ Этот очерк И. С. Аксакова остался незавершенным. Он был опубликован в издании «Иван Сергеевич Аксаков в его письмах», Москва, т. I. Его публикация предваряется анонимным объяснением, которое мы приводим в качестве комментария:

«Иван Сергеевич имел намерение написать биографию своего брата, которая и должна была обнимать историю всего славянофильского кружка за то время, когда он собирался в доме Аксаковых. Написано Иваном Сергеевичем было только введение к этому труду, содержащее характеристику его родителей и некоторые воспоминания детства. Так как этот очерк имел одинаковое значение для биографии обоих братьев, то он может быть помещен в настоящем томе, как введение к письмам Ивана Сергеевича и как начало его автобиографии».

Публикация несовершенного очерка заключалась следующим комментарием:

«Вот те несколько драгоценных страниц, которые остались после Ивана Сергеевича. Хотя они относятся больше всего к Константину, к детской обстановке созданной его богато-одаренной природой, его с ранних лет самобытным и властительным характером, но в той же обстановке протекло и детство Ивана; она же наложила печать на его более сомкнутую и сосредоточенную натуру.»

О первоначальном обучении Ивана Сергеевича осталось мало сведений. Его дома готовили к поступлению в общественное заведение, и, судя по его успехам, учение было серьезно и основательно, хотя без

педантства и формализма. Иван Сергеевич сам относил свое раннее развитие тому, что в его семействе детская не существовала, то есть не существовал тот сомкнутый, разгороженный уголок, где под надзором наемных педагогов возрастает молодое поколение в какой-то искусственной, пресной атмосфере, не имеющей ничего общего с действительной жизнью. В семействе Аксаковых дети были постоянно с родителями, со старшими, жили их жизнью, интересовались их интересами. С 10-летнего возраста мальчик Иван страстно читал газеты, страстно следил за политическими событиями в Европе; его уже волнует революционное движение в Испании... Наказанием за какую-нибудь провинность служит ему лишение читать газеты. В нем уже сказывается будущий страстный публицист».

СОДЕРЖАНИЕ

Михаил Чванов. «Никаким награждениям знаками отличия не подвергался»	5
Стихотворения	
К. С. Аксакову	21
Романс	22
«Зачем опять теснятся в звуки...»	23
«Не в блеске пышного мечтанья...»	25
26 сентября	26
Сон	28
Ночь	30
«С преступной гордостью обидных...»	31
«Вопросом дерзким не пытай...»	32
Языкову	33
Отрывок из ненаписанной поэмы	34
Andante	34
Русскому поэту	36
Дождь	36
Л. О. Смирновой	38
Совет	40
К портрету	41
Санный бег, вечером в городе	41
«Блаженны те, кто с юношеских лет...»	42
«Мы все страдаем и тоскуем...»	43
«При кликах дерзостно-победных...»	44
«Что мне сказать ей в утешенье...»	45
«Зачем душа твоя смирна?...»	45
«Свой строгий суд остановив...»	46
«Станным чувством объята душа...»	47
Отдых	47

«Не дай душе твоей забыть...»	49
«Пусть гибнет все, к чему сурово...»	49
N. N. N., Ответ на письмо	50
«Клеймо домашнего позора...»	51
«Усталых сил я долго не жалел...»	51
Моим друзьям	52
«Могучим юности призывам...»	54
«Добро б мечты, добро бы страсти...»	55
«Опять тоска! опять раздор!..»	56
«Навстречу вещего пророка...»	57
Ответ	60
На 1858 год	62
Последнее стихотворение из прежних	63
Ф. В. Чижову	64
Барваршо	65
Анне	67
Ночь	67
«Среди цветов поры осенней...»	68
29 ноября	68
Бродяга. Очерк в стихах	69

Пьеса

Присутственный день Уголовной палаты (судебные сцены)	113
---	-----

Статьи и очерки

Несколько слов об общественной жизни в губернских городах	173
Несколько слов о Гоголе	186
Об издании в 1839 году газеты «Парус»	189
Речь о А. Ф. Гильфердинге, В. И. Дале и К. И. Невоструеве	192
Речь о А. С. Пушкине	201
(О рассказе Л. Н. Толстого «Чем люди живы»)	218
(О кончине Тургенева)	219
(Тургенев и молодые поэты)	221
Федор Иванович Тютчев. Биографический очерк	223
Очерк семейного быта Аксаковых	298
Комментарии	309

- Аксаков И. С.**
А 41 И слово правды... Стихи, пьеса, статьи, очерки.
Уфа, Башкирское книжное издательство, 1986.
320 с. — (Серия: «Золотые родники»).

В книге представлены наиболее значительные поэтические, драматические, публицистические и литературно-критические произведения видного деятеля литературной и общественной жизни России середины XIX века уроженца Башкирии И. С. Аксакова (сына С. Т. Аксакова).

Иван Сергеевич Аксаков

И слово правды...

СТИХИ, ПЬЕСА, СТАТЬИ, ОЧЕРКИ

Редактор *Ю. Андрианов*
Художник *С. Маджар*
Художественный редактор *А. Костич*
Технический редактор *Н. Зарилова*
Корректоры *З. Булакова, А. Минниханова*

ИБ № 3009

Сдано в набор 25.12.85. Подписано к печати 15.02.86. Формат бумаги $84 \times 108 \frac{1}{4}$. Бумага тип. № 3. Гарнитура литературная. Печать высокая. Условн. печ. л. 16,80. Условн. кр. отт. 17,01. Учетн.-издат. л. 17,94. Тираж 100 000 экз. (1-й завод 1—40 000 экз.). Заказ № 568. Цена 1 руб. 20 коп.

Башкирское книжное издательство. Уфа-25, ул. Советская, 18. Уфимский полиграфкомбинат Госкомиздата Башкирской АССР. Уфа-1, проспект Октября, 2.

Scan Kreyder - 13.12.2019 - STERLITAMAK

1 руб. 20 коп.